



РОССИЯ АБРАЖАВНАЯ

В. ЯКИМОВ

ЗА РУБЕЖОМ И НА МОСКВЕ

МИР КНИГИ

В. ЯКИМОВ



ЗА РУБЕЖОМ
И НА МОСКВЕ



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Я45

Дизайн обложки: А. Кузнецов

Якимов В.
Я45 За рубежом и на Москве: Роман. — М.: Мир книги, Литература, 2010. — 240 с.— (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03687-3

Отличительной чертой творчества русского исторического романиста Владимира Ларионовича Якимова являлось то, что в основу его произведений часто был положен исторический материал, мало известный широкой публике.

Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царем Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего все сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве. Образно, с редким чувством юмора описывает автор каверзы дипломатической службы, неумелые, но искренние старания посланников-москвитов, впечатления иноземцев от правил русского обихода, неуклонно соблюдаемых в чужеземном окружении.

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03687-3

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

За рубежом и на Москве





Часть первая

С ЦАРСКИМ ПОСОЛЬСТВОМ

I

Молодой человек громко расхохотался, когда толстяк, пробалансировав на самом краю небольшого обрыва, не удержался и, взмахнув в воздухе руками, сорвался и скатился вниз. Он быстро подбежал к краю обрыва и, продолжая смеяться, смотрел до тех пор, пока толстяк не подкатился к какому-то большому камню, о который ударился своим объемистым чревом, и не остановился.

— Что, Прокофьич, жив ли? — крикнул он, наконец перестав смеяться.

Толстяк открыл глаза и, взглянув вверх, где перед ним растянулось голубое южное небо, сделал было попытку пошевелиться. Но в ту же минуту он громко застонал, почувствовав боль от ушибов и ссадин на теле.

— Жив ли, Прокофьич? — повторил свой вопрос молодой человек, которому теперь стало жалко своего несчастного спутника.

— Ой-ой-ой! — запричитал толстяк. — Совсем расшибся... насмерть. Мать Пресвятая Богородица! Ангелы-архангелы, святые угодники! Да что же это такое? Живого человека — и насмерть!

Молодой человек сбежал с обрыва к товарищу и наклонился над ним, а затем, беря его под руку, произнес:

— Ах, Прокофьич, и как же это тебя угораздило?

Это прикосновение заставило толстяка открыть глаза, которые у него все это время были закрыты, и вскрикнуть:

— Чур меня! Чур меня! Не тронь! Отойти, нечистая сила!



— Да ты чего, Прокофьич? Не думаешь ли, что ты теперь на том свете?

Толстяк еще шире открыл глаза и пристально уставился на молодого человека.

— Это ты, Роман? А ведь я думал, что умер! — узнав молодого человека, промолвил он. — Ой-ой! Батюшки! Всего избило.

— Ну, давай-ка я помогу тебе, — сказал молодой человек, названный Романом.

— Ой-ой, полегче, милый, полегче! — опять застонал толстяк, когда молодой человек подsunул свою руку под его спину и попытался приподнять его, что было не совсем-то легко, если принять во внимание солидное сложение упавшего. — Никак, хребет переломил. Дотронуться нельзя... Ой-ой!

Но Роман хорошо знал, что подьячий Михаил Неелов всякую боль преувеличивает. Недели три тому назад посланник московского царя, Петр Иванович Потемкин, у которого на службе состоял подьячий Михаил Неелов, сильно рассердился на последнего за то, что тот не хотел включить в грамоту королю испанскому в титуле его звание «повелителя индийских стран».

— Нет такой индийской страны, где бы король гишпанский был повелителем, — заявил Неелов. — В землях индийских не король гишпанский царствует, а Гог и Магог. Это и в книге «Зерцало тайное» сказано.

— Ой, не умничай у меня, Мишка! — Сердито застучал по столу согнутым пальцем Потемкин. — Лучше тебя, приказная строка, знаю, что говорю. Пиши, что приказываю.

— Воля твоя, государь Петр Иванович, на то ты и посланник, а мы все слуги твои... А такого титула у короля гишпанского нету и николи не бывало.

— Ой, не умничай, крапивное семя, чернильное зелье! — Продолжал стучать пальцем Потемкин. — Батожьем велю отлупить, как козу.

— Уволь, государь Петр Иванович! — Опять закланялся подьячий. — На Москве с меня спросят. Ты — посол, велик человек, а до письма не прикладный. А что в грамотах написано — с меня в Посольском приказе спросят. Хоть повесь — не могу.

Горяч был посланник далекого царства, которое за рубежом все звали Московией и про которое думали, что оно находится чуть ли не там, где небо с землею сходится, — и, схватив со стола серебряный ковш, привезенный им из Москвы, запустил им в подьячего.

Не успел увернуться толстый подьячий, и ковш попал ему в голову. Хоть и тяжел он был, но легко ударил Неелова по плечу; тем не менее последний счел необходимым присесть на землю и завять благим матом, точно его зарезали.

Роман Яглин, вспомнив этот случай и зная, что подьячий больше стонет, чем следовало бы, не обратил внимания на его стоны.

— Ну, вставай, вставай, Прокофьич! — решительно сказал он, приподнимая толстяка с земли. — Поохал — и будет: пора и честь знать!

Но подьячий еще раз закричал, точно от невыносимой боли. Однако Роман Яглин продолжал поднимать его вверх, причем Неелов беспорядочно тыкал погами в сапожишках с подковками в мелкий щебень, усеявший скат пригорка, и несколько раз снова падал на землю.

Наконец Яглин окончательно поднял его и посадил на ближайший большой камень.

— Ох... ох! — все-таки застонал Неелов, обтирая рукавом бархатного, выцветшего от южного солнца кафтана свое потное лицо с длинной рыжей бородой. — И разбился же я!.. Совсем захвораю теперь. Умереть, видно, придется здесь, на басурманской стороне, без покаяния и причастия, погибнуть на чужедальной сторонке без жены, без деток малых...

— Ну, будет тебе! — рассмеялся Яглин. — И Москву, даст Бог, увидим, и жену свою с детьми, и угодникам Божьим поклонимся. Вернемся туда.

— Ох, чует мое сердце, Романушка, что не вернемся. Шутка ли подумать: почти год на чужбине шатаемся! В каких землях только не перебивали: и морем сжали, и в Неметчине были, у гишпанцев сколько времени живем. А тут еще к французскому королю ехать надо.

— Ничего не поделаешь, Прокофьич, — утешал подьячего Яглин. — Надо службу царскую править. Вот побываем у французского короля да и домой поедем.

— Это, Романушка, только сказка скоро сказывается, да не скоро дело делается. Пока у французских людей проживем, да все дело справим, да в дороге пробудем — и-и сколько еще времени пройдет! А я — человек слабый, сырой, да и больной к тому же. Где же мне столько времени в дороге пробыть? Ты не гляди на меня, что я такой полный. Толщина-то эта самая у меня от болести и есть. На Москве мне это немец-лекарь сказал. Он говорит, что у меня во чреве жаба сидит. Оттого и пол-

нота эта проклятая. И лечил он меня тогда, безоар-камень¹ давал, китайский ремень-корень толлок, подмешивал туда, да все это с селитрой взбалтывал и велел по зарям пить с молитвою. Да все не помогает. Нет, видно, придется помереть в этой ока-янной басурманской стороне.

Яглин в это время сел против подьячего на небольшом камне и смотрел кругом на лежавшие окрестности.

— Ну, чего ругаешь ты, Прокофьич, здешние места? — через минуту сказал он. — Места здешние, прямо надо сказать, благодатные! Глаз, кажется, не оторвал бы, век глядел бы — не устал бы.

II

Действительно, окрестности были прекрасны. Далеко на юге синели высокие горы с белевшими от снега вершинами, ослепительно сверкавшими под яркими лучами южного солнца Испании. Дальше их виднелся какой-то город с зубчатыми стенами и башнями, вдоль которых тянулись, зеленея садами, пригороды. Внизу, под самой горой, вилась какая-то река, причудливо извиваясь между встречными каменными грядами, да виднелся какой-то замок с высокими башнями и мрачно смотревшими бойницами, с несколькими часовыми, чуть ли не уснувшими, опершись на свои тяжелые мушкеты. А на востоке высилась темная гряда Пиренейских гор. Все это было облитое жарким солнцем, причудливо игравшим на стенах мрачного замка, и на поверхности веселой речушки, и на полувывыжженной, желтеющей долине, и, наконец, на самых путниках, одетых в диковинные московские костюмы.

— Ну, тоже... Нашел, на что смотреть-то! — ворчливым тоном ответил подьячий. — Горы да долины, долины да горы. Эка красота, подумаешь! То ли дело у нас, на Москве!

— Да ведь ты про город толкуешь, а я тебе вот на что указываю — на натуру эту самую, — вспомнил Яглин чужеземное слово, которое помогло ему объяснить его мысль.

— Натуру! — продолжал ворчать подьячий. — Да что здесь хорошего в ней, натуре-то этой самой! Глазам только больно становится, передохнуть им не на чем. А на Москве-то у нас то ли дело! Выйдешь себе за городские ворота да как взглянешь

¹ Безоар — кишечный камень животных. В прежнее время ему приписывалась целительная сила. (Здесь и далее примеч. авт.)

кругом — ровень такая, что глаз не разберет, где земля кончается, где небо начинается. Лях ли, татарва ли некрещеная покажется — эва откуда увидишь их! А здесь что, в Гишпании этой! Вот идем мы с тобою горами, а кто знает, может, вот за этим камнем сидит какой-нибудь головорез в коротких штанах да и ждет, пока ты подойдешь к нему поближе, чтобы ножом тебя в бок пырнуть... Тоже земелька, нечего сказать!

— Ну, Прокофьич,— улыбнулся Яглин,— и на Москве-то у нас не совсем спокойно живется. Помнишь, как ты на курской Украине был да по дороге в Москву чуть к татарам не попал? Добро, что вовремя показались полтавские черкасы-казаки, а то быть бы тебе где-нибудь в Крыму либо на том свете.

— Верно, и у нас на Москве не все спокойно, да все там как будто легче: недалеко от родной стороны и подохнешь-то. А ведь здесь, шутка ли, сколько ехать-то! Кабы не царская воля, ни за что не забрался бы сюда, к гишпанцам этим!

— Ну а все же ты понапрасну ругаешься,— сказал Яглин.— И здесь много хорошего. Посмотри, как здесь люди живут — без стеснения, как кто хочет. Палаты большие, бабы красивые, вино сладкое... Главное, бабы! — И Яглин подмигнул подьячему хитрым глазом.

Ворчливый Неелов не выдержал и улыбнулся:

— Да, бабы разве... Это вот ты верно! Нашим московским бабам далеко до здешних. Наша баба что? Овца, прямо надо сказать, рядом со здешними. А гишпанки — огонь, так полымем и пышут. Того и гляди, что обожгут.

— Да, пожалуй, и обожгли? — плутовато спросил Яглин, продолжая с улыбкой смотреть на спутника.

— Ну, что ты, Романушка? Разве я холостой? У меня на Москве жена осталась да шестеро ребят. Стану я со всякой басурманской бабой путаться! Я, чай, православный человек, не стану осквернять себя. И то уж поганишь здесь себя тем, что с чужеземными людишками вместе ешь, а ты про баб тут...

Но Яглин хорошо знал слабое место подьячего и решил еще немного подразнить его.

— А как же Хуанита-то? Недаром же ты в ее кабак повадился так часто ходить.

— Что же, что хожу? Хожу потому, что надо же себя освежить. С нашим посланником нужно железным быть, чтобы ума не лишиться. Хоть кого загонят. А у Хуаниты-то этой самой вино хорошее.

— То-то, вино. А кто посланнику, Петру Ивановичу Потемкину, приходил жаловаться на тебя, что ты щиплешься больно?

Подьячий густо покраснел и сразу не нашелся, что сказать в свое оправдание.

— И наврала тогда она все на меня! — наконец произнес он. — Все дело из-за Ивашки Овчины вышло. Его вина, что он напился и полез щипать ее. А я тут ни при чем.

Яглин, устремив взгляд на восток, искал там что-нибудь, что могло бы напомнить тот город Байону, куда послали их чрезвычайный посланник царя всея Руси, Алексея Михайловича, Петр Иванович Потемкин и его советник, Семен Румянцев, чтобы объявить властям города, что они прибыли к королю Франции, Людовику XIV, с предложением братской любви и согласия и находятся на рубеже Гишпани и Франции в городе Ируне. Но ничего похожего на город он не нашел.

— Видно, далеко еще нам придется с тобой идти, Прокофьич, — сказал он своему спутнику, сладко позевывавшему, так как жара совсем растомила его и располагала к покою.

— Хорошо бы кваску теперь... да с ледком! — невпопад ответил тот.

— Кто о чем, а у голодной кумы одно на уме, — сказал Яглин. — Я ему про посланниково поручение, а он — о квасе, да еще с ледком.

— А, да! Ты про город-то этот самый, чтобы ему провалиться! Не видать его? О-о! А все наш посланник виноват. Дал бы лошадей, так давно на месте были бы. А тут вот иди пешком. А я — человек сырой; долго ли мне помереть?

— Да ведь по этим горным тропинкам ни одна лошадь не пойдет; только одни ослы ходить могут. Предлагали тебе ехать на осле. Сам виноват, что не захотел.

— О, чтобы тебе типун на язык, непутевому! Да где это видано, чтоб православный человек на такой скотине ездил? Коли узнали бы на Москве про это, так парнишки на улице проходу не дали бы, насмерть задразнили бы! — И подьячий опять широко зевнул. — Хорошо бы соснуть!

Яглин взглянул на небо. Солнце стояло еще высоко. До Байоны не так далеко осталось, и он надеялся, что до вечера они дойдут. К тому же в Ируне ему хорошо растолковали дорогу.

— И впрямь, — сказал он. — Соснуть можно.

— И доброе дело! Соснуть теперь самая пора. Православному человеку и по Писанию положено дважды в сутки спать, — убежденно ответил подьячий, снимая кафтанишко и расстилая его на земле, в тени, бросаемой камнем. — Это мне наш приходский поп, отец Серафим, говорил. Он у нас умный, отец-то Се-

рафим,— сквозь сон продолжал бормотать подьячий.— Он все читал... в греко-латинской академии был. Даже «Тайное зеркало, сиречь книга о чудесных вещах» и ту прочитал. О-о... Потому бо...— начал он путаться в словах, а через секунду уже спал.

Яглин с улыбкой поглядел на него и тоже стал укладываться на постланном около камня кафтане.

III

Из караульного дома слышались шум, и смех, и грубые шутки, порой прерываемые спором и руганью. Солдат, стоявший на карауле около самых ворот Байоны, с завистью поглядывал на этот дом, где его товарищи проводили время в попойке и игре в карты и кости. Он несколько раз порывался двинуться со своего места, но ограничивался тем, что, ударив прикладом мушкета по земле, вскидывал его на плечи и принимался ходить вдоль рогатки: он знал, что губернатор и комендант Байоны, маркиз Сэн-Пэ, имеет обыкновение проверять караулы и за каждую неисправность строго взыскивает с виновных.

А сегодня было еще воскресенье. Отправляя тут скучную караульную службу, когда все горожане ходят разряженные по улицам, с женами и дочерьми под руку, заходя иногда в кабачки, направляясь на площади, где бродячие комедианты и фокусники показывают преинтересные штуки!

Вдруг из караульного дома выскочил один солдат. Его кафтан был расстегнут, широкий белый полотняный воротник сдвинут на сторону, на голове не было шляпы. Выбежав, он остановился, затем погрозил кулаком назад и стал сыпать отборнейшею руганью.

В ответ ему на это из караульного дома раздался смех товарищей — и несколько смеющихся фигур с картами в руках показались в дверях и окнах.

— Должно быть, проигрался, Баптист? — с участием спросил часовой.

— Проигрался,— угрюмо буркнул солдат.— Сколько раз я зарекался садиться играть с этими мошенниками. Знаю, что они плутуют... А тут вот не вытерпел, сел — и до последнего су. Не на что теперь даже кружку вина выпить. Нет ли у тебя?

Но часовой в ответ только пожал плечами: он тоже был без денег.

— Пойти разве попросить у рыжего Жозефа в долг? — произнес после некоторого размышления проигравшийся солдат.— Даст ли только?

Но и часовой сильно сомневался, чтобы трактирщик, рыжий Жозеф, торговавший в кабачке под вывеской «Голубой олень», дал в долг вина.

— Все-таки попробую,— сказал солдат и уже повернулся, чтобы идти в трактир, как вдруг заметил двух людей на дороге, ведущей в Байону от испанской границы.— Э... что это за люди такие?

Часовой тоже повернулся.

Действительно, по дороге шли два человека, по обличью и по костюмам совершенно непохожие на здешних. Несмотря на жаркое летнее время, на головах у них были меховые шапки.

Один из них был толстяк, одетый в потертый бархатный кафтан с полосами из серебряной парчи на груди, в стоптанных цветных сапогах и в цветной рубахе-косоворотке, которую он из-за жары расстегнул, показывая тем свою волосатую грудь; на лице у него росла длинная рыжая борода, запылившаяся и сбитая. Голова была острижена в кружало и выбрита позади.

Другому можно было дать лет двадцать пять — двадцать семь. В его одежде проглядывали большее щегольство и изысканность. Меховая мурмолка была сдвинута на затылок и открывала открытое и добродушное лицо с небольшой белокурой бородкой и густыми шелковистыми усами. Русые волосы, вившиеся кудрями, непослушно выбивались из-под мурмолки.

— Что за люди? — удивленно спросил часовой товарища.

— Святой Денис разберет их,— пробормотал тот в ответ.— Много я по свету пошатался, а таких еще не видал.

— Дойти до познания какой-либо истины можно двумя способами: путем разложения целого на части и соединения всех составных частей в одно целое,— раздался позади них чей-то шамкающий голос.— Этому учит нас мать всех наук — философия.

Солдаты оглянулись. Перед ними стоял низенький старичок, одетый в черное длинное платье и в бархатную шапочку на голове. Лицо у него было бритое, с крючковатым носом и маленькими, хитрыми глазками. Из-под тонких губ выглядывало два ряда мелких почерневших зубов. Под мышкой правой руки он держал толстую книгу.

Солдаты сняли шляпы и почтительно поклонились, так как узнали в подошедшем известного всей Байоне ученого и губернаторского доктора Онорэ Парфена, или, как он сам называл себя (в подражание господствовавшей в то время между учеными тенденции переводить свои имена и фамилии на латинский язык), Гонориуса Одоратуса.

Изрекши вышеприведенные слова, он уставился взором на дорогу и стал смотреть на приближавшихся незнакомцев.

— Осмелюсь заметить, знаменитейший доктор¹,— сказал Баптист, бывший когда-то, пред тем как сделаться солдатом, студентом в какой-то иезуитской коллегии,— что же будет, если мы последуем по одному из этих способов, хотя бы по первому, который, если не ошибаюсь, философия называет дедукцией?

Гонориус Одоратус быстро с удивлением взглянул на солдата, но тотчас подавил в себе удивление и ответил равнодушным тоном:

— А что последует, вы сейчас увидите.— Он полез в карман своего платья, вынул оттуда табакерку и, захватив из нее изрядную щепоть табаку, отправил ее в нос. Затем, прочихавшись и устремив взоры на дорогу, по которой усталым шагом шли оба странных путника, сказал: — Для того чтобы дойти до истины по этому способу, необходимо исключать некоторые однородные понятия. Общее понятие, в которое входят эти вот путники, есть понятие о человеке, о людях. Следовательно, эти два существа, идущие к нам, есть люди. Но люди принадлежат к какому-нибудь народу или племени. Мы же знаем, что племен на земле насчитывают до ста пятидесяти, число немалое! Разберем каждое из них в отдельности... Вы не устали слушать, друзья мои? — обратился он к солдатам, заметив легкий зевок со стороны Баптиста.

— О нет, нет! Пожалуйста, продолжайте,— ответили солдаты, боясь в душе, как бы не наплело на них губернатору это приближенное к нему лицо.

— Итак,— продолжал философ,— разберем все отдельные народности. Что это не жители Европы, доказывает их странный костюм. У французов, англичан, шотландцев, испанцев, обитателей итальянских государств, австрийцев, швабов, саксонцев, шведов, датчан, фламандцев и некоторых иных нет такого платья, как у этих незнакомцев. Правда, их лица похожи на наши же, но это — лишь один признак, который мало что значит. Однако это и не неверные турки. Правда, их головные уборы похожи на турецкие, но они сшиты не из материи, а из мехов. Хотя бороды их и похожи на турецкие, но это тоже ничего не значит. Это не есть и алжирцы или варварийцы, так как у них нет в ушах женских металлических украшений, которые носят название серег. Исключив все это, мы приходим к окон-

¹ За рубежом и в прежнее время было принято так называть всех ученых.

чательному заключению, что эти люди не есть жители Европы, Африки и Азии.

— А кто же они? — спросили солдаты.

— Это — не кто иные, как жители с того света.

— Как с того света? — воскликнули в один голос суеверные солдаты.

— Да, с того света: из страны, открытой великим Христофором Колумбом и принадлежащей королю испанскому.

— Так это, стало быть, — индейцы?

— Они самые, — авторитетным голосом сказал Гонориус Одоратус. — Очень может быть, что они прибыли в наш город, чтобы показывать себя на площадях за плату.

IV

В это время странные путешественники подошли к самым воротам города. Уставший подьячий тяжело отдувался и вытирал рукавом кафтана струившийся ручьем по лицу крупный пот. Яглин тоже порядочно устал и с удовольствием думал о том, что здесь, в Байоне, наконец можно будет передохнуть.

— Ну, слава Тебе, Господи, наконец-то дошли!.. — сказал подьячий. — А назад — как ты хочешь, Романушка, а на своих ногах я не пойду. Так ты и знай! Хоть на ослах, а поеду. Подышать мне на басурманской стороне вовсе неохота.

— Ладно, ладно, Прокофьич! — усмехнулся Яглин. — Как-нибудь уладим дело. А теперь вот надо поручение исполнить: до градоначальника пойти.

— Валяй уж ты. Ты как ни на есть, а по-ихнему научился лопотать.

Действительно, в течение долгого времени пребывания русского посольства в Испании Яглин довольно бойко научился говорить по-испански, так что расчетливый русский посланник был очень доволен, что пришлось уволить переводчика, с которым Яглин объяснялся по-латыни, чему он научился от немцев в Немецкой слободе, в Москве.

В это время часовой преградил им дорогу мушкетом и грубо спросил на местном наречии, сложившемся из смеси французского, испанского, баскского и гасконского языков:

— Что за люди? И куда вы идете?

— Нам нужно видеть градоначальника этого города, — кланяясь солдатам, ответил Яглин. — Посланы мы чрезвычайными посланниками царя всея Руси Петром Потемкиным и его со-

ветником, Семеном Румянцевым, которые прибыли к могущественному королю Франции с предложением братской любви и согласия. Так как наш путь из города Ируна, где теперь находятся посланники, лежит через этот город, то надлежит нам увидаться с градоначальником и просить его помощи и содействия к дальнейшему нашему пути в славный столичный город ваш.

Яглин сказал это на испанском языке, хотя, конечно, не без ошибок.

— Вот тебе и индейцы! — проворчал про себя Баптист. — А впрочем, Россия... Россия... Кто ее знает, где она? Может быть, тоже в Америке.

Но Гонориус Одоратус сразу понял свою ошибку, что эти люди — вовсе не индейцы, как он предполагал, а выходцы из далекой страны Московии, о которой, впрочем, мало было известно, за исключением того, что она находится чуть ли не на краю света и населена свирепыми и кровожадными народами, как-то: московиты, татары, казаки. Господствует над этими народами властитель, которого зовут великим князем Московии, вместе с высшим духовным лицом, называемым московитским папой, или патриархом. Еще известно, что из этой страны приходят на Запад драгоценные меха, получаемые из далекой московитской провинции, называемой Сибирью, населенной еще более кровожадными народами, название которых в точности не известно.

Ученый с любопытством посмотрел на московитов, подивился на их костюмы, внимательно поглядел на лица и подумал про себя: «Люди как люди. И ничего особенного в этих московитах нет. Больше сказок, оказывается, про этот народ говорят».

Затем, приняв на себя важный вид, он произнес:

— А на какой предмет отправлено ваше посольство к нашему христианнейшему государю — да хранит его Бог на многие лета?

При этом он приподнял над головой свою маленькую шапочку.

— А об этом мы ничего не знаем, — ответил Яглин. — Про то ведают наши посланники, так как им поручено все это объявить. Мы же — только слуги их.

Гонориус Одоратус еще раз посмотрел на московитов. Он не знал, как обращаться с этими двумя людьми. Кто их разберет, этих диких людей: не то просто прислуга, не то важные лица в посольстве, особенно этот вот толстый и рыжий. Если принять

за больших людей да обойтись с ними как следует, самому после неловко будет. А если обойдешься как с челядью, а они окажутся важными лицами, то могут обидеться, а после и от губернатора попадет: облеченный чуть ли не королевской властью, маркиз шутить не любит и как раз поколотит собственноручно.

Между тем около этой группы начали собираться любопытные. Необычные костюмы двух чужестранцев привлекли внимание гуляющих, и они стали подходить к заставе. В простом народе двое москвитов возбудили еще более толков — и никто в толпе не знал наверное, что это за люди. Кто-то решил, что это — варварийцы.

— А что это за народ такой? — спросила какая-то горожанка, державшая на руках небольшого мальчугана.

— Варварийцы? — переспросил решивший это, который, в бытность солдатом, плавал на галерах по Средиземному морю. — А это тот самый народ, который разбойничает по морям и христиан в плен забирает, а потом отвозит их по разным магметанским землям и продает в рабство.

— Так это, значит, они моего мужа забрали в плен или убили? — с испугом сказала горожанка.

— А твой муж кто был? — спросил солдат, поглядывая на толстую, краснощекую женщину.

— Да мы с моря, — ответила она. — Мой муж был там рыбаком. А когда он пропал без вести, то я переехала сюда, к сестре. Так эти язычники по морю разбойничают?

— Эти самые, — убежденно сказал солдат. — Самое разбойничье племя!..

В толпе все слышали этот разговор и со страхом и удивлением смотрели на мнимых варварийцев.

Тем временем Гонориус Одоратус обратился к русским:

— Если вы хотите видеть губернатора, маркиза де Сэн-Пэ, то я, как ближний советник его, могу провести вас к нему.

— Чего лопочет там эта важная рожа? — тихо спросил Яглина подьячий.

Но молодой человек ответил на этот вопрос товарища нетерпеливым движением плеча.

Между тем горожанка успела рассказать всей толпе, что ее мужа будто бы пленили эти самые варварские разбойники, и бывший солдат авторитетно подтверждал, что действительно, эти люди и суть варварийцы.

— И лица-то у них самые разбойничьи, — заявил он, указывая кулаком на москвичей. — Особенно вон этот рыжий!

— Зачем они здесь, язычники? — раздались в толпе отдельные голоса.

— Приехали предлагать выкупить находящихся у них в плену христиан, — сразу выдумал бывший солдат.

— Убить их надо за это! — вдруг выкрикнула со злостью женщина. — Чтобы они не мучили христианского люда!

Толпа сначала опешила было от этого, но, будучи в достаточной степени возбуждена рассказами бывшего солдата о жестокостях варварийских пиратов, подхватила:

— Убить!.. Убить!..

В москвитов вдруг полетели камни, комки сухой грязи и палки.

Русские, а вместе с ними достопочтенный Гонориус Одоратус и солдаты опешили от такого неожиданного нападения. Испуганный подьячий со страха схватился за длинное платье доктора и, присев на корточки, стал кричать, точно его резали.

Яглин не знал, что тут происходит, но, видя пред собою враждебные лица и не имея с собою никакого оружия, засучил рукава и стал ждать нападения.

В это время невдалеке послышался лошадиный топот, и из ближайшего проулка выехали рысью молодой человек в голубом кафтане, с длинной шпагой у бедра, висевшей на широкой перевязи, и в широкой шляпе с длинным пушистым пером и молодая смуглая дама. При виде происходящей пред ними сцены они остановились посмотреть, что тут делается. Затем молодой человек воскликнул:

— Клянусь архангелом Михаилом, да это — Гонориус Одоратус! Дядя будет доволен, если я освобожу его из рук этих негодяев!

Ударив каблуками в бока лошади, он поскакал на толпу. Спутница его, громко рассмеявшись, хлестнула свою лошадь и последовала за ним. Две лошади врезались в толпу — и последняя кинулась в разные стороны. Молодые люди, бывшие на лошадях, с хохотом бросились преследовать бегущих, и через несколько минут небольшая площадь перед заставой была пуста.

— Молодец наш офицер! — в восхищении воскликнул Баптист. — Хорошо отделал он этих негодяев! Да замолчишь ли ты, толстая собака? — прикрикнул он на подьячего, все еще голосившего во всю глотку.

Последний замолчал, открыл глаза и с удивлением стал смотреть кругом.

— Кто это? — спросил Яглин Баптиста, указывая на возвращавшегося шагом молодого человека, разогнавшего толпу.

— Наш офицер,— ответил тот,— племянник губернатора.

Когда офицер подъехал, Яглин мог рассмотреть красивое лицо с дерзко закрученными вверх, по тогдашней моде, усами и с такими же дерзкими глазами. Его спутница ничем не удивила Яглина.

«Гишпанка!» — сразу решил он, в долгое время пребывания посольства в Гишпании присмотревшийся к дочерям юга.

У нее были смуглая кожа, черные, вьющиеся, с синеватым отливом волосы, большие живые черные глаза, небольшие уши, шаловливо выглядывавшие из-под серой, с красным пером шляпы, и раздувавшиеся от скорой езды и волнения ноздри. Она вместе со своим спутником подъехала к этой кучке.

— Что тут такое было, философ? — спросил офицер любимого советника своего дяди.— Бить, что ли, вас хотела эта сволочь?

— Да почти что так, шевалье,— ответил Гонориус Одоратус.— Почему-то им вздумалось, что вот эти люди,— указал он на московитов,— варварские разбойники, и чуть не разорвали нас. Если бы не вы с мадемуазель Элеонорой, так нам пришлось бы плохо.

— Варварийские разбойники? Эти люди? — воскликнул офицер, указывая хлыстом на обоих русских.— Но кто же они такие? Клянусь святым Денисом, я никогда не видал такой странной одежды!

— Ничего в этом нет удивительного, шевалье, так как скорее можно рассчитывать увидеть здесь Великого Могола, чем московитов,— ответил Гонориус Одоратус.

— Московиты? Так вот они какие!

— А где же у них собачьи головы? — с наивным удивлением спросила всадница.

— Смею сказать, прекрасная госпожа,— улыбнувшись, сказал Яглин, снимая мурмолку и делая поклон всаднице,— что мы — такие же люди, как и прочие, и исповедуем того же Бога и Христа, как и другие христиане в Европе.

На лице всадницы изобразилось некоторое разочарование.

— А мне говорили, что у московитов собачьи головы,— недовольно произнесла она, но, еще раз взглянув на Яглина, решила про себя: «А этот московит все-таки... довольно красив».

— Зачем же они здесь? — продолжал спрашивать офицер.

— Они — послы великого князя московитов,— ответил Гонориус Одоратус.— Едут из Испании к нашему милостивейшему королю. В настоящее же время им нужно видеть вашего дядюшку, маркиза Сен-Пе.

— Э, если дело только за этим, то я провожу их,— сказал офицер.

— Мы за это всегда останемся благодарными вашей чести,— произнес Яглин.— Время позднее, и мы желали бы засветло вернуться к нашим посланникам в Ирун.

— В таком случае идемте,— сказал офицер и легонько тронул хлыстом свою лошадь.

Небольшая группа из обоих русских, офицера с его дамой, Гонориуса Одоратуса и Баптиста, сопровождаемая любопытными взглядами гуляющих горожан, с удивлением смотревших на никогда не виданные костюмы этих людей, двинулась по узеньким улицам города.

Впрочем, Яглина и подьячего это любопытство несколько не удивляло, так как везде за рубежом на них смотрели как на невиданных, диковинных зверей.

V

Еще в начале XVI века далекая, замкнутая в самой себе Россия впервые задумала войти в сношения с Францией с целью искать ее союза, дружбы и защиты. Этот шаг был сделан царем Василием Ивановичем по совету курфюрста Бранденбургского, с которым царь тогда вступил в союз против Речи Посполитой. В своем письме от 16 апреля 1518 года, переданном через бранденбургского курфюрста, царь сообщил французскому королю о том, что заключил с Альбрехтом, курфюрстом Бранденбургским, союз против Польши и что оба союзника надеются на помощь короля Франции в случае нападения на них со стороны Польши. В марте 1519 года царь снова отправил письмо, по просьбе того же Альбрехта Бранденбургского, с тою же просьбою о защите против Польши.

Неизвестно, дал ли какой-либо ответ на это французский король, так как в русских архивах не имеется никаких данных относительно этого. По всей вероятности, французский король даже не удостоил ответом русского царя, о царстве которого едва ли он имел точные сведения.

Тем не менее в этом же столетии бывали случаи, что некоторые французские купцы и искатели приключений проникали в далекую Московию, сбывая свои товары и скупая тамошнее сырье или же попросту ища счастья.

Затем, в 1607 году, вышла книга о Российском государстве, о нравах, царящих здесь, принадлежащая перу известного аван-

тюриста капитана Маржере (или Маржерета, как пишут это имя русские источники), служившего в войсках московского царя; в этой книге он описывает Московию как «весьма большое, могущественное, населенное и богатое государство».

Но еще раньше этих авантюристов французское правительство само завязало сношения с Московией. Так, первым русским послом в Москве со стороны Франции был Франсуа де Карл, бывший там в 1586 году. Появление его в Москве было вызвано тем обстоятельством, что в октябре 1586 года царь Феодор Иоаннович написал французскому королю Генриху IV письмо, где извещал его о своем вступлении на престол и высказывал желание поддерживать дружеские торговые отношения с Францией. Следствием этого явился коммерческий трактат между царем и парижскими торговцами. Далее известно, что Генрих IV в 1595 году написал царю Феодору Иоанновичу три письма, где просил об отпуске в отечество доктора Поля и о разрешении нидерландскому купцу Мишелю Мужерону свободно торговать в России.

Точные сведения о первом со стороны Москвы посольстве во Францию относятся к маю 1615 года. Его отправил царь Михаил Феодорович. Этому посольству, во главе которого находился Иван Гаврилович Кондырев, было поручено известить французского короля об избрании Михаила Феодоровича на московский престол и вручить королю грамоту, в которой царь пространнейше жаловался на поляков и шведов, причинивших купно со Лжедмитрием Отрепьевым сильное всему Российскому государству разорение, с предложением взаимной братской дружбы и любви.

Но французы все-таки еще не желали знать какую-то дикую Московию и отнеслись к этому посольству довольно пренебрежительно.

Король Людовик XIII принял русское посольство в декабре 1615 года в Бордо, где находился в это время по случаю военных действий. Но так как он спешил уехать, то наскоро приказал написать ответное письмо царю. И здесь-то вот впервые западные европейцы столкнулись с тем, что русские люди того времени называли «держать имя великого государя честно и грозно».

— Не могу взять такое письмо,— сказал Кондырев, едва прочитав врученное ему послание.— Тут не проставлено царское имя. А без того нам взять нельзя никак. За это с нас большой спрос будет.

Когда французы поняли, в чем дело, то стали говорить, что и так может сойти, потому что король спешит уехать и нельзя беспокоить его лишней раз.

— Это — ваше дело, — ответил Кондырев. — Если король ваш уедет, то и мы за ним туда же отправимся, а без царского имени домой не поедем. Не захочет подписать, то и без письма уедем. Так и великому государю нашему скажем. И тогда в ответе не будем. А без царского имени с нас спрос будет. Перепишите — тогда возьмем.

Французским министрам того времени ничего не стоило рассыпаться в любезностях, почему они особенно и не настаивали на том, чтобы русские взяли то письмо, которое уже было написано, и согласились переписать его.

На следующий день Кондырев получил новое письмо, и когда прочитал его, то все его широкое московское лицо расплылось в улыбке: до того был приятен русскому человеку тот титул, которым французы величали русского царя. В письме стояло:

«Высокий и могущественный князь Михаил Феодорович, наш дражайший брат и друг, император русских».

Людовик XIII в этом письме не только обещал возобновить с московским государством прежний союз, но, кроме того, запретить своим подданным служить в польской и шведской армиях против русского царя.

Таким образом, Кондырев успешно выполнил свою миссию, а своим решительным шагом пробудил во Франции интерес к почти неведомому на Западе царству.

К этому еще присоединилась просьба французских купцов. Последние доказывали, что вести торговлю с Россией для Франции очень выгодно, но что серьезные препятствия в этом деле ставят им хозяева Балтийского моря — датчане и шведы, для которых было выгодно и монополизировать в своих руках торговлю с Россией, и служить посредником между последней и западными государствами.

Ввиду этого Людовик XIII решил послать в Россию посольство во главе с чрезвычайным полномочным послом Деге де Курмененом для заключения торгового договора и союза.

Но французы забыли, что едут в полуварварское государство, где понятие о благе государственном и общественном очень часто смешивается с благом личным и где если не все, то очень многое держалось на подарках и подкупах.

Это положение сказалось тотчас же по прибытии посольства в Москву. Обиженные бояре не могли простить послу, что

он не давал им ничего, и всячески тормозили дело как аудиенции у царя, так и скорейшего окончания того поручения, с которым приехало посольство.

К этому присоединился еще вопрос о чинопочитании и титуловании. Хотя ловкий француз и уладил скоро этот вопрос, но все же посольство не имело никаких результатов, так как Франция предъявила условия союза, совершенно неподходящие к понятиям русских того времени.

Тем не менее во французской исторической литературе укрепилось и держится и в настоящее время то мнение, что в 1629 году между Россией и Францией был заключен первый торговый трактат. Начало сближения между этими государствами было положено — и Франция заметила существование варварского, но могущественного государства.

Затем официальные сношения между этими двумя державами прервались на двадцать с лишком лет, вплоть до 1653 года. Однако в это время из Франции и России являлись неофициальные лица. Так, в 1631 году в Москву прибыл капитан Бонфоа с письмом от Людовика XIII за разрешением купить в России хлеба. Из России был отправлен, так же неофициально, переводчик Иван Англер, посланный, однако, не в одну Францию, но и в Голландию, и в Англию с извещением о заключении мира между Россией и Польшей.

Со вступлением на престол царя Алексея Михайловича сношения, имевшие случайный характер, приняли совершенно другой вид.

Так, в 1653 году царь отправил во Францию Константина Герасимовича Мачехина, в сопровождении толмача Болдвинава и подьячего Богданова, с уведомлением о начатии войны русского царя с польским королем Яном Казимиром. Прямою целью этого посольства была просьба о помощи Франции в начавшейся войне с Польшей.

Русским, прибывшим в Париж только 24 октября 1654 года, чрезвычайно понравился, после строгой, постной, пропитанной запахом деревянного масла и ладана Москвы, веселый, разгульный и бесшабашный Париж с его шумной уличной жизнью, весельем, легким вином, с веселыми, красивыми женщинами, не прятавшимися от чужих взоров по теремам, а напрашивавшимися на взгляды мужчин и постоянно улыбавшимся им на улицах. Русские были так очарованы этим веселым и привлекательным омутом, что и не думали было скоро уезжать из него, хотя король очень скоро дал им аудиенцию, так как поведение «русских варваров» даже французам показалось зазорным.

Но и здесь случилось почти то же, что и с Кондыревым. 17 ноября 1654 года Мачехин был принят на прощальной аудиенции королем. На ней ему хотели было вручить письмо короля к царю через секретаря.

— Не могу я то сделать,— объявил Мачехин.— Пусть король сам даст свое письмо великому государю своими руками. Иначе если я возьму его от подначальных лиц, то государь велит меня казнить.

Придворные заупрямились было, но сам король согласился и 29 ноября 1654 года лично вручил письмо посланникам. Однако он наотрез отказался осуждать поведение польского короля, не одобрял царя за вступление в войну и даже не именовал более царя императором.

Но почти через два года французам самим пришлось отправить в Москву свое посольство.

В 1656 году, во время войны Москвы со Швецией, русские войска вторглись в шведские прибалтийские провинции. В войне этой в союз против шведского короля Карла X вступили Россия, Польша, Пруссия и Дания. «Восточный барьер» Людовика XIV вследствие такой комбинации рушился, что было вне политических расчетов короля. Поэтому он желал более скорого окончания этой войны и, намереваясь склонить к этому московского царя, отправил к нему блестящее посольство во главе с кавалером Деминьером. Шестого июля 1657 года король известил царя о прибытии своего посла.

После долгих мытарств и чуть ли не ареста в Юрьеве (Дерпте), воевода которого не хотел пускать посла в Москву и даже заявил: «Нашему великому государю нет никакой нужды до вашего фряжского короля, и услуг ему, государю, не надобно: у нашего государя достаточно войска, чтобы без чужой услуги покончить дела с тем, кто его высокой воле не хочет покориться», Деминьер все же прибыл в Москву, где был принят Алексеем Михайловичем, которому и вручил грамоту короля.

Однако это посольство французов не имело никакого успеха, так как Алексей Михайлович обошелся без посредства Франции и заключил мирные трактаты в 1661 году со Швецией в Кардисе и с Польшей в Андрусове.

Так начались дипломатические сношения России с Францией, за два с лишним столетия до настоящего времени. В продолжение этого времени эти сношения все более регулировались, а порой совершенно прерывались, и оба государства даже дважды воевали друг с другом. Но все это не мешало питать им друг к другу уважение, что наконец в конце прошлого столетия завершилось объявлением всему миру открытого союза между ними.

— А что, эти люди понимают наш язык? — спросил по дороге молодой офицер Гонориуса Одоратуса.

— Вот этот молодой немного понимает, — ответил тот, указывая на Яглина, который в это время не спускал взоров с ехавшей впереди «гишпанки» и невольно любовался красивой посадкой амазонки.

«Изрядная девка — эта гишпанка, — подумал он про себя. — Куда нашим московским репам до заморских баб и девок!»

Офицер заметил этот восхищенный взгляд молодого человека, и невольная досада шевельнулась в его сердце.

«Что этот варвар так смотрит на Элеонору? — недовольно подумал он. — Эти восточные люди, что турки, похотливы».

Осадив коня, он подождал, пока Яглин поравняется с ним, и вежливо спросил:

— Вы понимаете наш язык?

Яглин ответил, что понимает.

— Это хорошо. Стало быть, мы можем разговаривать с вами. Хотите, мы будем друзьями? — И офицер протянул молодому русскому руку в длинной перчатке.

«Что это он со своей дружбой напрашивается ко мне?» — подумал Яглин, который, будучи долгое время в посольстве, научился той истине, что за рубежом нужно быть осторожным, чтобы не попасть как-нибудь впросак, но, взглянув в открытое и показавшееся ему честным лицо молодого офицера, отогнал возникшие было сомнения и, подавая ему свою руку, сказал:

— Хорошо. Будем друзьями.

Они пожали друг другу руки.

— Мое имя — Гастон де Вигонь, — сказал после этого офицер. Яглин сказал свое. Офицер пробовал было повторить его, но никак не мог.

Элеонора оглянулась на них и весело рассмеялась, глядя на Гастона де Вигоня.

— А я выговорю имя иностранца: Роман Яглин, — сказала она и звонко расхохоталась.

Яглин, глядя на нее, тоже рассмеялся.

— Будем и мы друзьями, — сказала Элеонора и протянула свою руку молодому русскому.

— За великую почту честь, — ответил тот и, пожав поданную ему маленькую, изящную ручку, не спешил скоро выпустить ее.

Гастон, увидав это, нахмурился и отвернулся.

В это время они дошли до губернаторского дома. Элеонора круто остановила свою лошадь и тихо сказала своему спутнику:

— Теперь я еду. Он не может опять увидеть нас.

— Мы сегодня увидимся? — наклонившись к самому ее уху, спросил де Вигонь.

— Нет, на сегодня довольно, — ответила она. — Приходите, если хотите, завтра.

Элеонора пожала офицеру руку, кивнула Яглину и повернула лошадь в одну из боковых улиц.

Роман невольно посмотрел ей вслед, любуясь ее стройной фигурой и красивой посадкой. Однако Гастон де Вигонь поймал этот почти восторженный взгляд молодого «варвара» и опять недовольно нахмурился.

— Ну, Романушка, и девка же! — раздался около Яглина голос подьячего. — Вот дьяволица-то, прости, Господи, мое согрешение! Коли на грех идти да с такой еретичкой связаться, так всех наших московских девок и баб забудешь.

— Это ты верно сказал, что забудешь, — о чем-то задумываясь, ответил Яглин.

И в его уме невольно мелькнуло широкое лицо полной, белой и некрасивой Настасьи Потемкиной, дочери стольника Петра Ивановича Потемкина, стоявшего во главе этого посольства. Пред самым отъездом их только что помолвили, и Петр Иванович особенно хлопотал о том, чтобы взять будущего зятя в посольство, опираясь на то, что Роман, бегая часто в Немецкую слободу, научился там «языкам разным, без чего за рубежом мы просто пропасть должны», — как говорил он, хотя Роман Яглин выучился там только немецкому и латинскому языкам.

Правда, Настасья была хороша по-своему, в московском вкусе: была румяна, полна, но и только. Однако на ее полном, вечно заспанном лице нельзя было прочесть ничего; оно как бы закаменело в своем выражении. Движения тоже у нее были как бы рассчитанные, слова — ранее заученные, точно она боялась сказать что-либо лишнее или лишний шаг сделать.

«Кукла! Как есть кукла!» — решил про себя Яглин, вспомнив про свою невесту.

Но в это время они дошли до губернаторского дома. Гастон де Вигонь, соскакивая с лошади, сказал: «Я сейчас пойду и расскажу про все дяде» — и скрылся в крыльце высокого дома.

— Ух, упарился! — произнес подьячий, садясь на камень около дома. — И пекло же, прости, Господи! Кваску бы теперь хорошего... с ледком... Да похолоднее.

— А может, вина, Прокофьич, хочешь? — смеясь, сказал Яглин.

— Что же, и от винца не отказался бы.

Яглин обратился к Баптисту и спросил, нельзя ли достать где-нибудь вина.

— О, сколько хотите! — воскликнул солдат. — Здесь неподалеку есть хороший кабачок. Там доброе винцо есть.

Яглин полез в нижний карман кафтана, вытащил оттуда большой кошель из тонкой кожи, в котором находилось немного денег, и, вынув оттуда несколько монет, подал их Баптисту.

— Сейчас и вино пить будете, — сказал тот подьячему, подмигивая ему правым глазом и ударяя рукой по его толстому животу, отчего тот даже вскрикнул.

В это время из дома вышел Гонориус Одоратус и сказал русским:

— Идемте! Губернатор вас ждет.

Яглин и подьячий вошли в дом и очутились в большой комнате с гербами. Навстречу им шел высокий старик с седыми усами и такой же узкой, длинной бородой, с длинным, сухощавым, галльского типа лицом. Это был губернатор Байоны, маркиз Сен-Пе.

Яглин и подьячий, по московскому обычаю, низко поклонились, коснувшись концами пальцев пола. Губернатор некоторое время со вниманием смотрел на этих людей, одетых в никогда не виданную им одежду. Стоявший около него Гонориус Одоратус вполголоса объяснял ему, что эти люди прибыли из земли московитов и едут теперь с посольством в Париж к королю.

— Они умеют говорить на нашем языке? — спросил губернатор.

— Вот этот, помоложе, хотя и плохо, но все-таки может объясниться, — ответил Гонориус.

Губернатор подошел к русским поближе и, отвечая на их поклон, спросил, чего им от него нужно.

— Посланы мы, государь мой, — ответил Яглин, — послом великого государя московского, Петром Потемкиным, и советником его, Семеном Румянцевым, к твоей милости. Послы наши едут к могущественному государю фряжскому с предложением братской любви и согласия и находятся теперь в Ируне, на самой границе. И просят послы наши твою милость, господин славный, чтобы ты принял нас, дал помещение, кормил и переправил в Париж за счет короля, как то делали с нами везде в разных государствах, где мы бывали.

Губернатор внимательно выслушал Яглина, некоторое время помолчал, наконец, изобразив на лице самую любезную улыбку, сказал:

— Приветствую послов великого государя московитов со вступлением на землю нашего милостивого короля! Я счастлив тем, что могу первый выразить это, и этот день навсегда останется в моей памяти самым лучшим днем моей жизни.

«Ну, слава богу,— подумал про себя Яглин.— Кажется, наше дело в ход пошло. Петр Иванович будет доволен».

Но его радость была преждевременна, так как, окончив рассыпаться в любезностях, маркиз сказал:

— Но, к моему глубокому сожалению, относительно этого мне не дано никаких приказаний. Однако я напишу сегодня же и попрошу совета у моего начальника, маршала Грамона,— как он распорядится относительно этого.

— Но это потребует много времени? — спросил Яглин.

— Четыре или пять недель,— ответил губернатор.

Яглин задумался и затем сообщил подьячему, что сказал губернатор.

— Четыре или пять недель? — воскликнул Неелов.— Да на что же мы это время жить-то будем? Ты ведь сам знаешь, Романушка, с какими деньгами нас из Москвы-то за рубеж отпустили? Да и в Гишпании-то этой мы на кошт ихнего короля все жили. Скажи ты этому сычу длиннолицему, что мы одиннадцать лет тому назад, когда король их посольство к нам снарядил насчет мира с поляками да шведами, послов его и кормили и поили. А тут на-кось-поди! Скажи ему, что ждуть, пожалуй, мы будем, а пусть он кормы и деньги свои на нас выдает.

Яглин обратился к губернатору и сказал, что русское посольство в настоящее время нуждается в средствах, почему не может ли градоначальник ссудить его деньгами и лошадьми для переезда через границу.

— К сожалению, я не могу дать вам ни одного экю¹ и ни одной лошади, так как приказаний относительно вашего посольства я не имею,— опять-таки любезно, но твердо ответил губернатор.

Яглин перевел это подьячему.

— Да что это за бесова страна? — рассердился тот.— Их послов мы от самого рубежа с почтением всяким и береженьем везем, всю дорогу кормим, а в Москве зачастую им великий

¹ Экю — французская золотая монета достоинством около 2 рублей.

государь кушанья со своего стола жалует, а они ничего не хотят для нас сделать. Да что мы — воры, что ли, какие? Скажи ему, что не Гришки Отрепьевы мы.

Яглин объяснил рассердившемуся подьячему, что будет напрасным трудом передавать это градоправителю, так как тот все равно не знает, кто такой этот Гришка Отрепьев, а затем обратился к губернатору:

— Как же нам быть? В Ируне нам никак оставаться невозможно, так как дел в Гишпании у нас никаких нет.

— Тогда вам лучше всего переехать в наш город. Здесь вы можете найти очень недорого хорошие квартиры и жить, пока от маршала Грамона не придет распоряжение относительно вас.

— Делать, видно, нечего, Прокофьич, — сказал подьячему Яглин. — У этого ничего не выторгуешь, о Крещение снега не выпросишь, видно. С этим и идти назад к Петру Ивановичу.

— Да с чем придем-то, Романушка? С пустыми руками? Да он нас батогами забьет! — жалобным голосом произнес подьячий.

— Ну, авось не забьет: здесь не Москва, — сказал Яглин. — А только больше ничего у градоправителя мы не выпросим.

— Да уж коли так, то делать нечего — пойдем, — со вздохом согласился подьячий.

Русские по-прежнему до земли поклонились губернатору и вышли на улицу.

— Ну а теперь не мешало бы и закусить, — сказал подьячий. — Ведь с самого утра маковой росинки во рту не было.

Яглин согласился с ним, что действительно закусить не мешало бы, но он не знал, как это сделать.

Около губернаторского дома все еще толпились любопытные, сопровождавшие давеча русских. Яглин хотел было обратиться к кому-нибудь с вопросом об интересовавшем в настоящую минуту их обоих предмете. Но в это время около них очутился Баптист с кувшином вина. Яглин обрадовался этому и стал расспрашивать солдата.

— О, это можно великолепно устроить! — ответил Баптист. — Здесь неподалеку есть отличный кабачок. Я вас сведу туда. Там хорошо и накормят и напоят.

Жажда адски томила подьячего, и он, забрав в свои руки кувшин, хотел было приложиться к нему, однако его уговорил не делать этого Яглин.

— Здесь ведь не кружало царское, — сказал он. — Да и что скажут в Посольском приказе, если узнают, что за рубежом мы на улицах пьянствуем.

Баптист увел русских в какой-то кабачок, и здесь подьячий отвел свою душу на фряжском вине, так что только под вечер Яглин уговорил его идти из Байоны, и то только угрозой, что он все расскажет Петру Ивановичу Потемкину. Что же касается Баптиста, то он был в восторге от подьячего, не отставал от него в опоражнивании кружек и проводил их на большое расстояние из города.

VII

Стольник Петр Иванович Потемкин, чрезвычайный посол царя Алексея Михайловича, в нетерпении ходил по комнатам того дома, который он занимал в Ируне.

Это был средних лет мужчина, толстый, с большой бородой и умным выражением лица. Одет он был в легкое шелковое полукафтанье, такие же шаровары и теплые бархатные сапоги. Он только что разобрался с посольскими бумагами, над чем работал вместе со своим советником, дьяком Семеном Румянцевым, сидевшим здесь же за столом и что-то выводившим гусиным пером на длинной полоске бумаги.

Восковая свеча скудно освещала всю бедно обставленную комнату, вдоль стен которой стояли сундуки и коробки, наполненные как собственным имуществом посланников, так и подарками московского царя иностранным государям и начальным людям, которых посланник находил нужным одаривать.

Московский царь, в сущности, был в то время таким же хозяином в своем государстве, как любой помещик в своей вотчине, и отличался тою же бережливостью, как и многие из них. Поэтому когда отправлялся в чужие земли посланник и ему выдавались по описи различные подарки, состоявшие в большинстве случаев из мехов, то в Посольском приказе ему читался целый наказ относительно этого.

— А подарки тебе давать только государям, женам их и детям. А начальным людям подарков не давать. А ежели которые просить будут, то тем говорить, что об этом-де нам от великого государя наказа не было. А ежели которые будут какие помехи для дела делать и утеснения, и отсрочки, и обиды, то тем давать, но немного, а начинать с худых вещей, с мехов ли попорченных или вещей каких поломанных.

Каждый такой подарок посланник обязан был вносить в список с обозначением цели, для чего он делался.

— Пиши, Семен,— диктовал Потемкин.— Дуке Севильскому дадено при отъезде мех черно-бурой лисицы, попорченный в пяти местах, каждое место в деньгу, а на хвосте волосья повывезли. Да еще дадена ему мерка малая жемчуга. Не забудь написать: «худого», Семен.

— Написал,— ответил Румянцев, худой, высокий человек с постным, худощавым лицом и длинной узкой бородой.

— Да еще, бишь, кому там чего дадено? — сказал Потемкин, чеша себя рукой в густой бороде.

— Дали мы тогда еще тем двум боярам ихним... как, бишь, их? да, грандам... по куску алого бархата на камзолы...

— Да, пришлось дать собакам в зубы...— произнес Потемкин.— Бархат-то больно хорош был: на царские опашни такой идет. А тут — на-поди — им пришлось дать! Делать нечего: похуже не было. Все, что ли, там?

— Кажись, что все,— ответил Румянцев, просматривая записку.

— Смотри, Семен, вернее занеси: в приказе с нас все строго спросят.— Потемкин перестал ходить по комнате и сел в кресло у отворенного окна, в которое смотрела на него роскошная южная природа.— Ну, ладно, Семен,— сказал он.— Будет на сегодня. Складывай свою письменность. Чего сегодня не вспомнили, завтра авось придет на память.

Дьяк молча стал свертывать свитки и укладывать письменные принадлежности.

— Охо-хо! — вздохнул Потемкин.— Когда-то мы, Семен, в Москву-то приедем?

— Аль соскучился, Иванович? — спросил Румянцев, вкладывая свитки в полотняные чехлы и затем укладывая их в коробья.

— А ты разве нет?

— Нет, и я соскучился дюже. Там ведь у меня семья.

— И жена молодая,— сказал, засмеявшись, Потемкин.— Эх ты, старый греховодник! И надо было тебе пред самым отъездом жениться.

— Не добро быть человеку единому. Так и в Писании сказано.

— А теперь нешто ты не один? Поди, тоже на здешних девок гишпанских заглядываешься?

— Ну, вот! — недовольным тоном ответил Румянцев.— Нешто я — Прокофьич? Это он такими делами занимается.

— Знаю, знаю — и к вину и к девкам подвержен. Ох уж этот мне Прокофьич! Мало ль я его бью, а ему все нейметя. Вот

приедем в Москву, я нажалуюсь на него в Посольском приказе, пусть батовов попробует всласть. Вспомнит он тогда фряжское вино да гишпанских девок.

— Ты лучше его бабе нажалуйся. Это вернее будет. Ведьма она у него сущая, а не баба.

— Одначе что же это их так долго нет? Не забрали ли их в полон? Ведь, кажись, война промеж Гишпанией и Фряжской землей покончилась. Чего же ради мы-то здесь семь-то месяцев сидели?

— Должно, дорога-то не близкая... Пешком-то ведь не то что на коне. Может, приморились да где-нибудь и соснули.

— Ну, тут спать-то нечего, — сердито сказал Потемкин. — Это — царское дело, не свое.

В это время в комнату вошел молодой человек лет двадцати, одетый в шелковую цветную рубаху и такие же шаровары. Это был сын Потемкина — Игнатий.

— Что, Игнаш, скажешь? — спросил, поворачиваясь к нему, посол.

— Роман Яглин с подьячим Прокофьичем пришли, батюшка.

— А, пришли-таки наконец? — обрадовался Потемкин. — Ну, ну... добро. Зови их сюда!

Игнатий вышел, и через некоторое время в комнату вошли усталые Яглин и подьячий. Последний тотчас же и сел на что-то, тяжело отдуваясь.

— Ну что, как, Романушка? — обратился Потемкин к Яглину.

— Да уж и не знаю, как тебе и рассказать, Петр Иванович! — ответил Роман, а затем передал все то, что описано в предыдущих главах, за исключением того, как они заходили в кабачок и как подьячий там напился.

Потемкин слушал его с нахмуренными бровями, недовольный.

— Что же мы теперь будем делать, Семен? — обратился он к дьяку, когда Яглин окончил свой рассказ. — Вишь ты: отказали во всем. На что же мы здесь жить-то будем?

Действительно, оставаться в Ируне посольству было невозможно; приходилось перебираться во Францию. Самый неприятный вопрос был денежный. Потемкин выехал из Москвы почти без средств. Проезжая русскими областями вплоть до Архангельска, они везде пользовались услугами воевод и ни гроша на себя не истратили. В иноземных государствах они рассчитывали проживать за счет иностранных государей. Ис-

панский король давал Потемкину на содержание сто пятьдесят экю в день, и ему удалось в течение семимесячного пребывания в Испании прикупить несколько пистолей¹. Но их, конечно, не могло хватить надолго.

— Что же делать, Семен? — снова спросил Потемкин своего советника.

— Что делать? Как ни кинь, а все тут выходит клин, помощи от фряжских людей нам ждать нечего, а здесь жить — только прожиться. Одно остается: ехать дальше.

Потемкин видел, что совет Румянцева был благоразумен, но все же он стал глухо раздражаться.

«Ну, быть грозе!» — подумал Яглин и стал гадать теперь, на ком из троих посланник сорвет свое дурное расположение духа.

Взор Потемкина упал на подьячего, а именно на его начавший синеть от усиленной выпивки нос.

— Ты это что же, приказная строка? — закричал он на испуганного Неелова, хорошо знавшего, чем грозит гнев сердитого посланника. — Пьян опять? А?

— Я... я... ничего, боярин... — залепетал подьячий. — Так... ничего...

— Ничего? Батогов опять захотел, видно? А? Я тебя угощу! — рассвирепел Потемкин и, схватив перепуганного подьячего за козырь его кафтана, выкинул вон из комнаты.

Гнев Потемкина прошел, и он, сев за стол, стал обсуждать с Румянцевым и Яглиным вопрос о переезде через испанско-французскую границу.

Решено было через три-четыре дня покинуть Испанию и выехать в Байону.

VIII

Второго июня 1668 года жители Байоны были очевидцами невиданного зрелища.

Начиная от городских ворот тянулся кортеж из двадцати с лишним человек. Впереди ехали четыре всадника в малиновых кафтанах, в высоких парчовых шапках, отороченных мехом, и в цветных сапогах, держа в руках обитые медью ларцы, в которых находились подарки московского царя французскому королю. За ними ехало шесть других человек, представлявших собою стражу, с обнаженными кривыми саблями в руках. За

¹ Пистоль — испанская золотая монета.

ними следовали дьяк Семен Румянцев, бережно державший в руках свиток с большой восковой печатью на длинном шелковом шнурке, и подьячий Прокофьич с болтавшейся, привязанной на груди чернильницей. После них ехал сам посланник московского государя, в богатом кафтане из дорогой восточной материи с золотыми галунами, на концах которых болтались такие же кисточки, с саблей, вложенной в богатые, с камнями ножны, и в меховой шапке с аграфом из самоцветных камней. Кorteж замыкала толпа слуг, с переводчиком Яглиным во главе, одетых в такие же одежды.

Жители Байоны с любопытством следовали за гостями.

— Азиаты! — решили они, рассматривая необычные костюмы.

Потемкин имел намерение проследовать прежде всего к губернатору. Последний из окна увидал, как посольство направляется по площади к его дому.

— Кажется, эти скифы имеют намерение посетить меня? — сказал маркиз, обращаясь к стоявшему возле него племяннику, Гастону де Вигоню.

— Да, — ответил тот, вглядываясь в лица русских, среди которых без труда узнал Романа Яглина.

— Но я не имею никакого предписания от маршала, — вдруг заволновался маркиз, — и принять их официально не могу. Ступай, пожалуйста, Гастон, и передай им это! Пусть остановятся где-нибудь в гостинице, пока я не получу относительно их какого-либо предписания.

Гастон отошел от окна и, выйдя из дома, направился к подъезжавшим русским.

Потемкин, увидав подходившего офицера, остановил лошадь и стал дожидаться. Гастон передал ему поручение дяди.

Для гордого русского посланника, привыкшего ощущать себя за рубежом как представителя своего великого государя, это было почти оскорблением. Он покраснел и в раздражении задергал правой рукой свою великолепную каштановую бороду.

— Поруха! Поруха! — твердил он про себя. — Поруха на честь и славное имя великого государя. Нигде ничего подобного не было.

Эти чувства разделяли дьяк Семен Румянцев, решивший про себя, что такое дело оставить нельзя и что если от фряжского короля будет когда-нибудь посольство, то и его подвергнут такому же унижению, и подьячий Прокофьич, впрочем больше боявшийся, что рассерженный посланник выместит, по обыкновению, свое сердитое расположение духа на его спине.



Потемкин некоторое время угрюмо молчал, а затем обернулся к Румянцеву и произнес:

— Ты что, Семен, об этом думаешь?

— Великая поруха, государь, на великое царское имя... великая!

— Без тебя знаю, что великая. Ни у одного потентата ничего такого не было с нами... Что же теперь-то: заворачивать, что ли, назад?

— Ничего больше и не остается. Ждать, видно, надо, что они там удумают.

Потемкин обернулся назад и пальцем поманил к себе Яглина. Но тот не скоро двинулся по приказанию посланника.

Дело в том, что он увидел в толпе Элеонору вместе с каким-то низеньким стариком с седыми волосами и густой, волнистой, такого же цвета, бородой, с бронзовым цветом лица и горбатым носом, одетым в черное платье и такую же шапочку. Девушка тоже, видимо, узнала Яглина и издали улыбнулась ему. Теперь Яглин лучше разглядел ее, чем в первый раз, и невольно залюбовался на высокую красавицу «гишпанку».

— Роман, что ты? Оглох, что ли? — привел его в чувство сердитый оклик посланника.

Яглин ударил каблуками сапог в бока лошади и подскакал к Потемкину.

— Разузнал ты, где нам встать можно? — спросил его последний.

— Разузнал, государь, — ответил Яглин.

— Ну, так поезжай вперед и веди нас.

Яглин поехал вперед, по направлению к тому самому кабачку, где в прошлый раз был вместе с подьячим и Баптистом.

У смотревшего на эту сцену губернатора отлегло от сердца: железная рука «короля-солнца», окончательно наложившая свою тяжесть на феодальные стремления отдельных дворян и правителей целых областей, заставляла опасаться за свою карьеру и даже жизнь, если в Париже будет узноано, что губернатор отступил от тех положений, которые выработала монархическая централизация.

IX

Посольский кортеж, сопровождаемый глазевшей по-прежнему толпой народа, в скором времени остановился у знакомой Яглину гостиницы. Изю всех окон последней высунулись головы любопытных зрителей. Содержатель гостиницы сломя голо-

ву сбежал вниз и, униженно кланяясь, почтительно взялся за стремя лошади Потемкина.

— Переговори с ним,— обратился он к Яглину.— Не до него мне...

Потемкину было не до таких мелочей. «Поруха великому имени славного государя»,— не выходила мысль у него из головы. Помимо того, что ему, как верному подданному, было обидно за своего государя, тут еще примешивались и чисто личные опасения.

Он недаром всю дорогу от губернаторского дома до гостиницы пытливо поглядывал на своего советника, Семена Румянцева. Потемкин был травленный волк; сам он сидел в Посольском приказе и хорошо знал, что советники даются посланникам не столько для советов, сколько для того, чтобы следить за каждым шагом посланника, как в области официальной, так и в его частных делах; чтобы заносить в память каждую ошибку, промах и погрешность посланника и после доложить все это в Посольском приказе. А там уже доки сидят: к каждой ошибке прицепятся и, глядишь, в конце концов не посмотрят, что ты — боярин, и либо на дыбу вздернут или батогами отдерут, а то и голову снимут долой.

«Донесет, вор!..— думалось Потемкину про Румянцева.— Ишь, и харя-то у него другая стала, у вора».

И пока Яглин переговаривался с трактирщиком, Потемкин не переставал коситься на Семена Румянцева.

Действительно, отношения между Потемкиным и Румянцевым были самые неопределенные.

Потемкин знал, чего ради приставлен к нему Румянцев, и потому постоянно глухо раздражался. Дьяк же сознавал свое привилегированное положение и по возможности пользовался этим, очень часто давая понять посланнику, что, в случае чего, он может сильно повредить ему в Посольском приказе, где ему ничего не стоит оговорить посланника.

Поэтому они нередко ссорились между собою и очень часто даже не обедали за одним столом и не ездили в одной карете. Вследствие этого в Испании у них чуть было не расстроилась аудиенция у короля, и только в последнюю минуту они одумались и поняли, что рисковали своими головами.

Наружу эти недоразумения никогда не выходили — и со стороны можно было думать, что и посланник, и его советник находятся в самых лучших отношениях между собою.

Только слуги, да и то из самых близких, подьячий Неелов, Роман Яглин и оба посольских священника, сопровождавших

русское посольство — отец Николай и монах отец Зосима, знали об истинных отношениях обоих представителей московского государя. Но они сора из избы не выносили.

Наконец переговоры с трактирщиком были окончены, и Яглин обратился к Потемкину:

— Можно спешиться, государь!

Слуги помогли посланнику слезть с лошади и, поддерживая его под руки, ввели в гостиницу. Трактирщик забежал вперед и растворял все попадавшиеся на пути двери. Наконец Потемкина довели до самой большой комнаты. Он снял свою высокую шапку и перекрестился истовым крестом.

Его примеру последовали все следовавшие за ним.

Обыкновенно когда посольство прибывало в новое помещение, то служили молебен. Но теперь это сделать было нельзя, так как оба священника, следовавшие позади, вместе с вещами, еще не прибыли.

— Ну, ишь, делать нечего, — сказал Потемкин. — В басурманской стороне и сам скоро, пожалуй, станешь басурманом. В Москве немало грехов придется, видно, отмаливать.

— Посольство пошло с благословения патриарха, — ядовито заметил Румянцев. — Выходит, что все грехи святым отцом напередки усмотрены и отмолены им.

Потемкин только недовольно покосился на своего советника.

— Хозяин спрашивает, — обратился к нему Яглин, — не прикажешь ли что изготовить на завтрак?

— Что ты — рехнулся, что ли, Романушка? Попомни-ка, какие теперь дни? Да не здешние, папежские, а наши, православные?

— Петровки, — сконфуженно произнес Яглин.

— То-то. А сегодня иуня двадцать второго, память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, и мученика Галактиона. И день — пятница, когда жиды Христа распяли. Забыл, кажись, ты это, парень? — подозрительно посмотрев на Яглина, сказал посланник. — Смотри, сам не обасурманься здесь с папежцами да люторцами...

Яглин обратился к хозяину гостиницы и сказал, что в этот день на их родине воздерживаются от пищи, а потому завтрак им не нужен.

Хозяин удалился.

Понемногу все разместились в гостинице. Через несколько времени прибыла остальная часть свиты посольства, оба священника и вещи. Отслужен был молебен, и можно было подумать о еде.

Выезжая из Москвы, посланники решили есть на чужбине только свои кушанья, изготовленные православными руками, так как опасались, что, питаясь иноземною пищею, могут опоганиться. Поэтому они захватили с собою поваров, которые и готовили пищу на все посольство, начиная с посланников и до последних слуг.

Когда настал вечер, Потемкин почувствовал голод и приказал своим поварам приготовить обед.

Хозяин гостиницы сначала с удивлением смотрел на невиданные им кухонные принадлежности русских. Но когда повара водворились в кухне и хотели было приняться за стряпню, то он понял, в чем дело, и побежал к Яглину.

Последний насилу мог понять, в чем заключается претензия трактирщика.

— Так нельзя делать,— взволнованно проговорил последний.— Путешественники не могут сами готовить себе обед. Они должны брать у нас. Так все делают. Это нехорошо. Это мне убыток приносит.

— Но мы не привыкли к вашим кушаньям. У нас свои,— попробовал было возражать Яглин.

Однако трактирщик ничего слушать не хотел, и Яглину пришлось идти к Потемкину и сказать ему, что свой обед им готовить не разрешают.

Потемкин предвидел, что это пахнет лишними расходами, и недовольно поморщился.

— Делать нечего,— произнес он.— Пускай, ин, готовит. Покаемся в Москве.

Вскоре подали обед.

Русским он показался жидковатым и очень незначительным по количеству. Вина тоже было мало, о чем сильно сокрушался подьячий. И самого Потемкина, как ни старался он показаться ради соблюдения своего посланнического достоинства стоящим выше такого низменного занятия, как прием пищи, и того этот обед не удовлетворил.

Шумливым французам странным казалось, как ведут себя за обедом русские. Ни шума, ни смеха, ни даже разговоров не было.

— Точно обедню служат,— говорили французы.

Пред началом обеда, а также и после него священниками произносилась длинная молитва, во время которой русские усердно крестили себе лбы.

— Роман, спроси, сколько следует заплатить за обед? — спросил Яглина Потемкин.

Тот обратился с этим вопросом к хозяину.

— Пятьдесят экую,— со сладкой улыбкой на лице ответил трактирщик.

Цена была невероятно большая.

— Сколько? — удивленно переспросил Яглин.

Трактирщик повторил цену.

Яглин, зная вспыльчивый характер посланника, не мог придумать, как ему сказать о такой цене.

Потемкин увидал по лицу молодого человека, что тут что-то происходит, и спросил:

— Ну, что же, сколько хочет с нас за свои худые яства этот разбойник?

Яглин сказал.

— Что? — закричал сразу рассердившийся посланник.— Пятьдесят?.. Ах он вор, тать этакий!.. За такую скверну, которой он нас кормил, и пятьдесят золотых? Да что он, на большую дорогу, что ли, вышел? Да я бы его на Москве за такие слова прямо в Разбойный приказ отправил, чтобы там ему показали, как грабить добрых людей..

Дьяк Румянцев стоял в отдалении и с улыбкой смотрел на эту сцену. Он рад был каждому случаю, где посланник попадал в затруднительное положение, так как в этих случаях он всегда отбрасывал в сторону свою гордость и обращался за советом к дьяку.

Так случилось и теперь.

— А? Дьяк?..— полуобернулся к Румянцеву посланник.— Да ведь этот разбойник нас грабить хочет... чу... За свой обед требует с нас пятьдесят золотых, слышь ты!

— Что же делать, государь?..— сокрушенно вздыхая, произнес Румянцев.— Видно, мал золотник здесь, да дорог... А не зная броду, не надо было соваться в воду. Да к тому же на Москве нам про все издержки наши ответ держать надо... Что и как — за все с нас спросят в приказе...

Поминание об ответе в Посольском приказе передернуло Потемкина.

«Напрасно только булгу завел,— подумал он про себя.— Кинуть бы в харю этому разбойнику его деньги, да и конец!» — и он, ни слова больше не сказав, вынул из кармана кошель с деньгами, а затем, отсчитав требуемую сумму, кинул ее трактирщику.

— Прикажешь, государь, разбирать рухлядишку? — обратился к нему один из холопов.

— Не надо,— ответил Потемкин.— Завтра уедем из этого разбойничьего логова.

Все разошлись спать.

Яглину не спалось.

Напрасно он ворочался с боку на бок и старался ни о чем не думать, сон бежал от его глаз. Из далекого французского города его думы переносились на Восток, к белокаменной Москве, и еще дальше, на приволье широкой Волги, в страну бывшего татарского Казанского царства.

Вспомнил он ту большую усадьбу на берегу широкой реки, неподалеку от основанного сто лет тому назад царем Иваном Грозным, «на страх нечестивым агарянам-татаровям и на береженье Русской земли», города Свияжска, где он провел свое детство и где с самого покорения этим царем Казани жили дворяне Яглины.

Усадьба дворян Яглиных, пришедших в Казанский край вместе с грозным царем, который подарил им участок земли на другом берегу Волги, была также приспособлена к тому, чтобы в ней можно было «отсидеться» от разных лихих людей. Снаружи она была огорожена бревенчатым забором, вдоль которого тянулся широкий и глубокий ров. Посреди этого укрепления было разбросано множество жилых помещений, повалуш, амбаров, горниц, изб, сенников. Позади этих зданий были скотные и причные дворы, поварни, медоварни, хлебопекарни и пивоварни. А за всем этим тянулся на большое пространство густой сад.

За таким-то укреплением, которое в течение ста лет выдержало не одну осаду и отразило не одно нападение горных чувашей и черемис, жил со своей семьей Андрей Романович Яглин. А семья у него была маленькая: сам с женой да сын Роман и дочь Ксения.

Долгое время жил спокойно Андрей Яглин. Он занимался хозяйством да растил детей, из которых дочери пошел уже шестнадцатый год, а Роману — только восемнадцатый, и думал так век прожить, детей пристроить — сына женить, а дочь замуж выдать, а потом со своей старухой спокойно умереть, как подобает православному христианину. Да судьба иначе судила.

Долгое время ждали жители города Свияжска к себе нового воеводу. Впрочем, и прежним они были довольны: не слишком грабил. Да, видно, не полюбился он кому-нибудь в Москве и решили там убрать его и послали править каким-то острогом на Урале.

«Каков-то будет новый воевода? — не без страха думали свияжцы. — Много ли возьмет он «въезжих», да как судить бу-

дет, да не будет ли брать «посулов», да как около нас кормиться будет?»

Эти вопросы для жителей городов того времени были далеко не безынтересными, так как «кормленье» воевод для земских людей было больным местом.

«Рад дворянин собраться в город на воеводство: и честь большая, и корм сытный. Радуется жена — ей тоже будут приносы; радуются дети и племянники — после батюшки и матушки, дядюшки и тетушки земский староста на праздниках заедет и к ним с поклоном; радуется вся дворня, ключники, подклетные — будут сыты; прыгают малые ребята — и их не забудут. Все поднимается, едет на верную добычу»¹.

— А ну, да как пришлют такого воеводу, который до этого был! — гадали посадские и земские люди.— Тому если стяг мяса принесешь, так он требовал, чтобы ему всего вола принести, да с копытами, рогами и шкурой. Кусок сукна жене подаришь о Рождестве, так он веницейского бархата себе затребует. А не исполнить нельзя: запрет, собака, лавку да подговорит какого-нибудь гультая подкинуть подметное письмо, что держишь в своей лавке вино или чертово зелье. И велит захватить тебя да запрет в железы и сиди там, пока не откупишься. А посулы как любил — беда!

Наконец как-то раз утром прибежал в Свияжск один из целовальников с переправы на Волге и закричал усталым голосом:

— Приехал! Воевода приехал!

Все замерли в ожидании.

Нового воеводу звали Авдеем Курослеповым. Происходил он из боярских детей и правил служилую службу: воевал со шведами да с ляхами, причем в войне со шведами потерял один глаз, куда угодил ему конник своим копьем.

Этому случаю Курослепов обрадовался так, что и глаза не жалко стало.

«И с одним проживу,— думал он.— А теперь вот и отдохнуть можно: буду просить царя пожаловать меня за верную службу, чтобы послал меня куда на кормленье воеводой».

Был у него в Москве один хороший товарищ: боярин Сергей Степанович Плетнев, с которым он вместе один поход против ляхов совершил, причем Курослепов его раненого из сечи на своем коне вывез.

¹ Из «Истории» С. Соловьева.

«Плетнев поможет,— думал он.— Чай, старой услуги не забыл. А у него в Москве много приятелей, да и сам каждый день на дворцовой площадке бывает, со многими сильными людьми видится».

Собрался Курослепов в Москву, набил полный кошель деньгами, так как хорошо знал, что Москва больше деньгам, чем слезам, верит, и поехал.

Боярин Плетнев не забыл старой услуги; он принял Курослепова с распростертыми объятьями и угостил так, что Курослепов три дня пьяный ходил.

— А ведь я, боярин, в Москву за делом приехал,— сказал наконец он, когда пьяный угар немного улегся в голове.

— Что же, рад другу услужить, коли смогу. У меня приятелей полна Москва наберется.

Курослепов изложил ему свое желание — сесть где-нибудь на «кормление».

— Да ты вот о чем...— в раздумье произнес Плетнев.— Ну, это, брат, дело нелегкое. Тут у нас по приказам такие жохи сидят, что только ну! Без посулов и не подступайся.

— Да это — не велика беда. Я готов и посулами поклониться. За свой век сколотил деньжонок малу толику. На кон поставить их можно. Там все вернуть назад можно.

— Ну, так дело можно устроить. Я за тебя посольским дьякам пообещаю.

— Уж постарайся, Сергей Степанович. А я тебе из своей будущей «вотчины» подарочек пришлю да во всех тамошних церквах за обедней прикажу твое имя поминать.

Плетнев на другой день куда-то ушел и вернулся только вечером.

— Ну, Авдей Борисович,— весело сказал он, входя в комнату, где сидел Курослепов,— молись Богу да благодари Миколу Угодника.

— Али что выгорело, боярин?

— Выгорело! Только недешево достанется тебе воеводство это. Сот пять серебра выкладывай.

Поморщился расчетливый Курослепов, так как не думал, что воеводство будет так дорого стоить.

«Ну, да не беда,— подумал он затем,— на воеводстве все с лихвой выколочу».

— Иди завтра в приказ, подавай свое челобитье, да денег поболее пятисот бери: помимо дьяка надо еще дать подьячим, ярыжкам приказным разным, и стрельцов, что у приказа стоят, не обойди. Сухая-то ложка рот дерет. Да не забудь еще: дьяк с

тебя за воеводство вдвое запросит. Так ты торгуйся, более пяти сотен серебра не давай. Это мне верный человек сказал, что теперь у них по росписи только одно это воеводство впусе и осталось.

— А не знаешь, боярин, где это воеводство? — спросил Курослепов.

— А где-то в Казанском краю. Городка-то только наверное не помню.

Курослепов опять поморщился.

Плетнев заметил это.

— Да ты погоди лицо-то кривить, Авдей Борисович, — сказал он. — Ты только подумай, где ты воеводить будешь? В таком крае, откуда в Москву ни одна жалоба не придет. Ведь это чуть ли не на краю света. Одна Сибирь только дальше-то. Да к тому же в Казани воеводой мой большой дружок сидит. Он на все, что ты там творить будешь, сквозь пальцы будет смотреть.

Доводы подействовали на Курослепова, и он в тот же вечер засел за писанье следующей челобитной:

«Великому государю, и царю, и великому князю всея Русии и многих земель отчичу и дедичу обладателю холопишка Авдейка Курослепов бьет челом.

Слезно прошу тебя, великий государь, приказать меня пожаловать за мою многую службишку тебе воеводством. В прошлых летах был я, Авдейка, по твоему, великого государя, приказу во многих походах и со шведами и с поляками воевал. И в той, со шведами, войне глаза лишился, и спина не может, и поныне не могу тебе, государю, походную службу править. И бью тебе ныне челом, прикажи меня от прежней службы отставить и за многие ратные труды мои пожаловать великим жалованьем и пошли куда-нибудь на воеводство. А в том, что я, холоп твой Авдейка, правду говорю, у меня и послух есть».

XI

На другой день Курослепов поднялся рано и, усердно помолвившись пред иконами, пошел в приказ.

Старшего приказного дьяка он скоро нашел.

— По какому делу? — спросил тот, пронизывая Курослепова своими маленькими, хитрыми глазками.

— Да челобитьишко подать, — ответил Курослепов, — на воеводство.

— У нас одно воеводство осталось,— ответил дьяк.— В Казанской земле город Свияжск есть. Да недешево будет стоить воеводство это.

— А какая цена у вас по росписи?

— Да роспись что? — пренебрежительно ответил дьяк.— Когда много воеводств есть, тогда мы по росписи, а теперь лишь одно воеводство впусе осталось — ну и цена на него особливая.

— А какая цена ему будет?

— Тысяча рублей.

— Побойся Бога, дьяк! — сказал, махая руками, Курослепов.— Да когда же такие цены были? Ведь это не Смоленск или не Новгород, чтобы тысячу рублей брать. Уступи хоть что-нибудь! Когда такие деньги на воеводстве соберешь? Да и городишко-то твой так себе.

— Ну, умеючи-то понасобирать скоро можно. А что город плох, так ты этого не говори. Там народ все безответный — чуваши да черемисы — бери с них что хочешь.

— Да все же уступить надоть, дьяк.

Начался торг — и через некоторое время свияжское воеводство досталось Курослепову за восемьсот рублей.

Через несколько недель Курослепов ехал с указной царской грамотой на воеводство и уже по дороге начал проявлять свою воеводскую власть. Несмотря на то что он всю дорогу ехал даром, так как в выданной ему в приказе подорожной было сказано, что едет-де он на царскую службу и денег и пошлин за провоз, на лошадях ли, сухопутьем ли, на стругах ли, с него не брать, но этого ему казалось мало. Подвод он заставлял выстав-лять вдвое, чем показано в подорожной; перевозчиков и струговщиков заставлял для себя на другом берегу рыбу на уху ловить; а если где оставался переночевать, то там все до хозяйских женок и девок добирался. А иногда просто, потехи ради, возчикам зубы выколачивал.

Но вот он доехал до Свияжска.

Встревоженный целовальниками народ побросал свои занятия и побежал к городской заставе посмотреть на нового воеводу и по внешнему виду угадать, каков он — грозен или милостив? Соборный поп и обедать бросил, поскорее оделся и приказал во все колокола звонить на колокольне. В церкви собрались и все служилые люди города — дьяки, подьячие, земский и губной старосты, целовальники, ярыжки, а также те немногие бояре и дворяне, которые жили в городе, и именитые купцы.

Впереди всех стоял священник с крестом, а позади него земский староста с блюдом в руках, на котором был хлеб-соль, а рядом с нею «денежная почестъ», или «въезжее», собранное еще заранее среди всех жителей города.

Курослепов подъехал на телеге к собору и подошел под благословение к священнику. Затем его приветствовал земский староста и просил не погнушаться мирским хлебом-солью. Курослепов на последнюю и не взглянул, а сразу взялся за «денежную почестъ» и потрянул ее, желая удостовериться, много ли там.

— Немного же собрали! А, кажись, город не бедный! — произнес он затем и прошел в собор, где лежали мощи епископа Германа, одного из трех просветителей Казанского края.

Все, встретившие нового воеводу, разошлись, почесывая себе затылки.

«Ну-у,— думали они дорогой,— а, пожалуй, новый-то воевода даст о себе объявку лучшего старого. Тому «въезжего» куда меньше поднесли — и то как доволен остался. А этот: «немного же собрали». Объявит же он себя! Не дай Бог с ним дело иметь! С живого шкуру, пожалуй, драть станет».

И действительно, новый воевода показал себя.

Скоро стоном застонала вся Свияжская земля.

Лют оказался новый воевода. Много ему всяких добровольных подношений делали земский и губной старосты, дьяки, прочие служилые, тяглые и торговые люди, а все ему мало было.

— Что мало принес? — кричит он на какого-нибудь челобитчика.— Да ты подумал ли о том, с кем тягаться-то вздумал? Может, ответчик-то больше твоего даст, так кого я по совести должен осудить: его или тебя? На, бери назад свою челобитную да сначала побольше принеси поклона!

Сильно стал кормиться воевода. Много у него уже накопилось добра в сундуках и амбарах, а ему все мало.

«И куда ему, бездне эдакой, столько добра? — думали свияжские люди.— Добро бы семейный был или бы женатый, а то один как перст на свете!»

Воевода и сам видел, что в какой-нибудь один год у него довольно добра накопилось, пора бы и остановиться и полегче брать. Но жадность свое брала, и не мог он удержать свою расходившуюся руку.

— Вор!.. Одно слово — вор!.. Хуже татарина некрещеного!..— в один голос порешили свияжские люди.— Совсем со света сживет нас.

И стали было подумывать свияжские люди, нельзя ли кого-либо отправить в Москву с челобитьем на вора-воеводу, чтобы сжалился царь над своими холопами и убрал от них Курослепова.

ХІІ

А тут случилось такое дело, что не только весь уезд ахнул, а и сам казанский воевода, несмотря на то что у него было привезенное Курослеповым от Плетнева письмо, где тот просил своего кума не оставить своей милостью и научением нового свияжского воеводу, почесал у себя в бороде и задумчиво сказал:

— Ну, ну... Дела!.. Это как узнают в Москве, так отправят Курослепова за Камень¹ соболей с куницами ловить. Ведь такое позорное дело. Словно бы и не русский воевода, а какой-нибудь нехристь.

А «позорное дело» это было следующее.

Как-то в один из базарных дней отправился воевода на городскую площадь с обычной своею целью: не кинется ли что в глаза, что можно было бы приставам приказать снести на воеводский двор.

В последнее время Курослепов перестал вообще стесняться и вел себя на воеводстве точно в завоеванном городе, таща себе во двор все, что ни понравится его завидующим глазам.

Кроме того, ко всему присоединился еще новый повод для недовольства свияжцев: большую охоту стал проявлять воевода к женскому полу.

Уж немало было в городе недовольных мужей, оскорбленных Курослеповым и ждавших только часа, чтобы так или иначе отмстить воеводе за бесчестье.

В этот же день он был настроен особенно благодушно и с улыбкой посматривал на встречавшихся ему на пути купеческих женок и дочерей, знавших повадку воеводы и потому торопливо закрывавших свое лицо рукавом.

И вдруг увидел воевода, что посредине улицы едет открытая колымага, а в ней сидят старик и молодая девушка с весело смотрящим по сторонам лицом. Нечаянно она повернулась в сторону Курослепова, и, должно быть, показалась ей смешной фигура воеводы, только она звонко расхохоталась и показала

¹ Камень — Урал.

старику на предмет своего смеха. Старик взглянул, куда указывала девушка, и, узнав воеводу, поспешно ткнул рукою в спину правившего лошадыми возницу, чтобы тот уехал скорее от греха.

Воевода обратил внимание на хорошенькое личико девушки, ее веселые, невинные глазки и задорный смех, несмотря на то что причиною последнего был он сам.

«Кто бы такая? — думал он про себя.— Кажись, городских-то девок я всех знаю, а этой что-то не припомню».

— Чья это? — спросил он приставов, кивая головой на уезжавшую колымагу.

— Дворянина Андрея Романова Яглина дочь, из уезда, — ответил один из них.— А старик-то — сам Андрей Яглин.

— Та-ак,— протянул Курослепов.— Славная девка!..

Двинулся было вперед воевода, на базар, да раздумал и вернулся к себе, в воеводскую избу.

И запали с той поры ему в голову образ дочери Яглина, ее по-детски смотрящие глаза, ее задорный, беззаботный смех. Как ни гнал он прочь это наваждение, старался заглушить то вином, то потехами разными, то развратом, а все образ дочери Яглина стоял пред его глазами.

Наконец он не выдержал и, позвав одного из приставов, сказал:

— Наряди-ка поезд: поедем к Яглину Андрею в гости.

Пристав понял это по-своему и со страхом сказал:

— Но, государь, это — дворянин, а не мужик. Не было бы нам от такого наезда лиха. Дворянскую дочь утащить к себе — это не крестьянскую или купеческую девку либо женку.

— Не бойся, это не наезд будет, а будто бы по дороге завернули к нему отдохнуть.

Через несколько дней воевода поехал в гости в усадьбу Яглина.

— Скажи хозяину, что к нему воевода в гости прибыл, — крикнул он встретившему их у ворот холопу.

Тот побежал исполнять приказание, и через некоторое время на крыльце самой большой избы усадьбы показался Андрей Романович.

— Не ждал, хозяин, к себе гостей? — со смехом сказал Курослепов, вылезая из колымаги и направляясь к крыльцу.— А мы вот по пути к тебе завернули.

— Милости просим, государь,— ответил Яглин, почтительно и в то же время с достоинством кланяясь неожиданному гостю.— Я такому гостю всегда рад. Для моей избы честь, что ее посетил царский ставленник.

— Ну, коли рад, так принимай. А вы у меня — тихо вести себя!.. — крикнул Курослепов окружавшим его холопам и стрельцам. — Коли учините что, в железах сгною, батогами забью насмерть.

Воевода с хозяином вошли в избу.

И вот они сидят за столом, уставленным блюдами с яствами, среди которых стояли жбаны с различными квасами, медами и пивами, графин с фряжской водкой и бутылки с различными наливками домашнего приготовления.

Андрей Романович усердно угощал Курослепова. Но воевода мало ел и плохо пил, а все смотрел по сторонам и вскидывал взор на каждое вновь входящее в комнату лицо, как будто бы желал увидеть кого-то.

— А что, Андрей Романович, — сказал он через несколько времени, — ты как же живешь-то: неужто бобылем? Ни жены, ни детей у тебя нет?

— Нет, зачем бобылем, государь? — ответил хозяин. — И жена и дети у меня есть. Не обидел Бог...

— Что же их не видно?

— А жена-то захворала, вишь ты. На лодке по Волге катались, да, знать, продуло ее. Ну и лежит теперь в своей светелке. А сынок в поле поехал зайчишек потравить. А дочка у себя в тереме сидит. Что ей здесь делать?

— А велики у тебя дети?

— Да сыну с ноября двадцать седьмого, идь же память преподающего Романа римского, восемнадцатый пошел, а дочери с июля одиннадцатого — шестнадцатый.

Еще кое о чем поговорил гость с хозяином и наконец уехал, так и не увидав той, ради которой приезжал.

В следующий раз Курослепов приехал в один из пасхальных дней. Тогда и Яглина была здорова, и Роман дома.

— А что же у тебя, хозяин, не видать дочки-то? — обратился воевода к Андрею Романовичу. — Я ведь приехал к тебе со всей твоей семьей похристосоваться, а ты дочку-то ровно прячешь где в потайности. Нехорошо так!

— Нечего мне и хоронить ее, государь; она и сама придет сюда, — ответил Яглин и приказал сказать дочери, чтобы та пришла вниз, хотя это ему сильно не нравилось, так как худая слава про Курослепова относительно женщин дошла и до него.

Ксения явилась к гостям и воеводе первому поднесла на подносе кубок вина, прося его откусать, почтить хозяев.

Курослепов не мог глаз оторвать от скромно стоявшей пред ним зардевшейся девушки. Он пожирал взором ее красивое лицо, всю ее стройную фигуру, ее белые руки и высокие плечи.

«Хороша!.. Ох, хороша!..» — мелькало у него в голове, и грешные желания все более и более овладевали его душой.

Как в тумане, он уехал в тот день домой от Яглиных и всю дорогу думал о заморожившей его красавице.

С того дня зачастил он в усадьбу Яглиных, все для того, чтобы хоть мельком взглянуть на Ксению.

Прошло так с полгода. Наконец как-то раз, уже летом, Курослепов сказал Андрею Романовичу:

— А что, Андрей Романович, не породниться ли нам? А?

— Как же это так, государь? Не понимаю что-то твоих слов.

— Да неужто не догадаешься?.. Экий же ты!.. У тебя ведь есть дочь? Да? Ну и отдавай ее за меня.

Андрей Романович удивленно поглядел на воеводу, не будучи в состоянии угадать, шутит ли тот или говорит серьезно.

— Ну, чего же молчишь, Андрей Романович? — спросил Курослепов. — Или жених не ко двору пришелся?

— Не ко двору, государь, — ответил, глубоко вздохнув, Андрей Романович. — Молода моя дочь будет для тебя. Не обес-судь.

— Вот оно что!.. Что же, коли не ко двору дворянскому пришелся царский воевода, так прощенья просим. А только по-помни, Андрей Романович, что не забуду я этого никогда, — стиснув зубы, произнес воевода и, рассерженный, встал из-за стола.

В смущенье вышел на крыльцо проводить воеводу Яглин. Сжалось у него сердце — и он все повторял себе, глядя вслед уезжающему воеводе:

— Ох, не забудет он этого, ох, не забудет! Не такой это человек.

Но прошел месяц-другой вполне спокойно, и Яглин перестал думать об этом, забыл об угрожающих словах Курослепова.

Но тот не забыл оскорбления от Яглина.

И вот в одну летнюю ночь в ворота усадьбы последнего раздался громкий стук, сопровождаемый бряцаньем металла и громкой руганью.

— Кто там? — с испугом закричал привратник, машинально хватаясь за прислоненный к стене бердыш.

— Отворяй, чертов сын, коли приказывают, а то ворота разобьем!.. — раздались снаружи чьи-то крики, и несколько новых ударов потрясли ворота и забор. — В гости приехали...

Но привратник медлил отворять ворота, а затем, сообразив, что едва ли добрые люди таким образом придут в гости, с испуга закричал во весь голос:

— Воры!.. Помогите!.. Разбой!..

Однако в это время сбитые сильными ударами ворота слетели с петель, и сам привратник, оглушенный ударом в голову, повалился замертво на землю. Какие-то люди ворвались во двор и хлынули по направлению к большой избе, где жили Яглины.

— Девку хватайте!.. Не грабить!..— раздался им вслед голос, по которому всякий бы узнал воеводу.

Несколько испуганных слуг выбежало было из изб, но все скоро лежали связанными на земле.

Старик Яглин и его сын, спавшие в одной горенке, проснулись от шума и, предполагая нападение каких-то воровских людей, выбежали на крыльцо: один с заряженной пищалью, а другой — с саблей. Но нападающие в это время уже бежали к воротам и, сев на лошадей, поскакали прочь от усадьбы в поле.

В это время на одном крыльце раздался громкий вой. Это кричали жена Яглина и старая мамка Ксении.

— Ой, увезли!.. Увезли воры наши Аксиньюшку!.. Бесталанная ты наша голубушка!.. И куда-то теперь тебя злодеи завезут?..

— Воевода!..— крикнул все понявший Яглин.— Он, вор, увез!.. Эй, на коней!..

Через несколько минут вся усадебная челядь была на лошадях и скакала по Свяжской дороге. Лошади быстро неслись по ровной дороге, и вскоре нагоняющие увидели скачущую впереди кучку людей.

— Стойте!..— закричал им Яглин.— Не то стрелять будем!..

Но преследуемые по-прежнему скакали во весь опор.

Вслед им загредел блеснувший в ночной тьме выстрел, и один из всадников, покачнувшись на седле, свалился на землю.

Расстояние все более и более уменьшалось — и Курослепов, на лошади которого поперек седла была перекинута Ксения Яглина, видел, что скоро его нагонят. Как ни хлестал он своего коня, но последний, скакавший второй конец, начал уставать и то и дело спотыкался.

Вслед им загредели еще выстрелы — и уже несколько пуль просвистело над головой воеводы.

Курослепов струсил при мысли о том, что шальная пуля может задеть его и убить наповал.

«А ну ее к черту, и девку-то эту! Из-за нее, чего доброго, еще жизни лишисься»,— решил он про себя и кинул бесчувственную девушку прямо на дорогу.

В это время раздался сзади еще выстрел — и Курослепов услышал, как невдалеке пуля ударила во что-то мягкое.

При свете разгоравшейся зари нагоняющие, доскакав до брошенной девушки, тотчас же заметили ее на дороге и остановились.

Первый соскочил с лошади Андрей Романович. Он быстро наклонился над брошенной девушкой и тотчас же отдернул руки. Они были в крови.

— Аксиныюшка!.. — не своим голосом закричал старик, хватая дочь своими окровавленными руками. — Убили!.. Злодеи!.. Они убили ее!.. Будь они прокляты!..

Все кругом молчали.

Преследовать дальше было бесполезно, так как разбойники уже успели скрыться из виду. Убитый горем старик и опечаленные челядинцы, любившие кроткую, ласковую боярышню, устроив из чего-то носилки, печально возвратились в усадьбу.

XIII

Андрей Романович хорошо знал, что ни в Свияжске, ни в Казани на воеводу жаловаться некому, а потому решил:

— В Москву, к царю надо идти, ему челом ударить. Он один — заступа.

Тогдашнее хозяйство было исключительно натуральное и денег в то время ни у кого в запасе много не водилось. Между тем Андрей Романович хорошо знал, что Москва, в лице своих приказов, любит деньги и что без них в Белокаменной нельзя ступить ни шагу, а потому начал обращать в деньги все, что только можно было. Для этого пришлось продать половину скотины, множество хлеба да, кроме того, идти занимать денег под рост.

Наконец, когда исполнился сороковой день после смерти Ксении, Андрей Романович с сыном поехали в Москву искать правды.

Но оказалось, что в Москве не так-то было легко сделать это.

Курослепов предвидел, что Яглин станет на него жаловаться в Москве. Да об этом говорила вся Свияжская земля, так как все знали, что Яглин обращает хлеб и скотину в деньги, и хорошо понимали, для чего это делается. Поэтому воевода послал туда верного человека с богатыми посулами, который кланялся различным воеводам, дьякам и подьячим и жаловался, что на «Авдешку Курослепова, верного царского слугу и воеводу, идет бить челом Андрюшка Яглин, что-де напал он, воевода, разбойным образом на вотчину Яглина и исхитил его дочь и

что будто та девка пала от чьего-то огненного боя. А он, воевода, ни в чем тут не повинен и на Яглина, памятуя крестное целование государю, разбойно не нападал. А нападали на вотчину Яглина какие-то неведомые воры, которые и сделали смертное дело над дочерью Яглина. И он, воевода, когда о том прослышал, нарядил стрельцов, и те стрельцы всюду искали тех воров — надо быть, татар или чувашей, — но нигде отыскать их не могли. Но он, воевода, надежды не покинул и разыскать их постарается. А его, воеводу, просит он, Курослепов, от напрасного поклепа защитить, а в том он верный слуга и заслуги той до конца жизни не забудет».

В приказах то челобитье читали и косились на кошель, где позвякивали деньги. Затем последние высыпались на приказный стол и при всех пересчитывались. Смотри по тому, казалась ли берущему достаточной эта сумма или нет, обещалась заступа или же требовалось «доложения». Посланец Курослепова, снабженный в изобилии деньгами, ни слова не говоря, докладывал, кланяясь и прося берущего не оставить своею милостью.

Так посланный обошел все приказы, где только нужно было, и везде были обещаны для Курослепова защита и заступа.

Затем посланец отписал в Свияжск к Курослепову:

«Все-де обстоит хорошо: коршунье, что по большим гнездам сидит, зерно клюет и каркает хорошо. И тебе, государю, пока кручиниться не о чем. Я же пока здесь посижу и надо всем доглядывать буду. А как приедут сюда перепела с Волги и что они здесь делать будут, то о том тебе, государю, в точности опосля опишу. А пока вышли с кем-нибудь мне на прокорм, дабы здесь голодному не быть, потому денег твоих, государь, немного осталось: коршунье сильно зерно клевало, и его немного осталось у меня».

Когда Яглины приехали в Москву, то в первое время не знали, что делать и куда идти, пока кто-то из добрых людей не посоветовал им искать «милостивца», какого-нибудь сильного и влияние имеющего человека, могущего им помочь.

Но у Яглиных в Москве решительно не было знакомых, которые могли бы помочь им. К тому же гордая натура Андрея Романовича возмущалась при мысли, что в правом деле нужно искать каких-либо кривых или задних путей.

— Ведь есть на Руси справедливость-то, — возмущенный, говорил он своим новым московским знакомцам, каким-то купцам, торговцам суровского товара из торговых рядов на Красной площади.

— Справедливость-то?..— усмехаясь, сказал старший купец.— А ты, дедушка, про Сыскной, или Тайных дел, приказ слышал там, у себя-то?

— Приходилось слышать,— ответил Андрей Романович, весь содрогаясь, так как хорошо знал, что делается в этом страшном приказе.

— Так вот там, в одном месте по всей Москве, и найдешь ты справедливость. Да и то такую, которую с дыбы добыть можно, а не добрым путем.

Но Андрей Романович все еще не хотел терять веру в справедливость и решил на другой же день пойти по приказам. Однако в конце этого же дня он увидел, что его расчеты на существование в Москве такой вещи, как справедливость, начинают колебаться.

В приказах его челобитье принимали, косились на то, сколько выкладывал перед ними Андрей Романович денег, и велели приходить через то или другое время, потому что «тут дело не простое, а государево, и потому его надо вести с осторожностью, дабы не было опалы от великого государя за поруху, которую можно наложить на честное имя его верного слуги».

Когда же Андрей Романович приходил в назначенный день, то ему говорили, что такие дела так скоро не делаются, что тут надо собрать всякие справки и сведения и пусть он зайдет в такой-то день.

И в этот день повторялась какая-нибудь отговорка. И так далее, без конца.

Прошел год, как Андрей Романович жил с сыном в Москве, а дело его не двигалось ни на шаг.

— Не скупись ли ты? — спросил как-то раз тот же знакомый купец, у которого Яглины впоследствии и поселились.

Но Андрей Романович на подарки приказным нисколько не скупился. Он еще раз получил из усадьбы денег и тоже почти все их растерял по приказам. Однако дело от этого скорее не двигалось: должно быть, Курослепов дарил щедрее, чем Яглины.

— Нет, тут, видно, ничего не поделаешь, как надо искать вам «милостивца»,— опять высказал свою мысль купец.— Без него тут ничего не поделать вам. До самой смерти проживете здесь, а ничего от этих собак приказных не получите.

Но где искать «милостивца», какую-нибудь знатную особу, когда у Яглина никого не было среди московского боярства знакомых?

Тут им пришел на помощь случай.

Однажды Роман забрался на Красную площадь, где с Лобного места дьяком читался какой-то царский указ. Потолкавшись некоторое время, почти вплоть до вечера, между народом и посмотрев в городе то, чего он прежде не видал, молодой человек двинулся домой. Когда он проходил по какой-то глухой улице, то вдруг услышал позади себя чей-то громкий крик:

— Берегись!

Роман оглянулся и увидал, что сзади едет небольшая колымага, запряженная парюю лошадей в сбруе, украшенной блестящими и звонкими бляхами. В колымаге сидел какой-то боярин в богатой, с золотыми нашивками ферязи и в высокой горлатной шапке.

— Берегись! — еще раз закричал возничий.

Роман оглянулся по сторонам.

Стояла ранняя весна, вследствие которой на немощеных улицах Москвы была страшная грязь. Роман шел по тропинке, проложенной ногами предыдущих прохожих как раз посредине улицы. Свернуть некуда, так как эта тропинка — единственное место, по которому не только можно безопасно идти, но и стоять. Поэтому Яглин медлил повиноваться крику возницы и думал, как ему быть в этом случае.

Но возница был не из терпеливых и, не долго думая, ударил Романа по спине длинным арапником, бывшим у него в руках. Молодой человек вскрикнул от боли и, машинально скакнув в сторону, угадал в самое топкое место грязи.

Сидевший в колымаге боярин засмеялся густым, жирным смехом — и колымага проследовала мимо обозленного ударом Яглина. Но не успела она проехать и двадцати шагов, как Роман увидал, что экипаж вдруг как-то сразу накренился на одну сторону, опрокинулся и грузный боярин вместе с возницей упали в грязь.

Яглин был отмщен этой картиной и, схватившись за бока, стал от души хохотать, глядя на барахтавшихся в грязи обидчиков.

Впрочем, челядинец скоро поднялся и принялся помогать боярину встать на ноги. Последнему это сделать было нелегко, так как надетая на нем длинная одежда в сильной степени стесняла свободу движений его членов. Поэтому как ни старался челядинец, а боярин все продолжал биться в грязи, не будучи в состоянии встать на ноги в липкой, жирной грязи московской улицы.

Видя это, Яглин сжалился и подошел к ним.

— Ну, давай, боярин, руку. Я помогу тебе,— сказал он.— А то ты долго еще тут пробарахтаешься с этим остолопом.

Боярин вскоре был поставлен на ноги.

Теперь предстояла другая задача: исправить как-нибудь повреждение у колымаги, у которой переломилась пополам задняя ось. Кое-как они втроем приподняли экипаж, связали веревкой оба конца оси и потихоньку повезли колымагу в конец переулка.

— Ну, молодец, извини, что этот дурак тебя обидел,— сказал боярин.— Домой приеду, я его угощу батогами.

— Ничего, боярин,— весело ответил Яглин.— Это он по своей дурачности так сделал.

— А ты все-таки, как видать, зла не помнишь,— с усмешкой сказал боярин.— Вишь, помог нам.

— Что же, боярин, это — дело мирское. Всякий бы на моем месте так сделал.

— Ну, спасибо тебе!

Двигаясь потихоньку по липкой грязи, они понемногу разговорились.

Бояре того времени обыкновенно гордо держались с лицами, стоявшими ниже их по положению, и предпочитали сноситься с ними посредством своих челядинцев. Так что в описываемом случае если бы кто увидал гордого стольника Петра Ивановича Потемкина беседующим с каким-то человеком, конечно уж не боярином, то страшно удивился бы этому. Однако это случилось. По всей вероятности, Потемкин проникся благодарностью к помогшему им человеку, который к тому же не помнил причиненной ему обиды.

Понемногу Яглин рассказал ему, кто он и зачем приехал с отцом в Москву, сообщил про злодеяние Курослепова и о том, как они напрасно с отцом искали правды по московским приказам, где все, очевидно, уже было закуплено свияжским воеводой.

— Да, вон оно какое дело-то! — качая головой, сказал Потемкин.— Тут действительно трудно что поделывать. В приказах такие доки сидят, что только — ну! Готовы тебя живьем сглотнуть — и нисколько не подавятся, крапивное племя! Такой уж там народец!

В это время они дошли до конца улочки, и Потемкин решил, что ему теперь, на людях, уже зазорно будет идти с худородным человеком.

— Ну, молодец, ты иди теперь к себе домой,— сказал он,— а завтра приходи-ка в Белый город да разыщи там меня. Ты

мне понравился. Может, что и удумаем, как твоему да отцову горю помочь.

И, кивнув Яглину, Потемкин, степенно опираясь на трость, пошел дальше, не глядя по сторонам и лишь изредка кивая головой на поклоны кланяющихся ему встречных людей.

XIV

В тот же вечер Роман рассказал дома отцу все происшедшее с ним.

— Ну, слава богу,— сказал старик,— может, мы в этом боярине и милостивца найдем. Будет помощник в нашем праведном деле.

На другой день Яглины поднялись рано. Они оба набожно помолились на иконы — и отец благословил сына, повторяя:

— Дай-то Бог! Дай-то Бог!

Роман ушел со смутной надеждой на «милостивца».

От Потемкина Яглин ушел обнадеженный, с радостными мыслями, что наконец-то дело, по которому он с отцом приехал в Москву, нашло своего «милостивца» и теперь, быть может, оно пойдет гладко. Ведь шутка ли: Петр Иванович Потемкин бывает на Верху, и его знает сам Тишайший царь! Долго ли ему сказать царю о черном свияжском деле?

— Приходи ко мне как-нибудь с отцом,— сказал Роману на прощание Потемкин.— Мы, старики, скорее ведь споемся друг с другом.

Через несколько дней Андрей Романович сидел с Потемкиным и разговаривал с ним о своем деле.

— Так, так! — говорил Потемкин.— Черное дело, черное дело. Так оставить нельзя.

— Помоги уж, благодетель! Век за тебя будем Богу молиться. Только бы обидчику-то как-никак отплатить! — вставая со скамьи и кланяясь, сказал Андрей Романович.

— Надо, надо помочь,— обнадеживал его Потемкин.— Только вот что, Андрей Романович: чать, и сам знаешь, что сухая ложка рот дерет.

— Ох, благодетель! Разве я за этим постою? Последнюю рухлядишку и с усадьбой вместе накажу продать, а уж тебя отблагодарю.

— Да нет, разве я про то? — сказал Потемкин.— У меня и своего добра некуда девать. Я про другое.

— Про что же, милостивец? Не разумею.

— А вот про что! — и Потемкин стал ему говорить.

Задумался Андрей Иванович, идя к себе домой, и раздумался про то дело, о котором говорил ему Потемкин перед этим.

А дело было следующее.

Дочь Потемкина, Анастасия, готовилась уже в «Христовы невесты». Причиной этому было особенное безобразие ее лица: на рябой поверхности сидела пара косых глаз и «заячья губа», что заставляло всех женихов избегать ее. Как ни старался Потемкин сбыть с рук дочь хоть за кого-нибудь, только не за смерда, а за дворянина или боярского сына, — даже бедные дворяне и боярские дети оббегали безобразную Анастасию. Время шло. Девка все более старела, характер ее становился день ото дня несноснее, и Потемкин только спал и видел, кому бы на руки сбыть ее.

Встреча с Яглиным заинтересовала его именно с этой стороны.

«Да вот кому можно сбыть Настюху-то! — подумал Потемкин. — Дело их я устроить могу, а вместо этого потребую, чтобы Роман женился на Настюхе».

Не откладывая дела в долгий ящик, он предложил эту комбинацию Андрею Романовичу.

— И вам хорошо будет, и мне, — сказал он последнему.

— Посмотреть бы надобно было, Петр Иванович, — робко сказал Яглин.

— Что же, хочешь — так и посмотри, — согласился Потемкин и, хлопнув в ладоши, сказал холопу: — Позвать сюда Настасью!

Девушка явилась к отцу и гостю.

«Н-да, — подумал про себя Андрей Романович, — этакую-то красавицу кому угодно рад сбыть, только возьми пожалуйста!»

— Так как же, Андрей Романович? — спросил его Потемкин. — По рукам, что ли?

— Не знаю, как тебе и сказать, Петр Иванович, — немного помолчав, ответил Яглин. — Одному-то мне такое дело решать не годится: дело-то идет не обо мне, а о сыне. Его поспрошать надоть.

— Да чего же его и спрашивать-то? Твой ведь сын-то или нет? Ну, так велел ему — и делу конец.

— Все-таки как без него решишь-то? Ему ведь с женой вековать-то, не кому другому.

— Ну, как ты там хочешь, Андрей Романович, — с неудовольствием сказал Потемкин. — Хочешь — советуйся с ним, хочешь — нет, твое дело... мой сказ тебе вот какой: женится

твой Роман на нашей Настасье, буду хлопотать о вашем деле; нет — не обессудь. Да еще и сам я задерживать по приказам буду. У меня ведь и там благоприятели есть.

Сильно опечаленный вернулся к себе домой Андрей Романович и в тот же вечер рассказал все Роману.

Последний тоже призадумался. Не по душе ему была некрасивая и грубая дочь Потемкина. Знал он, что с нею он счастлив не будет и что только напрасно загубит с нею свой век.

— Что? Как? — пытливо заглядывая сыну в лицо, спросил Андрей Романович.

— Постой, батюшка, не нудь! Дай подумать малость.

— Что же, подумай, — согласился старик. — Жениться — это не сапог надеть, да еще на такой, как потемкинская Настасья.

Роман ходил несколько дней, все раздумывая над задачей, которую ему предстояло решить. С одной стороны, если согласиться жениться на рябой Настасье Потемкиной, то их правое дело восторжествует и Курослепов будет по делам своим наказан; с другой же — весь век вековать с нелюбимой женой — это значило навсегда отказаться от своих личных радостей, возможности, быть может, когда-нибудь полюбить другую девушку.

Наконец Роман пришел к отцу и сказал:

— Иди, батюшка, к Потемкину и скажи ему, что я согласен жениться на его Настасье. Только пусть сначала он покончит наше дело.

Старик видел, как было тяжело для сына решиться на этот шаг, и со слезами обнял его.

На другой день Андрей Романович пошел к Потемкину. Последнего он застал чем-то озабоченным.

— Что, али чем опечален? — спросил, поздоровавшись с ним, Андрей Романович.

— Будешь печальным, — ответил тот. — И не думал не гадал, что в такую кашу попаду когда-нибудь. Слышь, царь посылает меня с посольством в зарубежные земли: в Гишпанию да к французскому королю по его великому, цареву делу.

— Вот напасть-то! — хлопнув руками о полы, воскликнул Андрей Романович. — А я было к тебе сватом: отдай свою Настасью за моего Романа.

— Ну? — радостно воскликнул Потемкин. — Вот как сладилось. Только как же теперь-то?.. Свадьбу-то играть некогда: царь велит не мешкая ехать в посольстве, потому дело спешное...

— Уж и не знаю как, — безнадежно разводя руками, сказал Андрей Романович. — Как же так: стало быть, и делу нашему крышка тут будет?

— Не крышка, Андрей Романович, а задержка маленькая выйдет. Пока не вернусь из-за рубежа, ничего поделывать нельзя.

Андрей Романович грустно поник головой: судьба и тут преследовала их.

— Только как же быть с Романом-то? — озабоченно сказал Потемкин.

Ему очень не хотелось, чтобы добытый с таким трудом жених дочери ушел из его рук. А тут приходилось уезжать на долгое время, может быть, на год или два. Кто знает, что может в это время случиться. Быть может, Яглины найдут себе какого-нибудь другого, нового «милостивца» и обойдутся без него. Тогда прощай жених для Настасьи!

И стал он думать, как бы устранить это препятствие.

«А... Надумал!» — наконец мысленно воскликнул он, вспомнив про что-то, и обратился к Яглину:

— А что, Андрей Романович, ведь, кажись, твой Роман знает язык немцев?

— Как же! Завелся у него в Немецкой слободе дружок один, сын лекаря Мануила. Ну, пока мы этот год в Москве жили, он частенько ходил в слободу, там и наострился по-немецки говорить, латинский язык выучился читать. Я не запрещал, греховного тут ничего не видя: пусть, мол, его забавляется, коли это ему нравится.

— Ну, вот, вот!.. — воскликнул обрадованный Потемкин. — Такого нам и надо в посольстве. Толмачом быть он годится. Отпускай его, Андрей Романович, с нами.

— Кого? Куда? — спросил ничего не понявший Яглин.

— Да твоего Романа с нами, за рубеж. Будет он при посольстве состоять.

— Романа? За рубеж? Да что с тобою, Петр Иванович! Как же это я единственного сына пушу от себя бог знает куда? Нет, нет! На это нет моего согласия.

— Да ты пойми, Андрей Романович, ведь это ему же лучше. Узнает про него царь, что он в посольстве толмачом состоял, посадит его в Посольский приказ. Подумай, какой он человек-то будет! А уж я для своего зятя разве не похлопочу?

— Так-то так, а все-таки — за рубеж... Это ведь только сказать легко...

— А что он здесь-то с тобою станет делать? Объедать тебя только. А там, в посольстве-то, ему и кормы пойдут, и госуда-рево жалованье. А до моего ведь приезда дело твое не двинется. Стало быть, он здесь бесполезен будет...

Долго колебался Яглин. Роман же, напротив, был рад побывать в чужих странах и посмотреть там на разные диковинки, про которые ему немало рассказывали немцы из Немецкой слободы.

Как ни не хотелось Андрею Романовичу, но наконец он сдался на доводы Потемкина и со слезами на глазах простился с сыном, отпуская его за рубеж, в далекие страны.

XV

Все это припомнилось Яглину, лежавшему на своей постели в верхней комнате гостиницы в Байоне и никак не могшему уснуть.

Тоска стала одолевать его на чужбине. Скорее бы на родину, поскорее покончить с тем делом, ради которого он поехал за рубеж, покинул родимые поля и степи и Москву златоверхую.

Невольно перед его глазами встали вдруг два образа: некрасивой, злой дочери Потемкина, его суженой и будущей жены, и «гишпанки» с ее обворожительным лицом, смелой улыбкой, заразительным смехом и свободой в обращении. Он сравнивал про себя этих двух женщин и невольно отдавал предпочтение чужеземке.

«Куда нашим московским до них! — думал про себя Роман Андреевич. — У этих жизни хоть отбавляй, а у наших все терема вытравили. Все по указу да по обычаю живут. Ни шага ступить, ни слова свободно сказать не могут. Точно путами связаны...»

Он перевернулся на другой бок, чтобы забыться и заснуть, но напрасно старался сделать это. На городской башне давно уже пробили полночь, а Яглин все еще не спал.

«Нет, видно, не заснуть!» — решил наконец он и встал со своей жесткой постели, которую ему заменял привезенный еще из Москвы войлок, постланный прямо на пол.

Тихо спустившись по лестнице, он вышел на улицу и медленно пошел по ней.

Ночь была светлая, лунная. На улице не было почти никого; изредка лишь попадались какой-нибудь запоздалый пешеход, по всей вероятности ночной гуляка, или всадники, составлявшие ночной патруль. Они окликивали одиноко идущего Яглина и, узнав, что он прибыл в Байону с посольством, проезжали дальше.

Яглин дошел до самого конца города. Здесь дома были уже реже, окружены садами и представляли собою как бы маленькие усадьбы.

Вдруг до его ушей донесся какой-то разговор. Роман невольно остановился и огляделся кругом.

Впереди, около небольшого домика, стоял какой-то молодой человек, судя по платью, офицер, державший в руках повод лошади, с нетерпением бившей копытом о каменистую землю. Возле лошади, глядя ее по шее, стояла девушка и разговаривала с офицером.

Яглин узнал в них Гастона де Вигоня и давешнюю «гишпанку» и хотел было повернуть назад, но его остановило вдруг вырвавшееся восклицание Элеоноры:

— Нет, нет, не говорите! Этого никогда не будет. На это я никогда не соглашусь.

— Но другого исхода нет, Элеонора,— горячо говорил офицер.— Дядя никогда не согласится на наш брак.

— Что же, господин офицер, мне учить вас, что надо делать? — насмешливо сказала девушка.

— Обвенчаться потихоньку и затем просить прощения у дяди? Но тогда дядя лишит нас наследства. Он этого никогда не простит.

— Выбирайте что-нибудь одно,— небрежно сказала Элеонора.

— Тогда и дорога по службе мне будет закрыта.

— Выбирайте,— повторила Элеонора.

— Для вас потерять меня, кажется, ничего не значит? — спросил офицер.

— Почти,— хладнокровно ответила Элеонора.— Вы же ведь знаете, что я вас не люблю и выйду за вас замуж только потому, что мне больше деваться некуда. Мы здесь с отцом живем проездом, скоро отправимся в Париж, а потом еще куда-нибудь дальше, где отец найдет возможным остановиться и заняться своим делом.

— И зачем я только увидал вас? — с отчаянием воскликнул офицер.

— Разве я — первая женщина, которую вы встречаете? — спросила Элеонора, продолжая поглаживать по шее лошадь.

— Но вы — первая, которую я люблю. Да и трудно вас не полюбить. Даже тот дикий москвит, которого мы тогда избавили от раздраженной толпы, не спускал с вас глаз.

— Этот москвит... — в задумчивости произнесла Элеонора.— Он очень красив...

— Он вам понравился? — ревниво спросил офицер.

— Да, в нем есть какая-то сила, уверенность в себе. Помните, как он гордо стоял пред толпой и с презрением смотрел на всех этих торговцев, рыбаков и поденщиков, в то время как толстяк лежал на земле и кричал, словно его резали...

— Вот как!.. — процедил сквозь зубы офицер. — В самом деле, этот дикий москвит не на шутку начинает занимать вас...

Элеонора тряхнула головой, точно отгоняя от себя какую-то мысль, и сказала:

— Впрочем, вздор все это! Он приехал и уедет, а я останусь здесь. Прощайте! — вдруг резко сказала она, подавая собеседнику руку.

Офицер задержал ее в своей.

— Нет, Элеонора, постойте! — сказал он. — Я вижу, что на самом деле этот дикарь интересуется вами. Но знайте, если он вздумает встать на моей дороге, то ему придется считаться со мною.

В его голосе слышалась злоба, и девушка поняла, что это — не пустая угроза.

— Успокойтесь, — сказала она примирительным тоном. — Считаться вам с ним не придется, так как странно было бы, если бы этот москвит вздумал бы обратить на меня внимание. Да если бы он и обратил, то едва ли бы из этого что-нибудь вышло. Прощайте, — еще раз сказала она и, кивнув Гастону, скрылась в маленьком домике.

Яглин поспешил поскорее повернуть назад и вскоре вошел в какой-то узенький переулок.

«Вот оно что!.. — пронеслось у него в голове. — Что же из этого будет? Что будет?»

Он начал строить тысячи предположений, думая подойти к какой-нибудь мысли относительно этого неожиданного приключения, стараясь представить себе, что может быть в будущем, но ни к чему определенному прийти не мог.

«Что будет? — наконец со злостью оборвал он свои размышления. — Да ничего не будет. Справим с Петром Ивановичем посольство, вернемся в Москву, женюсь я на рябой и злой Настасье — и буду доживать свой век где-нибудь в приказе, куда меня пристроит мой будущий тестюшка. Вот и вся моя песня!» — И он со злостью ударил кулаком по стене дома, мимо которого проходил.

Вдруг до его слуха донесся какой-то шум. Тут были и крики, и звон скрежываемого оружия, и топот лошади.

«Ну, режут кого-то,— решил про себя Яглин.— Точно у нас на Москве, где по окраинам пройти нельзя. А все-таки помочь надобно».

При нем не было никакого оружия, кроме ножа. Роман попробовал, легко ли тот вынимается, и бросился в ту сторону, откуда слышался шум.

Бежать долго не пришлось, и через несколько минут Яглин очутился на той самой площади, где несколько дней тому назад толпа чуть не растерзала его с подьячим.

Там, в самом дальнем углу, копошилась какая-то куча, слышались лязг железа и крики.

Яглин скоро добежал до того места и увидел следующую картину. Прислонившись спиной к стене дома, стоял Гастон де Вигонь и парировал шпагою направляемые на него удары со стороны четырех человек, по костюму судя — бродяг или бандитов. Нападающие яростно наносили удары, так что молодой офицер еле успевал отбивать их. Но, видимо, его силы наконец стали истощаться, так как он стал уже более вяло и нерешительно действовать шпагой. Нападающие увидели это и потому усилили свою атаку на офицера.

Яглин вспомнил обычай своих диких земляков-татар — нападать на неприятеля, с целью устрашения последнего, с большим гиканьем и криком, а потому закричал страшным образом и бросился в свалку сзади.

Не ожидая нападения с этой стороны, думая, что сзади на них напал ночной городской дозор, и не будучи в состоянии, вследствие темноты, видеть, много ли напало на них человек, негодяи испугались и бросились в разные стороны, не желая попасть в руки губернатора Байоны, который без всякого суда приказал бы вздернуть их на городской виселице, стоявшей на этой же площади.

Через минуту около офицера был только один Яглин.

— Мы с вами сквитались,— сказал Гастон, отирая полый плаща выступивший у него во время боя пот на лбу.— Тогда я вас с товарищем избавил от черни, а теперь вы спасли меня от неминуемой смерти, которой грозили мне эти негодяи.

— Стоит об этом говорить! — ответил Яглин, засовывая свой нож в ножны, висевшие у него у пояса на цепочке.— У нас, на Руси, про это говорят, что долг платежом красен. Я был у вас в долгу, а теперь мы с вами расплатились.

— О, у вас, московитов, оказывается, есть рыцарские чувства! — воскликнул молодой офицер.— Вы вовсе не такие варвары, какими мы вас представляем себе.

— Но скажите, как случилось, что эти разбойники напали на вас? Что, они убить хотели вас или ограбить?

— А кто их знает? Я ехал к себе и вдруг почувствовал, что у моей лошади ослабла подпруга. Я слез на землю и стал подтягивать ремни, как вдруг из-за угла вынырнули эти разбойники и накинулись на меня. Я едва успел вынуть шпагу, чтобы отбиваться от них. И все-таки мне был бы конец, если бы вы не успели вовремя.

— Но где же ваша лошадь? — спросил Яглин.

— Испугалась и куда-то убежала. Однако что же мы стоим? — опомнился офицер. — Пойдемте ко мне!

Яглину не хотелось спать, поэтому он ничего не имел против предложения молодого офицера, и они пошли по пустынным улицам города.

XVI

Пройдя несколько улиц, они подошли к небольшому домику, у дверей которого висел на медной цепочке деревянный молоток. Офицер ударил последним несколько раз в дверь. Через несколько минут в ней показалось заспанное лицо слуги.

— Собирай нам чего-нибудь поесть и дай вина! — приказал последнему Гастон.

Вскоре молодые люди сидели за столом, на котором стояли кое-какая снедь и бутылка вина.

— Ну, выпьем за наше взаимное одолжение, — сказал Гастон, разливая по стаканам вино. — Быть может, мы еще не раз пригодимся в будущем друг другу.

Яглин чокнулся с ним, и они оба осушили стаканы.

— Когда вы думаете ехать дальше? — спросил офицер.

— Это как вздумает наш посланник.

— Вам необходимо видеть нашего велико милостивейшего короля?

— Да. У нашего посланника есть к нему грамоты.

Разговор дальше велся некоторое время относительно этого предмета. Вино не застаивалось в стаканах, и следующая бутылка замещала место предыдущей. Оба собеседника видимо начинали хмелеть.

— Эх, друг мой, — произнес Гастон, — вот мы здесь с вами пьем и шутим, а на душе у меня очень невесело.

Яглин, взглянув на него, спросил:

— Могу я узнать, что за причина такой грусти?

Собственно, он уже догадывался, в чем тут дело, но ему хотелось это услышать из уст Гастона.

— Вам я могу сказать,— ответил последний,— так как вы — человек, не заинтересованный здесь. Да и к тому же вы — иностранец. Другому я не сказал бы этого.

И, помолчав несколько времени, он стал рассказывать.

* * *

Гастон де Вигонь принадлежал к старинному дворянскому роду провинции Гасконь, бывшей столь же древней, сколь и бедной. Когда ему исполнилось двадцать лет, старик отец призвал его к себе, подал ему кошелек с деньгами, указал на старинную родовую шпагу с португеей, висевшую на стене, и сказал:

— Вот тебе шпага и деньги. Иди на конюшню, выбери там себе лошадь, садись и поезжай. Здесь я тебе больше ничего не могу дать. А тебе надобно увидеть свет и пробить себе в жизни дорогу. Поезжай в Байону. Там губернатором наш дальний родственник, маркиз Сен-Пе, который в прошлом очень многим обязан мне. Он не откажется дать тебе дело и поможет в будущем.

Гастон поцеловал отца, сел на лошадь и поехал в Байону.

Маркиз Сен-Пе признал свое, хотя и отдаленное, родство с ним и устроил Гастона офицером в гарнизон города Байоны.

Расторопный, умный и сильный офицер с течением времени сумел настолько расположить к себе «дядю», как он называл маркиза, что тот сильно привязался к нему и обещал оставить его наследником всего своего состояния, если он не будет выходить из его воли. Таким образом для бедного молодого гасконца открывалась впереди блестящая будущность.

Но тут случилось одно обстоятельство, заставившее офицера сильно призадуматься и немало поразмышлять, по какой идти дороге.

Однажды утром он явился в губернаторский дом и сказал:

— Дядя, я пришел просить у вас позволения жениться.

— Жениться? — с удивлением произнес маркиз Сен-Пе.— На ком?

— На дочери знаменитого доктора Вирениуса.

Маркиз подумал несколько времени и затем, отрицательно мотнув головой, сказал:

— Не слыхал о такой знаменитости. Да это, впрочем, все равно. Жениться ты на ней не можешь: дочь какого-то цирюльника тебе, дворянину,— не пара.

Гастон вспыхнул:

— Он — не цирюльник, а очень известный и искусный врач. А она — девушка, достойная любви всякого дворянина и кавалера.

— Все равно,— спокойно сказал маркиз.— Она тебе — не пара.

— А если я все-таки женюсь на ней?

— Несмотря даже на мое несогласие? В таком случае я лишу тебя своего наследства, вышлю из Байоны и постараюсь, чтобы ты не был принят снова в королевские войска.

Этого Гастон, во всяком случае, не ожидал. Конечно, хороши любовь и жизнь с любимой женщиной, но утрата карьеры и богатства представляла тоже своего рода лишение, подвергнуться которому бедному дворянину вовсе не хотелось.

— Хорошо, дядя, я подумаю,— сказал он.

— Советую. Свое решение я менять не намерен. Так это и знай.

* * *

— Вот теперь вы и войдите в мое положение, господин москвит,— продолжал Гастон.— Я люблю эту девушку и в то же время дядя запрещает мне это, грозя лишить наследства и повредить моей будущности.

«Тут, оказывается, то же, что и у нас, на Москве,— подумал Яглин,— без согласия старших и не думай решить свою судьбу. Вот она — Еуропа-то!»

— Скажите мне, как бы вы поступили в этом случае? — спросил его офицер.

— А вы очень любите ее?

— Да, люблю.

— Если бы я был на вашем месте, то не посмотрел бы ни на какого дядю и женился бы на любимой женщине,— сказал Яглин.— У нас, на Москве, в таких случаях иногда дело решают увозом, несмотря ни на какие угрозы со стороны старших.

Офицер задумался. По его лицу было видно, что в его душе боролись любовь и боязнь за будущее.

— А вы подождите,— посоветовал Яглин.— Быть может, ваш дядя примирится с этим и разрешит вам жениться.

— Тогда будет уже поздно: она в скором времени уезжает вместе с отцом в Париж.

Что-то кольнуло в сердце Яглина.

— В Париж? — переспросил он.



— Да. Оттуда, кажется, он хочет ехать в германские земли, ко двору какого-то князя, который пригласил его быть его доктором.

У Яглина еще более защемило на сердце от сладкой боли.

«А вдруг мы вместе поедем?» — подумалось ему, и какие-то неясные надежды на будущее стали закрадываться в его сердце...

Гастон все более и более хмелел. Яглин узнал уже достаточно о том, что его интересовало, и решил, что пора уходить. Он поднялся и, простившись с де Вигонем, вышел на улицу.

Но домой он возвратился не тотчас же и еще часа два ходил по улицам города с какими-то смутными мечтами и неясными надеждами.

XVII

На другой день Роман почувствовал, что его кто-то трясет за плечо. Он открыл глаза и увидел над собою лицо Игнатия Потемкина.

— Вставай, Роман, вставай! — говорил последний испуганным голосом. — Да проснись же ты, медведь этакий!

— Что случилось? — спросил Яглин, наконец проснувшись.

— Отец захворал. Мечется да бредит все что-то. Мы с Румянцевым голову потеряли, не знаем, что и делать. Лекаря хоть, что ли бы.

— Можно на него взглянуть-то? — спросил Яглин.

— Идем, идем. Он никого теперь не узнает. Должно быть, горячка.

Яглин пошел с ним к той комнате, которую занимал Потемкин. Перед нею толпились челядинцы и толковали о болезни посланника.

— Не дай Бог помереть на чужой стороне, — разглагольствовал подьячий, размахивая руками. — Ни за что такого и в рай не пустят.

Яглин и Игнатий вошли в комнату, где нашли одного из священников посольства, отца Николая. Возле него стоял растерянный Румянцев и тупо глядел на лежавшего на постели посланника. Лицо последнего было красно, глаза закрыты, а рот полуоткрыт, и из него порой вылетали какие-то неясные звуки и хрип.

— Отходную, видно, пора прочитать, — сказал священник.

Яглин, оглянувшись на него, возразил:

— Ну, отходную-то, кажись бы, и рано читать! А вот что лекаря позвать бы надо, так это вернее будет.

— Еще чего выдумаешь! — ворчливо сказал священник. — Православного человека да басурман какой-нибудь будет лечить.

— Ну, чего ты, отец Николай, толкуешь-то? — сердито сказал на это Яглин. — А на Москве-то у нас что? У самого царя разве нет иноземных лекарей в Аптекарском приказе? И сам он у них лечится, и ближние бояре также.

— Да где же здесь лекаря-то возьмешь? — жалобным голосом сказал Румянцев.

— Я знаю, — сказал Роман Андреевич. — Сейчас пойду и приведу сюда.

И он быстро выбежал из комнаты.

На дворе он увидел оседланную лошадь, вскочил на нее и понесся по улицам к тому дому, где вчера видел разговаривающими Гастона и Элеонору. Он соскочил с коня, привязал его к росшему вблизи дереву и, подойдя к двери, на которой висел деревянный молоток, ударил им.

Через минуту дверь отворилась, и на пороге показалась одетая в домашний костюм Элеонора.

Теперь Яглин мог лучше рассмотреть ее, чем в первый раз, и не мог не воскликнуть про себя:

«Ну и красавица же, прости, Господи!»

А Элеонора, видя, какое впечатление она произвела на молодого москвитя, стояла молча и улыбалась, глядя на него, в смущении перебиравшего концы своего кушака.

— Какой случай привел вас сюда? — наконец спросила она, протягивая Роману свою белую, точно выточенную из мрамора руку. — Ведь мы, кажется, с вами знакомы?

Яглин снял свою шапку и поклонился ей.

— Да, мы знакомы, — сказал он. — Благодаря вам мы были спасены от смерти, которой нам грозила чернь.

— Но что же вы стоите? — спохватилась девушка. — Вы, быть может, по делу?

Яглин все это время стоял, не спуская глаз с «гишпанки». После ее вопроса он очнулся и вспомнил, зачем пришел.

— Да, да, — сказал он. — Я пришел к вам по делу: наш посланник захворал, и ему требуется лекарь.

— Тогда это к моему отцу, — произнесла «гишпанка», сходя с порога и движением руки приглашая Романа войти в комнаты. — Он дома.

Яглин вошел вслед за нею.

Пройдя еще одну комнату, они очутились перед высокой дубовой дверью, которая вела в комнату самого Вирениуса. «Гишпанка» притворила немного дверь и произнесла:

— Отец, пришли звать тебя к больному.

И она распахнула перед Яглиным дверь.

Молодой москвит вошел в комнату.

Последняя представляла собой точную копию кабинета вообще всех врачей или алхимиков того времени. Посредине находился большой стол, заставленный склянками различной величины и формы, колбами, ретортами, перегонными кубами, стаканами, чашками. В углу стояли человеческий скелет и косяк какого-то животного. В другом углу был горн с медным перегонным кубом. На другом столе были навалены книги, рукописи и свитки, некоторые в тяжелых переплетах из телячьей кожи, с медными застежками. Вдоль задней стены высился большой шкаф со множеством ящичков, заключавших в себе различные лекарственные корни, листья, цветы и другие лекарства.

За столом, стоявшим посредине, сидел в кожаном кресле высокий человек, одетый в черный костюм с гофрированным белым воротником и в небольшой четырехугольной черной шапочке. У него были длинная черная с проседью борода, орлиный, крючковатый нос и густые черные брови, из-под которых пристально смотрела пара черных глаз.

В ответ на слова дочери он поднял голову и молча стал смотреть на вошедшего Яглина.

— Я к вашей милости,— сказал последний, поклонившись Вирениусу.— Наш посланник захворал. Не будете ли вы добры посмотреть на него?

— Посланник царя москвитов? — быстро спросил Вирениус и, обернувшись к дочери, отрывисто сказал: — Элеонора! Плащ!

Девушка, видимо привыкшая к этому, уже подавала ему толстый суконный плащ черного цвета и кожаную сумку с набором инструментов.

Вирениус накинул на себя плащ, взял под мышку сумку и вышел с Яглиным на улицу. Последний отвязал лошадь и предложил доктору сесть на нее, что тот и сделал.

Роман оглянулся назад. Там, в дверях, стояла Элеонора, облокотившись одной рукой о дверь, и пристально смотрела на молодого москвита. Яглин поймал этот ее пристальный взгляд

и почувствовал, как у него по спине заползали мурашки. Затем, поклонившись девушке, он взял за поводья лошадь и быстро пошел рядом с нею.

Когда они очутились в гостинице, где остановилось посольство, Яглин ввел Вирениуса в комнату Потемкина, и врач подошел к лежавшему на постели посланнику. Он взял руку последнего, послушал пульс, потом пощупал голову и произнес:

— Прилив к голове дурной крови. Необходимо извлечь ее.

Он распорядился, чтобы подали таз, засучил рукава и, вынув из сумки флиц, приставил его к темневшей около запястного сустава вене. Затем он ударил по флицу небольшим деревянным молоточком — и в таз брызнула струя темной крови.

Русские, стоявшие возле, отшатнулись, когда брызнула кровь, а священник даже отплюнулся в сторону.

— Вишь, нехристь, — проворчал он про себя, — православную кровь как воду льет. Точно руду у лошади мечет.

Когда крови вытекло стакана два с лишним, Вирениус ловко зажал отверстие, откуда она лилась, и тем прекратил истечение.

В это время Потемкин открыл глаза и взглянул мутным взором на склонившегося над ним лекаря.

— Вот и хорошо! — крикнул последний. — Теперь дело на лад пойдет, раз он открыл глаза.

— Что со мной? — слабым голосом спросил Потемкин.

— Тш-ш... — сказал лекарь. — Теперь нельзя говорить. Ему надо одному остаться, — строго добавил он, взглянув на челядинцев, все еще остававшихся в комнате.

— Пошли вон отсюда, хамы! Чего рты-то разинули да ворон считаете? — закричал на них Румянцев и принялся выталкивать в шею челядинцев, не скупясь на тумачи и зуботычины, к которым те, впрочем, привыкли.

В комнате остались только Потемкин, Вирениус, Румянцев, Яглин и Игнатий.

— Кто это? — спросил слабым голосом посланник, глядя на Вирениуса.

— Это — лекарь, Петр Иванович, — ответил Яглин.

— Да разве я болен?

— Да ты, Петр Иванович, совсем без памяти лежал, — сказал Румянцев. — Я уже думал, что тебе карачун совсем и мне без тебя посольство придется править.

Упомянутое о посольстве, в связи с недоверчивостью и недоброжелательством к своему дьяку, привело Потемкина в себя.

«Ишь, змея! — подумал он про себя. — Видно, охота сделаться посланником. Рад был бы, если бы я помер. Постой же, ирод-хриstopродавец, вот назло тебе выздоровлю. Выкусишь шиш...»

Он энергично повернулся на своей постели, но тотчас же застонал.

— Скажите ему, что двигаться нельзя, — сказал Вирениус, обращаясь к Яглину.

Роман перевел это Потемкину.

— Ну, коли нельзя, так и не стану, — согласился посланник. — А ты скажи этому лекарю, чтобы он скорее поднял меня на ноги. Хворать мне долго нельзя, потому у меня на руках великое государево дело. Да и посольству заживаться на одном месте невозможно.

— Врач — не Бог, — сказал на это Вирениус. — Он — только слуга природы. Лечит природа, а врач только помогает ей.

— Э, ну его! — отмахнулся на это рукой Потемкин. — Кабы на Москве это случилось, так послал бы за бабкой какой-нибудь, та отчитала бы, попоила бы какой-нибудь травкой, и я скоро на ногах был бы.

— Ну, теперь мне пока здесь делать нечего, — сказал Вирениус. — Пошлите со мною кого-нибудь, и я пришлю для больного лекарство.

У Яглина опять сладко защемило сердце — и он сказал, что сам поедет с лекарем за этим лекарством. Нечего и говорить, что тут была задняя мысль — опять увидеть «гишпанку».

XVIII

Вирениус и Яглин шли всю дорогу, не говоря ни слова. Лекарь был погружен в свои думы и, казалось, не был расположен разговаривать. Войдя в свой дом, Вирениус снял с себя плащ и затем вошел в свою комнату.

Яглин озирался кругом и, казалось, кого-то высматривал.

— Войдите сюда, — произнес лекарь, видя, что Роман стоит на одном месте.

Яглин вошел в знакомую нам комнату.

Лекарь стал ходить по комнате и о чем-то думал. Казалось, он даже забыл о молодом москвитине. Затем он подошел к пол-

кам, взял скляночку, налил туда сначала из одной колбочки немного жидкости, затем из другой несколько капель и встряхнул. Жидкость от этого как будто немного помутнела. Затем Вирениус подержал скляночку над огнем в горне — и Яглин, к своему удивлению, увидел, что на дно склянки выпал красный осадок.

«И хитрый же народ — эти европейцы!» — подумал он про себя.

Вирениус как будто догадался, что думал молодой человек, и обернулся к нему.

— Вы удивлены? — сказал он, рассматривая на свет скляночку. — Это понятно. Вы приехали из такой дикой страны, где едва ли врачебное искусство процветает. Вот я стар, а сам еще и до сих пор чему-нибудь учусь и буду учиться до самой смерти. Вот мои учителя, — и он указал на большой шкаф в углу с книгами. — Я их много раз читал, а еще и до сих пор не знаю как следует.

С этими словами он снял с полки один толстый фолиант.

Это были творения отца медицины — Гиппократ¹: его «Сборник», в десяти частях, на греческом и латинском языках, изданный во Франкфурте в 1500 году.

— Великое творение светлого ума! — произнес Вирениус. — Еще тогда, когда наша страна погрязала во мраке невежества и неизвестности, великий грек уже знал строение человеческого тела. Он знал, как нужны человечеству знания врачевания, и справедливо сказал, что «врач-философ подобен богам». Да будет почтена его память в веках! — Положив эту книгу на место, он взял другую и, показывая Яглину, сказал: — А это — продолжатель искусства отца медицины — Гален². Он изрек

¹ Гиппократ (460—377 гг. до н. э.) — знаменитейший врач древности, считается отцом медицины. Биографические сведения о нем довольно неопределенны. Он был сыном врача Гераклида и повивальной бабки Фенареты, родился на острове Косе, местопребывании, по преданию, потомков Эскулапа, от которого Гиппократ происходит в 17-м или 19-м колене. Он много путешествовал, был в Афинах, в Фессалии, в Малой Азии и Египте. Много позже александрийские ученые собрали все сочинения, которые приписывались Гиппократу, в «Сборник», уцелевший и до наших дней.

² Клавдий Гален (131—210 гг. до н. э.) — занимал выдающееся место среди ученых врачей христианской эры. Он деятельно изучал анатомию, основываясь на исследованиях трупов животных, убитых гладиаторов, казненных разбойников и павших солдат; оставил потомству многотомные произведения.

великую истину: «Природа ничего не делает даром». Вот сочинения Мондино, или Раймондо деи Льючи¹, великого Андрея Везалия², Фаллопия³, Каспара Аселия⁴. И много других...

— Интересное ваше дело, — заметил Роман.

— Интересное, сказали вы? — спросил доктор. — Разве делать дело милосердия не интересно? Разве возвращать умирающего к жизни, больного к здоровью — не интересно? Я не знаю, что может быть выше этого призвания, и не согласился бы променять свое звание врача на королевскую корону.

Глаза Вирениуса сверкали — и Яглин видел, что последние слова лекаря — не фраза. Он с почтением смотрел на него, на ряд книг и лабораторию и чувствовал, что в душу его вливается что-то новое, желание знать, что написано в этих толстых фолиантах, изучать природу человека, его болезни.

«Откуда это?» — вдруг, опомнившись, подумал он.

И в то же время он чувствовал, что с этой минуты эта лаборатория делалась для него как бы родной и этот иноземный человек, с фанатическим почтением смотревший на книги, близким.

И вдруг точно луч света сверкнул в его мозгу.

«Гишпанка!.. — подумал он. — Она!.. Она это сделала!..»

И нежность Романа к этому дому, к живущим в нем людям удвоилась.

XIX

Вирениус каждый день навещал больного посланника, здоровье которого со дня на день улучшалось. Благодаря этому Яглин почти каждый день бывал в маленьком домике лекаря и очень часто виделся с «гишпанкой».

Вирениус вовсе не был испанцем. Он был итальянец, но женился на испанке, передавшей дочери свою красоту.

¹ Мондино, или Раймондо деи Льючи (1275—1326) — профессор в Болонье, издавший сочинение по анатомии, служившее затем в течение двух столетий единственным руководством по анатомии.

² Везалий (1514—1565) — знаменитый анатом. Страсть к анатомии заставляла его красть трупы повешенных и колесованных. Трупы эти хранились Везалием днем в собственной постели, откуда он вынимал их для исследования ночью. Его прозвали современники «Лютером анатомии».

³ Фаллопий (1523—1562) — ученик Везалия, знаменитый хирург.

⁴ Каспар Аселий (1581—1636) — знаменит открытием млечных сосудов.

Яглину несколько раз хотелось спросить Элеонору о ее отношениях с Гастоном де Вигонем, но каждый раз его останавливали какая-то боязнь и робость, точно он опасался услышать неприятное для себя.

Впрочем, для продолжительных разговоров у них и не было много времени, так как Вирениус постоянно уводил Романа в свою лабораторию и там разговаривал с ним о своем любимом деле — медицине.

Наконец Потемкин настолько оправился, что был в силах подняться с постели.

Во время своей болезни он так привык к своему лекарю, что порой даже скучал без него. При его посещениях он лично, посредством Яглина, разговаривал с ним и расспрашивал его о врачебном деле.

Последнее он делал неспроста. При отъезде из Москвы ему был дан наказ в Посольском приказе, чтобы «для его великого государя службы в немецких, фряжских, гишпанских и иных землях всяких искусных людей, которые ратное дело изрядно знают, и руды всякие из земли копать, и лекарей искусных, и кто аптечное дело добре понимает, и сукна разные делать, и иных прочих таких людей подговаривать в Русское царство идти и льготы им всякие обещать, и жалованье, и государеву милость». Поэтому Потемкин, видя на себе действие искусства Вирениуса, и вздумал уговорить его перейти на службу московского государя.

— Ты вот что, Роман,— сказал он как-то Яглину,— поговори-ка с этим лекарем да разузнай, что он, как живет, не думает ли на службу к кому идти и все такое.

— А к чему это, государь?

— А уж это — не твоего разума дело! Ты пока делай лишь, что тебе сказано.

Вечером в этот день Яглин стал собираться в маленький домик. Он вынул новый бархатный кафтан, соболью шапку и желтые сапоги — все это подарок будущего тестя.

— Эй, Роман, ты что это сегодня великий убор вздумал надевать? — спросил подьячий, сидевший в это время у стола.— Али к какой красотке вздумал идти? Иди, иди, брат! Здесь девки-то больно хороши! А ты где себе кралю-то подцепил?

— Поди ты к лешему! — начал сердиться Яглин.

— Да ты чего лаешься-то? Ты — человек молодой... Знамо дело, тоже погулять охота... Ох, когда я молодой-то был, вот по этой части дока был!.. Девки тогда так и льнули ко мне.

Яглин, засмеявшись, воскликнул:

— Ты, Прокофьич? Вот уж трудно было бы подумать!

— Да ты постой, парень, зубы-то скалить. Разве я все такой был? Эге!.. Молодец хоть куда!.. Ты вот хоть и красив, а тебе все же трудно за мною было бы угнаться. Ну, так скажи же, Романушка, к какой красотке-то ты отправляешься, что так разрядился?

— Ни к какой не иду,— ответил Яглин.— Посылает меня Петр Иванович к лекарю Вирениусу,— вот к нему и иду.

— То-то к лекарю,— лукаво подмигивая глазами, сказал подьячий.— Не к лекарской ли дочке?

— А ты почему знаешь, что у него есть дочь? — спросил Роман.

— Знаю уж... Та самая, что тогда с тем молодцом эту сволочь, на нас напавшую, разогнали. А что она лекарская дочь, так про это мне вчера тот солдат — Баптист, что ли, его зовут — сказал. Только вот что, молодец: напрасно ты своей головой будешь стену бить — не про тебя этот кусок.

— Чего ты там языком хлопаешь, пьяница кружальный? — закричал на него Яглин, рассердившись не на шутку.— Или хочешь, чтобы я твой сизый нос на сторону сбил за твои паскудные речи?

— Ну, ну, я ведь по дружбе к тебе только! Хотел тебя предостеречь, чтобы ты зря тут не влопался.

Яглин решительно подошел к подьячему, крепко взял его за козырь кафтана и, приподняв на воздух, крепко потрянул его.

— Ну, говори ты, приказная строка, что ты такое набрехал тут про нее?..

— Ой-ой-ой!.. Что ты, Романушка!..— испуганным голосом заговорил подьячий.— Что ты?.. Пусти, пусти, задушишь ведь... Какая тебя там блоха укусила?.. Да провались ты совсем со своей черномазой гишпанкой, чтобы вас обоих с нею нечистая сила забрала. Ишь, леший! Весь козырь почти оторвал. Кто мне его здесь пришьет?

— Не говори непотребных слов!

— «Не говори»! А чего я тебе сказал? По дружбе хотел сказать только тебе, что нарвешься ты на того молодца, что нас от смерти неминуемой с твоей гишпанкой спас. Он сам путается с этой девчонкой. А коли ты поперек дороги станешь, так он угостит тебя шпагой.

— Слушай, Прокофьич! — строгим тоном сказал Яглин, грозя пальцем под самым носом подьячего.— Чтобы твой поганый язык напередки не смел ничего про нее говорить, а то я вырву его у тебя из глотки и собакам брошу. Понял? — И, еще раз погрозив толстяку пальцем, он вышел вон из дома.

Подьячий остался в комнате один с широко раскрытыми глазами.

— Фу ты, напасть!.. — забормотал он про себя. — Что это с ним сделалось? Никак, он в эту гишпанку-то того... Не поблагодарил бы его будущий тестюшка за такие дела!.. Ну да Петру Ивановичу так и надо. Я рад, если его будущий зятюшка пред венцом вдоволь погуляет. Будет чем потом, живя с рябой Настасьей, вспомнить свою молодость. Будет посланник знать, как батогами мне грозить. Я еще и сам Роману помогу, где надо, Петрушке свинью подложить.

Роман рассерженный вышел из дома. Но вскоре его раздражение улеглось, и он на свой предыдущий разговор взглянул даже юмористически, зная, что от Прокофьича дурного ждать нельзя — самое большое, если потреплет языком. Довольный этим, он быстро зашагал по направлению к дому Вирениуса.

Еще издали Роман увидел в одном из окон знакомую фигуру, напряженно смотревшую вдаль. Завидев вышедшего из-за угла и попавшего в поле ее зрения Яглина, она вся вдруг вспыхнула и поспешно отошла от окна в глубь комнаты. Яглин издали заметил это смущение, и у него сладко защемило сердце.

Не успел он дойти до дома, как дверь последнего отворилась и на пороге показалась «гишпанка».

— Вы к отцу? — спросила она, обдавая его лучистым взглядом своих больших черных глаз, и невольно залюбовалась его красивым нарядом.

— Да. Он дома?

— Нет, его дома нет. Он у одного больного. Но скоро придет. Вы, быть может, подождете?

Роман, конечно, охотно принял это приглашение, так как до сих пор ему не приходилось еще ни разу быть с «гишпанкой» наедине. Он прошел за нею, и она провела его в свою комнату.

Что они там говорили, наверное, Яглин не рассказал бы никому на свете; но только когда он вышел, то чувствовал, что у него готово от радости выскочить из груди сердце.

— Она не любит его, не любит! — в радостном возбуждении повторял он, идя к себе в гостиницу.

Конечно, в этот день ему так и не удалось ни о чем переговорить с Вирениусом.

XX

Это Роман сделал на другой день.

Лекарь сказал ему, что в Байоне он остановился на время и думает ехать ко двору одного немецкого князя, где надеется получить постоянную службу.



— А знаешь что, Роман,— сказал Потемкин, когда Яглин передал собранные им от лекаря сведения,— что будет, если переманить его на службу царского высочества? А?

У Яглина вдруг радостно забилося сердце — и опять зашевелились радостные надежды.

— Как, государь? В Москву?

— Ну да! Ведь помнишь, чать, что в Посольском приказе на этот счет нам заказывали? Чтобы всяких искусных людей на царскую службу сманивать. А он, кажись, лекарь хороший.

— Сам видел, государь,— ответил Яглин.— Кабы не он, так и не подняться бы тебе с постели.

— Это — правда. Ну, так вот передай-ка ты ему это. Не хочет ли он на царскую службу идти?..

В тот же вечер Яглин передал Вирениусу предложение посланника. Лекарь задумался.

— Вот какое дело! — в раздумье произнес он.— На это сразу решиться нельзя. Надо подумать.

Улучив удобную минуту, Яглин шепнул «гишпанке»:

— Мне надобно кое о чем переговорить с вами. Где бы это можно было сделать?

— Приходите сегодня вечером к городским валам, около северных ворот,— сказала она.

Яглин целый день с нетерпением ждал этого своего первого свидания с очаровавшей его «гишпанкой».

Лишь наступил вечер, он вышел из дома. Чтобы на него не обращали внимания горожане, он выпросил у хозяина гостиницы широкополую шляпу и темный суконный плащ, которым так плотно закутался, что даже встретивший его на улице Прокофьич не узнал его.

Он пошел к самой окраине города и вскоре был около северных валов. В одном месте оказалось какое-то развесистое дерево, и Яглин сел возле него на камень.

Прошло некоторое время, в которое Роман мог пораздумать над настоящим положением вещей. Он чувствовал, что его захватывает какая-то новая сила, которая не дает ему возможности остановиться и куда-то влечет его.

Что это: любовь ли к этой так случайно встретившейся женщине или только простое увлечение, которое с ним было раза два или три и в Испании, где долго пробыло посольство?

Если это любовь, то это чувство в будущем ничего хорошего не сулило, так как играть с собою «гишпанка» не позволит; жениться же ему на ней нельзя, так как этому препятствовали

разность национальности, веры и, наконец, самое главное, суженая на Москве.

Положим, первые два условия ничего не значат — и на Москве бывали примеры, что с ними не считались. Так, ближний царский боярин и «собинный» друг царя Алексея Михайловича, Артамон Сергеевич Матвеев, был женат на шотландке. Главное препятствие для Яглина было в том, что он был связан по рукам и ногам за услугу, правда еще в будущем, Потемкиным, взявшим с Яглиных слово относительно женитьбы Романа на его Настасье.

— Как тут быть? Что тут делать? — шептал про себя Роман, сжимая руками пылающий лоб, и не находил ответов на эти простые, но, в сущности, трудные вопросы.

В вечернем сумраке мелькнула какая-то тень, направлявшаяся к Яглину.

— Вы? — боязливым шепотом произнесла подошедшая, закутанная в темный плащ.

Яглин узнал голос Элеоноры.

— Я... я... — громко прошептал он, схватывая ее руки и жадно припадая к ним.

«Гишпанка» не отнимала их у него, и Яглин страстно целовал их.

— Будет! — наконец произнесла Элеонора. — Пойдемте, а то нас может захватить дозор. И то за мною от самого дома шла какая-то тень. Да я скрылась в темной улице.

И она двинулась вперед.

Яглин пошел рядом с девушкой и дрожащей от волнения рукой взял ее под руку. Элеонора ничего не сказала и только, повернув к нему лицо, улыбнулась.

Они тихо двигались вперед. Роман плотно прижимал локоть Элеоноры к своему боку и нашептывал ей на ухо слова любви, приходившие на ум.

— За что вы полюбили меня? — спросил он девушку.

— За что? Право, не знаю. Должно быть, за то, что в вас есть какая-то сила, размах, удаль, чего нет в наших кавалерах. Вы ведь не задумаетесь над тем, что я прикажу или попрошу вас сделать?

— Не задумаюсь, конечно!

— И не побойтесь пойти за меня даже на смерть?

— Куда хотите.

— Вот видите! — мечтательно сказала Элеонора. — В вас сила. А Гастон останавливается пред угрозой дяди лишить его наследства. Разве это любовь?

— Вы его любите или любили? — голосом, в котором слышались ревнивые нотки, спросил Яглин.

— Нет. Слабых людей я не люблю. Мне нужен человек, который сам покорил бы меня. За таким человеком я пойду. А Гастон — сам мой раб и вести меня не может. Таких людей любить нельзя.

— Но не забывайте, что мы — иноплеменники: вы — гишпанка, а я — московит и здесь нахожусь только с посольством.

— Так что же? За любимым человеком я пойду хоть к варварийцам или туркам.

Яглин чуть не подпрыгнул от радости и рассказал ей о предложении, сделанном посланником ее отцу.

— Правда? — радостно воскликнула Элеонора, схватывая его за руку. — О, отец согласится! Я в этом уверена. Я уговорю его.

— Тогда вы будете моей женой! — воскликнул Яглин, забыв в эту минуту все — и разность племен и веры, и то, что у него в Москве есть нелюбимая невеста.

Теперь он жил только моментом, своей молодой любовью к этой южной красавице, так много обещавшей.

— Пора, — наконец сказала она, когда было сказано немало слов любви и дано клятв и обещаний.

Они тихо двинулись по сонным улицам города, не замечая того, что за ними следует какая-то человеческая фигура, тщательно кутающая свое лицо в плащ.

Яглин и Элеонора дошли до дома Вирениуса. В окнах последнего еще был свет, так как лекарь сидел до поздней ночи за какими-нибудь книгами или рукописями. Элеонора остановилась и подала Роману руку.

— И только? — спросил Яглин, пытливо заглядывая ей в лицо.

Девушка оглянулась кругом, а затем, быстро взяв Яглина за голову, крепко поцеловала его в губы. Никто из них не слышал, как на противоположном конце улицы кто-то слабо вскрикнул.

Элеонора скрылась в доме, а Яглин, отуманенный поцелуем любимой девушки, тихо пошел вдоль улицы.

— Не думаете ли вы, московит, что нам с вами нужно почитаться? — вдруг раздался над самым его ухом чей-то голос, и на его плечо опустилась рука.

Яглин остановился и при свете луны узнал закутанного в плащ Гастона де Вигоня, смотревшего на него из-под нахмуренных бровей. Русский сразу понял, что за причина такого

внезапного предложения со стороны офицера, с которым он еще недавно обменялся крупными взаимными услугами и с которым они сделались чуть ли не друзьями. Несомненно, тот видел его вместе с Элеонорой.

— Отчего же,— хладнокровно ответил Яглин.— Хотя у нас, в Москве, не приняты поединки, но здесь они в ходу, и я подчиняюсь обычаю.

— Я пришлю завтра к вам своих секундантов,— произнес Гастон и, круто повернувшись, пошел вдоль улицы.

«Вот так напасть! — подумал Роман, стоя на месте.— Не было печали — черти накачали! Ну, да делать нечего — придется, видно, драться. Только где вот свидетелей-то добыть? Наши в этом толка не знают, да и не хотелось бы, чтобы огласка была. А если узнает сам посланник — прямо беда!»

Размышляя таким образом, он дошел до гостиницы. У самого крыльца последней он вдруг наткнулся на каких-то двух человек, из которых один барахтался на земле, а другой тщетно старался поднять его.

— Вставайте, москвит! Чего вы валяетесь на земле? Ну, выпили немного, пора и спать! — сказал второй по-французски.

— Ну тебя к лешему, басурманская рожа! — ругнулся первый чистой русской речью.— Чего пристал, ирод? Пусти, говорят! Я дома... и здесь спать лягу...

Но француз не понимал слов пьяного москвиты и все продолжал уговаривать его, стараясь поднять, но так как он и сам был пьян, то также то и дело падал на землю.

— Ну, черт с вами... лежите, что ли, здесь!

Яглин подошел поближе и узнал в пьяном русского подьячего.

— Пойдем, Прокофьич! — сказал он, беря товарища под мышки.— Если Петр Иванович узнает, что ты пьяный по улицам валяешься, то он опять велит тебя батогами бить.

— А, это ты, Романушка! — сказал подьячий.— Домой, говоришь? А на какой ляд домой-то? Я гулять еще хочу. Айда-ка, Романушка, вон с ним... как его?.. Ба... Ба... Баптистом... в то кружало, где мы сейчас с ним были! Ну и вино же, я тебе скажу!.. А девки — просто малина!

— Порядочно выпил ваш товарищ! — сказал Яглину Баптист.— Не удержишь его, как наляжет на вино.

Наконец оба они кое-как поставили подьячего на ноги, довели и уложили в постель, где подьячий скоро уснул.

— Постой, Баптист,— сказал Яглин, видя, что солдат хочет уходить.— Мне нужна будет от тебя услуга.

— Приказывайте, господин московит.

— В городе у тебя, наверное, немало знакомых. Да? Мне нужно двух свидетелей для поединка. Можешь найти мне их?

— Поединок? С кем? — насторожил уши Баптист.

— С одним офицером.

— Стало быть, вам нужны люди благородной крови,— рассудил Баптист.— Я разыщу. Завтра же они придут к вам.

— Хорошо! Это дело нужно покончить поскорее, так как посольство может уехать из города в скором времени.

Баптист откланялся и ушел.

«Вот и на поединок нарвался,— думал Яглин, оставшись один.— Что-то будет? Быть может, этот бешеный рубака проколется меня насквозь — и я уже более не увижу Москвы златоглавой!»

XXI

На другой день Яглин еще спал, когда его разбудил подьячий.

— Вставай, Роман! Там какие-то гишпанские дворяне пришли. Баптист говорит, что к тебе.

Яглин живо вскочил на ноги, оделся и сбежал вниз. Там, на улице, около двери, стояли два каких-то человека со шпагами у бедра. Один из них был низенький, толстый, с рыжей растительностью на лице; другой — тонкий и высокий, с франтовски закрученными кверху усами и холеной бородкой. Яглин поклонился им.

— Вот, господин московит,— сказал откуда-то вынырнувший Баптист,— это — те самые испанские дворяне, которые соглашаются быть вашими секундантами.

Роман стал благодарить их за ту честь, которую они оказывают ему, чужеземцу.

— О, это — сущие пустяки! — произнес рыжий.— Мы рады служить. Надеемся только, что вы тоже у себя на родине — дворянин, а не происходите из черни?

Яглин ответил утвердительно.

— Отлично. Скажите, с кем вы деретесь?

— Королевский офицер Гастон де Вигонь.

При этом имени Баптист еле удержался от восклицания.

«Славно, однако, я влетел! — подумал он.— Гастон де Вигонь — записной рубака, отлично владеет шпагой и проколет этого москвитя, как муху. Да и мне-то влетит от него здорово, если он узнает, что я помогаю этому дикарю! Чего доброго, отведаешь от него палок. Попался-таки я впросак!»

— Вы хорошо деретесь на шпагах? — спросил рыжий Яглина.

— Ни разу в жизни не дрался,— ответил тот.

— Черт возьми! — воскликнул рыжий.— И идете драться с таким рубакой, как Гастон де Вигонь?

— Что же? Мы, москвиты, не любим отворачиваться в сторону, когда нам в лицо глядит смерть.

— Храбрый народ! — пробормотал по-испански высокий.

— Когда назначен день дуэли? — спросил рыжий.

— Это от вас будет зависеть,— ответил Яглин.

— А, это хорошо! Тогда уговоримся свести вас через четыре дня, а до тех пор мы, если хотите, научим вас обращаться со шпагой. Если угодно, то этот человек,— при этом рыжий испанец указал на Баптиста,— проведет вас хоть сегодня вечером к нам, и мы дадим вам первые уроки фехтования.

Яглин поблагодарил их и пригласил в ближайший кабачок распить бутылку вина ради первой встречи.

Новые знакомцы ничего против этого не имели — и все четверо, считая и Баптиста, скрылись в ближайшем кабачке.

Когда Яглин вышел из последнего, то первой его мыслью было оттянуть отъезд посольства из Байоны. Он стал думать об этом — и вдруг у него мелькнула мысль о Вирениусе.

Дело в том, что Потемкин совсем оправился от болезни и стал ходить. Поэтому можно было опасаться, что отъезд из Байоны будет не за горами.

«Надобно уговорить лекаря, чтобы он сказал посланнику, что раньше недели ему двигаться в дорогу нельзя. Пусть он пугнет его хорошенько», — подумал Яглин и быстро зашагал к знакомому ему домику Вирениуса.

Элеоноры дома не оказалось — и дверь ему отворил сам лекарь.

— Вы, должно быть, за ответом пришли, мой молодой друг? — спросил он Яглина.

— Да... если, конечно, вы на что-нибудь решились.

— Собственно, я ничего против вашего предложения не имею, так как мне улыбается мысль насаждать правильные понятия по нашему искусству в такой темной стране, как ваша

Московия. Но я еще не знаю хорошо тех условий, которые ваш царь может предложить мне. Если они будут лучше тех, которые предлагают мне от имени немецкого князя, то я соглашусь ехать в вашу Московию.

Яглин стал уверять лекаря, что московский царь милостив и щедр и Вирениус не будет внакладе, отправляясь на службу к московскому двору.

— Хорошо, я поговорю об условиях с самим посланником, — ответил на это Вирениус.

Тогда Яглин изложил ему свою просьбу относительно того, чтобы задержать посланника в постели.

— Это вам зачем? — удивленно смотря на молодого человека, спросил лекарь.

— Так. Свои дела здесь есть.

— Любовные, вероятно? Ну да хорошо. Еще на неделю можно будет задержать вашего посланника.

В тот же вечер Вирениус отправился к Потемкину и сказал тому, что его болезнь заставляет предложить ему побыть в покое еще несколько дней.

— Что он там говорит? — воскликнул Потемкин, когда Яглин перевел ему слова Вирениуса. — Да как же я это могу сделать, когда у меня на руках его царского величества дело? Мне в посольской избе строго-настрого было заказано, чтобы я спешил с посольством со всяким тщанием. А он тут лежать велит. Никак не могу это сделать.

— Тогда он не ручается за твое здоровье, государь, — сказал Яглин. — Ты можешь опять расхвораться в дороге. Подумай, вдруг да это случится. Тогда ведь царскому делу большой ущерб будет, если ты еще больше пролежишь в постели. Вот и Семен Иванович-то все тебе скажет, — закончил он, указывая на стоявшего около них Румянцева.

Яглин знал, куда бить, и Потемкин покосился на своего советника.

«А вдруг да как и на самом деле расхвораюсь да больше пролежу? — подумал он. — Ведь тогда этот черт обо всем донесет в Посольском приказе. Был-де лекарь и говорил-де ему полежать еще, а он не согласился. Из-за малого пролежал больше. Еще зададут тогда мне жара!»

— Как ты думаешь, Семен? А? — обратился он к своему советнику.

— Да как тут сказать-то? Царское дело. Его, ты знаешь, надо со скоростью делать. Не было бы чего из-за задержки этой. Вот оно какое дело.

— Да ты не виляй! Вилять тут нечего. А вдруг да как в дороге еще больше расхвораюсь да из-за того посольство в дороге станет? Как тогда? А?

— Конечно, и стать может,— продолжал вертеться Румянцев.— Сам знаешь, все от Бога: и здоровье и болезнь.

— Да Бога нечего тут вмешивать. Говори прямо: ехать дальше или подождать еще здесь, как вот лекарь советует?

Румянцев вынужден был высказаться определеннее:

— Конечно, уж лучше остаться, а то ведь Бог знает что случится в дороге. Как тогда быть посольству?

Обрадованный Яглин поскорее вышел из комнаты и поспешил отыскать Баптиста.

XXII

Сделать это было нетрудно, так как солдат, завязавший большую дружбу с подьячим, почти целый день торчал в гостинице.

Накинув на себя плащи, они вышли на улицу, и Баптист повел Яглина по узеньким улицам куда-то на окраину. Они дошли до небольшого, низенького дома, совсем скрытого в зелени, и вошли в калитку.

На дворе их встретила громким лаем собака, и тотчас же из дома выскочил рыжий испанец.

— Прошу сеньора пожаловать,— произнес он, указывая рукою на дверь.

Яглин и Баптист вошли.

В большой комнате с горевшим очагом, около которого возились двое людей, что-то жаривших на вертеле, было до десяти человек. Одни из них сидели за столами, уставленными кувшинами и бутылками, и пили, другие играли в кости и карты. Все они шумели, пели и переругивались между собою.

К Яглину тотчас же подошел второй испанец и пожал ему руку.

Так как на приход Романа почти никто не обратил внимания, то он скоро оправился и, осмотревшись кругом, подивился про себя тому обществу, среди которого находились давешние испанские дворяне: большинство из них походило скорее всего на разбойников, а никак не на мирных и честных людей.

— Сеньор выпьет с нами вина? — спросил высокий испанец и, не дожидаясь согласия Яглина, налил ему кружку вина.

Роман поблагодарил и выпил. Оба испанца сели по обеим сторонам его.

— Так когда же дуэль? — спросил рыжий и при этом как-то странно усмехнулся.

— Это будет зависеть от вас, — ответил Яглин. — Для меня чем скорее, тем лучше.

— А быть может, сеньор и без дуэли обойдется? — загадочно спросил высокий.

— Не понимаю вас, — ответил Роман.

— Да что вы, маленький разве? — спросил рыжий. — Ведь зачем вы выходите на поединок? Чтобы убить соперника?

— Сказать правду, я вовсе не имею желаний убить его.

— Так зачем же вы думаете драться?

— Потому что он меня вызвал — и я не могу отказаться, так как я — не трус.

— Но ведь который-нибудь из вас — или вы, или он — должен быть убитым.

— Быть может.

— Так не лучше ли самому остаться в живых, а ему умереть? Как вы на это смотрите?

— То есть, иначе говоря, вы мне предлагаете убить Гастона де Вигоня? — спросил Яглин.

— Сеньор угадал, — улыбаясь, произнесли оба испанца.

Роман оглянулся кругом и понял, куда он попал. Этот народ не внушал ему доверия, и ему казалось, что присутствующие не постояли бы тут же, на месте, угостить и его и Баптиста ударом ножа. Он находился в затруднительном положении. Что делать? Отказаться? Но эти разбойники не задумаются покончить с ними обоими. Драться же было не под силу двум против десяти — пятнадцати человек.

Тогда Роман Андреевич решил пуститься на хитрость.

— А ведь вы правы, господа, — с деланной улыбкой сказал он им. — Чего же лучше-то? Отделаться разом — и никакой дуэли не нужно. Ведь этот офицер, я слышал, — страшный рубака?

— О, большой! — вполголоса ответил рыжий. — И мы положительно советуем вам не доводить дела до поединка, а отделаться от него иным способом.

— А чем я отплачу вам за эту услугу? — спросил Яглин.

— О, пустяки! — с преувеличенной небрежностью ответил рыжий. — Несколько золотых — и делу конец!

— Нам надобно было бы сговориться о подробностях, — сказал Яглин, оглядываясь кругом. — Удобно ли это будет здесь?

— Мы можем выйти и переговорить об этом на улице...

Трое собеседников поднялись с места и направились к выходу. Проходя мимо Баптиста, Яглин успел шепнуть ему: «Гляди в оба глаза!» Солдат мотнул головою, как бы давая этим знать, что понимает его.

Все четверо двинулись вдоль улицы.

— Сколько же вы хотите за свои услуги? — спросил Яглин, когда все они отошли довольно порядочно от дома.

— Да что же с вас взять... — начал было рыжий, но в это время Роман сильным ударом кулака сшиб его с ног.

Второй, увидав это, вытащил из ножен шпагу и бросился на Яглина. Но последний успел увернуться от удара и, подскочив вплотную к противнику, ударил его своим ножом, с которым никогда не расставался. Разбойник с проклятием покачнулся в сторону, но вслед за тем опять кинулся было на Яглина, однако в это время его ударил сзади кулаком по голове Баптист. Он покачнулся опять и на этот раз, не сохранив равновесия, упал на землю.

— А теперь бежим скорее, — крикнул Баптист, — а то, пожалуй, сюда еще нагрянут из той же шайки.

Они пустились бежать по сонным улицам города, добежали, оба уставшие и запыхавшиеся, до своей гостиницы и здесь могли перевести дух.

— Каким образом ты разыскал этих разбойников? — спросил Яглин солдата.

— Черт бы побрал их обоих! Как я их разыскал, спрашиваете вы? Очень просто. Был я в гостинице «Золотой олень». Смотрю, сидят эти двое господ и что-то толкуют про какое-то сражение. «Ну, — думаю, — таких-то нам и надо!» — и подхожу к ним. «Не офицеры ли вы будете, господа?» — спрашиваю их. «Офицеры, — отвечают. — А что?» — «Да вот нам нужны двое секундантов для одного иностранца. А у него здесь никого знакомых нет. Не окажете ли вы чести быть секундантами у этого иностранца?» — «Что же, мы согласны. А кто этот иностранец?» Я сказал. Ну а дальше мы уговорились, что они зайдут к вам. И кто же их знал, что такие приличные на вид люди окажутся разбойниками? Я просто в отчаянии, что подвергал вашу жизнь такой опасности!

Слова Баптиста показались Яглину настолько искренними, что он от души простил такой промах солдата.

— Ну, что прошло, то прошло, — сказал он. — А вот что же теперь-то делать? Секундантов-то у меня все-таки нет.

— А не согласится ли кто-нибудь из людей вашего посольства? — спросил Баптист.

Яглин разъяснил ему, что на его родине поединки не приняты, и потому никто из посольских людей не знает всех правил западноевропейских дуэлей.

— Остается только одно, — сказал тогда Баптист, — идти на поединок одному и довериться чести противника и его секундантов.

Это было единственным исходом, и Яглин, подумав, решил, что так и должно быть, так как за Гастоном он, во всяком случае, никакого вероломства не мог предполагать. Он поручил Баптисту пойти к офицеру и передать ему это, а сам пошел к себе.

XXIII

На другой день Роман Андреевич проснулся рано. Умывшись и одевшись, он уже хотел было выйти и разыскать Баптиста, чтобы расспросить его, как обстоит дело с поединком, но к нему подошел один из посольских челядинцев и сказал:

— Петр Иванович спрашивал тебя. Не пройдешь ли к нему? Яглин пошел к посланнику.

— Вот что, Роман, — сказал Потемкин, — что там твой лекарь ни говори, как он ни будь ведун по лекарской части, а слушать его я не хочу. Нельзя мне лежать боле.

— Неужто, государь, ехать дальше хочешь? — спросил Яглин, изумленный в душе таким внезапным решением посланника.

— Никак мне нельзя. Дело, сам знаешь, царское и застаиваться на одном месте невозможно — в Посольском приказе за эту самую замешку попадет, чего доброго. Семен хоть и говорит, что подождать надоть, да ведь спросят-то не с посольского советника, а с посланника. Да он к тому же — хитрая лиса: говорит одно, а как раз подведет под ответ.

— Так когда же ты думаешь ехать, государь? — спросил Яглин.

— Да дня через два можно будет, я чаю, и вперед двинуться. У Яглина отлегло от сердца.

«Слава богу! — подумал он про себя. — В два дня можно и с тем делом развязаться окончательно».

— Что же, государь? — ответил он. — Если ты здоровым себя считаешь, так отчего же и не поехать? Думаю, и лекарь Вирениус не будет противиться.

— А ты все-таки скажи ему о том. Да,— вспомнил затем посланник,— а говорил ты ему о службе государевой?

— Говорил, да он еще ответа не дал. Боится, как бы не прогадать ненароком.

— А ты ему обещаешь все. Царь-батюшка за хорошего лекаря не поскупится. Немцам-лекарям у нас в Аптекарском приказе не житье, а масленица. Будет своему делу хороший ведун, так и большего достигнет. Главное, чтобы умел хорошо жильную кровь отворять, руду метать да гнать водку редечную, хреновую и киршневу¹. Да по совести присягу давал бы: «Не примешивать к лекарствам злого яда змеиноного и иных ядовитых зверей и всяких злых и нечистых составов, которые могут здоровью повредить или человека испоганить»². Да умел бы как след распорядиться алхимистами³, часовых дел мастерами, оловянниками⁴, помясами⁵, умел бы готовить сало и масло для царских пищалей да костоправов, как надо, научить своему искусству. Чаю, знает все это твой лекарь-то?

— Наверное, знает. У них ведь здесь этому всему учат. Живых людей лечат, а на мертвых учатся: режут на части мертвое тело и узнают, где какие кости и жилы лежат.

— Тьфу, погань! Недаром все говорят, что все немцы черту душу в заклад отдали. Ну, не грешное ли это дело — мертвых резать?

— Чего же тут грешного-то, государь? — сказал Яглин.— Мертвому-то, чать, все равно, а для живых польза.

— Нет, грех, смертный грех!.. Тело надо земле предать, а не осквернять его. Да и то сказать,— продолжал он,— недавно только это и у нас-то пошло. В прежние времена никаких лекарей и у нас не было. Были знахари, знахарки, бабки, ведуны разные. И они умели лечить всякие болезни. А еще лучше заговаривали все это. Бывало, скажет знахарь свой заговор —

¹ Так называлась в Москве водка «Киршвассер».

² Подлинные слова из присяги, которую давали иноземные врачи, поступая на московскую службу.

³ Ал х и м и с т а м и назывались прикомандированные к Аптекарскому приказу люди, которые занимались заготовлением различных смазочных веществ для смазки сбруи и колес, необходимых для государева «колыматского» двора.

⁴ Часовые мастера и оловянники тоже причислены были к Аптекарскому приказу, где лудили посуду с царской кухни, чистили тазы и паяли трубы.

⁵ П о м я с а м и, или травниками назывались люди, которых посылали в разные края государства для сбора трав.

и все как рукой снимет. А тут на-кось, мертвых потрошат да поганят... Тьфу, тьфу, тьфу!.. Ну, иди теперь!

Яглин вышел от посланника и, спускаясь с лестницы, встретил Баптиста.

— Ну что? — спросил он солдата.

— Все сделал. Секундантами вашими будут двое дворян, знакомых де Вигоня.

— Когда же?

— Завтра. Я и место-то знаю.

— Ну, спасибо тебе. За мною служба не пропадет.

— Благодарю вас, — ответил Баптист, снимая шляпу и кланяясь Яглину. — А вы что же, не боитесь идти драться?

— Нет, — улыбаясь, ответил Роман.

— Ну а все-таки вам не мешало бы пофехтовать на шпагах. Гастон де Вигонь — такой противник, что с ним идти драться нужно, сначала подумав.

«Он правду говорит», — подумал Яглин и спросил:

— Ты ведь умеешь драться на шпагах?

— Еще бы! Я бы был уже офицером, если бы попал на войну.

— Ну, так вот ты и поучи меня. Дело нехитрое — и я скоро пойму его.

— В таком случае пойдете за город. Там я знаю одно местечко, где нам никто не помешает.

Час спустя Яглин бился с солдатом, постигая тайны фехтовального искусства.

Возвращаясь домой, он натолкнулся на сцену, которая заставила его много похохотать.

Почти около самого города, у одного маленького кабачка, они увидели кучу столпившегося народа, весело шумевшего и над чем-то хохотавшего. Слышна была музыка, и доносилась русская речь:

— Стой, стой! Не так, не так играешь. Не выходит. Ты слушай меня. Ну...

Веселая голова,
Не ходи мимо двора,
Мне дорожки не тори,
Худой славой не клади...

Да не так! Не туда взял. Ну, слушай:

Во муромских во лесах
Стоит бражка на песках,



Молода брага и пьяна
И размывчива была,
Веселая...

Но как музыка ни старалась, не могла попасть в такт незнакомой ей песне.

Яглин подошел к кучке и увидел в середине ее Прокофьича, старавшегося изобразить под собственную песню что-то вроде пляски, но ничего не выходило.

Роман Андреевич растолкал толпу и взял подьячего под руку.

— Будет, Прокофьич, людей-то смешить,— сказал он.— Ты ведь, поди, и так по всему городу славу на наше посольство наложил. Узнает посланник, так не миновать — смотри — тебе батогов.

— Батоги? — пробормотал Прокофьич.— А что они мне? Боюсь я их?.. Не видал я разве их, батогов-то твоих? Видал, знаю. На Москве, в Посольском приказе, не раз едал их. Важное дело — батоги!..

Прокофьич всю дорогу так бормотал, пока они не дошли до гостиницы.

Подьячему в этот день не повезло — и он получил то, что пророчил ему Яглин.

Потемкин в это время сидел у окна и смотрел на улицу. Увидав пьяного подьячего, поддерживаемого с обеих сторон Яглиным и Баптистом, он высунулся за окно и крикнул:

— Что это такое? Опять пьян? Да что он, нарочно, что ли, хочет наложить поруху на посольскую честь? Вот я его выучу! — И, крикнув из соседней комнаты челядинцев, приказал расправиться с толстяком батогами.

Челядинцы схватили выпившего подьячего и поволокли его на задний двор гостиницы, и через несколько времени оттуда раздались его крики.

XXIV

На другой день рано утром Яглин и Баптист вышли из города и направились к большому леску, лежавшему невдалеке от Байоны. Дойдя до опушки его, они увидели скрытых между деревьями лошадей и около них несколько молодых людей, одетых в мундиры того же полка, в котором служил и Гастон де

Вигонь. Последние заметили их и пошли к ним навстречу. Их было четверо. Яглин и Баптист поклонились им, на что те, в свою очередь, сделали то же. Затем двое из них отделились и подошли к Яглину.

— Мы — ваши секунданты, — сказали они.

Роман Андреевич еще раз поклонился им и поблагодарил их за честь, которую они оказывают ему своей готовностью быть его свидетелями.

— Ваш противник дожидается там, — сказал затем один из офицеров, показывая рукой на лужайку, лежавшую среди леса.

У Яглина сильно колотилось сердце при мысли о возможности смерти. Ему вдруг стало жалко и своей молодой жизни, которой он, быть может, через несколько минут лишится, и Москвы, которой никогда больше не увидит, и старика отца. Мелькнул какой-то женский образ — и что-то теплой волной подкатилось к самому сердцу. Однако минуту спустя он сказал себе: «Нечего трусить! Трусливому не видать ничего».

И он бодро зашагал к лужайке, где его встретил поднявшийся с пня Гастон.

Лицо последнего было нервно оживлено. Не впервые он выступал на поединке, так что бояться ему нечего было. Да к тому же и дрался-то он не раз с известными рубаками, так что какого-то варвара-московита он за серьезного противника и не считал.

Он и Яглин разделись и остались в одних рубашках. Секунданты подали им шпаги — и они взмахнули оружием.

Урок, данный Яглину вчера Баптистом, не пропал даром — и он сразу вспомнил все частности фехтовального искусства. Но он знал, что дерется с хорошим противником, почему и не решался пока сам нападать, а ограничивался лишь отражением ударов Гастона, стараясь в то же время подмечать его слабые стороны. Наконец он улучил удобную минуту и нанес удар, задевший Гастона по руке.

Красная полоса появилась на локте офицера, и он, сильно раздраженный, вдруг бросился сбоку на Яглина, так что тот еле успел отскочить в сторону. Шпага Гастона мелькнула у него перед глазами, а вслед за тем сам он, увидев, что на мгновение в безопасности, сделал прыжок вперед. Он почувствовал, как его шпага ударила во что-то мягкое, но в ту же минуту острие вонзилось ему в бок, и он, зашатавшись, упал на землю, теряя сознание.

Горящая свеча на столе, заваленном книгами, скудно освещала комнату. По углам стояли мрачные тени, прятавшие в себе скелеты человека и различных животных, какие-то аппараты и железные части их. В горне едва мерцал слабый огонек. Один угол совершенно был освобожден, и в нем была поставлена кровать, на которой, раскинувшись, лежал Яглин, побледневший и с повязкой на левом боку. Его глаза были закрыты; казалось, он спал.

У стола сидел старик с раскрытой перед ним толстой книгой, в которую он иногда заглядывал. Возле него, в глубоком кресле, помещалась девушка и внимательно слушала то, что говорил ей отец.

— Весь мир окружен п н е й м о ю и воздухом,— говорил старик, устремив вдаль свои умные глаза.— Из этих двух вещей, говорили древние греки, все произошло, даже боги, и туда же возвращается, и даже самая п с ю х э, душа, или жизнь,— не что выше, как воздух. Диоген из Аполлонии говорит, что воздух, благодаря своей жизненной силе,— начало всего сущего, поэтому душа есть первичное, основное начало — а р х е! Человек — более умное существо, так как он дышит чистым воздухом, а животное — менее, так как голова его ниже и оно дышит менее чистым воздухом, который с кровью проникает в тело. Эмпестокл из Агригенты учил, что начало всех вещей — единая однородная материя, из которой образовались четыре стихии: огонь, воздух, земля и вода. Они состоят из неделимых частиц. Из них все возникает и к ним все возвращается по началам любви и враждебности. В мире поэтому ничего не возникает и не исчезает, так как эти элементы вечны и неизменны. Изменяется в них только форма, и все это только смешение и изменение смешанного. Из сочетания этих частиц образуются все предметы. Все состоит из бесконечно малых, только умом познаваемых частиц, разделенных ничтожными пространствами...

Все это Яглин слышал как сквозь сон. Монотонный голос старика звучал как ручей, не понижаясь, не повышаясь, убаюкивал Романа, а тому не хотелось поднять свои отяжелевшие веки и открыть глаза. Ему было удивительно хорошо, и он лежал не шевелясь.

Но вот больной открыл глаза и сразу узнал и эту комнату, и этого старика, и эту девушку, с вниманием слушающую сво-

его отца. Светильник освещал одну половину ее лица с опадающими на лоб черными кудрями и породистыми чертами.

Яглин невольно залюбовался молодой девушкой.

«Славная, хорошая!..» — шептал он про себя, и мысль о том, что из-за этой девушки он рисковал своею жизнью, отходила от него куда-то далеко.

Он пожирал жадными взорами ее лицо, шею, роскошный стан и невольно пошевелился. Но вдруг его точно что-то кольнуло в бок — и он тихо вскрикнул.

Вирениус и Элеонора тотчас же повернулись в его сторону.

— Он пришел в себя, — сказала девушка и, встав, подошла к постели раненого.

Вирениус последовал за нею.

Яглин превозмог свою боль и встретил Элеонору улыбкой на своем бледном лице.

— Вам лучше? — наклоняясь к нему, спросила она.

— Да! — ответил Роман. — Как я сюда попал?

— Тише, — сказал Вирениус. — Вам не надо много говорить. После вы все узнаете, а теперь обопритесь на меня, я вас приподниму и осмотрю вашу рану.

Старик продел руку под спину Яглина, и тот при помощи Элеоноры был приподнят на постели.

Тут только Роман увидел, что вся его грудь была обвязана повязками, а в левом боку опять почувствовал боль, от которой тихо застонал.

— Ничего, ничего, — успокаивал его Вирениус, а сам в это время проворно разбинтовывал его.

Наконец все повязки были на полу, и Яглин увидал у себя на левой стороне груди небольшую затягивающуюся рану.

— Хорошо вас угостили, — произнес Вирениус, указывая на рану. — К нам вас привезли совсем истекшего было кровью, и вы, пожалуй, померли бы, если бы вот не эта штука, — и он указал на лежавший на столе небольшой кусок дерева, представлявший собою первобытный турникет, которым задерживали истекающую из раны кровь.

— Вы мне спасли жизнь, — с чувством сказал Яглин, глядя благодарным взглядом на лекаря и его дочь.

— Пустое! — почти сурово ответил Вирениус. — Никто вам не спасал жизни. Врач есть только слуга природы — и спасла вам жизнь та же природа при помощи вашего крепкого здоровья.

И он отошел в сторону, чтобы взять со стола кусок чистого полотна для перевязки раны.

— И вас,— сказал Яглин Элеоноре, глядя на нее благодарным взглядом.

Она покраснела и отвернулась в сторону.

Роман хотел еще что-то сказать ей, но в это время раздался стук в наружную дверь. Элеонора пошла отворить ее, и в комнату вошел Баптист.

— Вы очнулись? — сказал он, подходя к постели раненого.— Ну, слава богу! А ведь мы думали, что вы померете.

— Видно, еще не пробил час моей смерти,— ответил Яглин.— А что тот?

Но Баптист в эту минуту тихо произнес: «Тсс!.. Не говорите об этом!» — а затем громко сказал:

— Хорошо, что мы в это время шли по улице и увидели вас. Разбойники, ограбивши вас, разбежались, а вы тут остались истекать кровью. Ну, мы подняли вас и принесли сюда.— Затем, наклонившись к больному, он опять тихо произнес: — Они ничего не знают... у вас в посольстве тоже... А ему вы хороший удар нанесли: левого глаза у нашего красавчика нет.

В это время подошел Вирениус и стал с помощью дочери обмывать рану какой-то жидкостью. Затем он присыпал рану каким-то порошком и перевязал ее полотном.

— Если бы вы жили пятьдесят — шестьдесят лет тому назад,— сказал при этом Вирениус,— то не скоро поднялись бы с постели, так как тогда вашу рану считали бы ядовитой и залили бы ее горячим маслом. Но, благодаря нашему знаменитому Амбруазу Парэ¹, ран мы теперь не заливаем маслом, и я предсказываю вам, что дней через пять вы будете ходить.

— В посольстве знают, что я здесь? — спросил Яглин Баптиста.

— Да, я сказал об этом вашему толстому товарищу. А тот сейчас же пошел донести об этом посланнику. Вероятно, они сюда придут навестить вас.

¹ Амбруаз Парэ — знаменитый французский хирург XVI столетия. Большая заслуга его состоит в преобразовании учения об огнестрельных ранах. После одного сражения для многочисленных раненых у него не было горячего масла, считавшегося необходимым для разрушения раневого яда. Поэтому он и ограничился одной повязкой. Опасение дурного исхода лишило его ночного покоя; но как же велико было его удивление, когда на другой день эти так непростительно небрежно лечимые раны казались гораздо лучше, чем те, которые были пользуеться «по всем правилам искусства». Эти и позднейшие свои наблюдения Парэ обнаружил в своем знаменитом сочинении «Об огнестрельных ранах». Вторая большая заслуга Парэ заключается в возобновлении забытой в Средние века перевязки больших сосудов при ампутации вместо употреблявшихся до того времени прижигания железом и вяжущих средств.

Посидев еще несколько времени, Баптист простился и ушел.

— Теперь вы ложитесь и лежите смирно,— сказал лекарь, укладывая в мешок какие-то инструменты и лекарства.— А мне надобно навестить одного больного. С вами побудет Элеонора.

И он вышел, но в дверях столкнулся с двумя посетителями, из которых один был советник посольства Румянцев, а другой — подьячий Прокофьич.

— Романушка!.. Родной мой!.. Да какие же это изверги тебя уходили-то? — вскрикнул последний, неся свое грузное туловище к постели раненого.

Румянцев важно поздоровался с лекарем и с любопытством осматривался кругом.

— Что, Роман?.. Кто это тебя так? — подойдя затем к постели Яглина, спросил он.

— Да кто же их разберет, государь? — уклончиво ответил Роман Андреевич, не зная, как рассказывать о мнимом нападении на него.— Напали и ограбили почитай всего.

— Вот те и Еуропия! — со значением сказал Румянцев.— Нет, у нас, в Москве, насчет этого куда лучше.

— Ну, государь, и у нас всяко бывает,— сказал было Яглин, но в это время в разговор вмешался Вирениус:

— Лежите и не говорите. Много говорить вам вредно.

Яглин был, в сущности, доволен этим вмешательством, так как боялся, что при дальнейших расспросах Румянцева может запутаться и выдать себя — ведь ему было неизвестно, что мог рассказать Баптист в посольстве.

— Не велит разговаривать лекарь-то,— кивая головой на Вирениуса, сказал Яглин.

— Не велит? Экий, брат, он у тебя строгий! — сказал Румянцев.— Хорошо, что на тебя набрел этот приятель Прокофьича да сюда приволок, а то помер бы ты на басурманской стороне без покаяния-причастия. Ну, ну, лежи! Выздоравливай. Когда отпустит тебя лекарь-то твой?

— Говорит, что дней через пять буду на ногах.

— Ну, ну, поправляйся. Посланник скоро ехать хочет. А как без тебя поедешь? — И Румянцев поднялся с места.

— Поправляйся, поправляйся скорее, Романушка,— сказал и подьячий.— Чего валяться-то? Не с бабой ведь... Хоть и есть у тебя поблизости! — И он подмигнул одним глазом в сторону Элеоноры, а затем добавил: — Хорошая девка! А може, у тебя с нею уже спелось? А? Покайся-ка!

— Слушай, Прокофьич! — со злостью сказал Яглин. — Если ты будешь говорить про это, то — ей-богу! — я, как выздоровею, поколочу тебя!

— Что ты, что ты, Романушка! — сказал опешивший подьячий. — Чего ж тут серчать-то? Ведь это я так, в шутку.

Во время этого разговора Румянцев осматривал лабораторию лекаря и особенно долго стоял перед человеческим скелетом, то и дело отплевываясь в сторону, а затем, напомнив Роману о необходимости переговорить с лекарем насчет царской службы, вышел вместе с подьячим из дома.

Молодые люди остались вдвоем.

XXVI

— Вы уходите? — спросил Яглин, заметив движение молодой девушки.

— Я вам нужна? — вместо ответа спросила она.

— Я просил бы вас посидеть со мною, — сказал Роман.

— Хорошо, — ответила Элеонора и села возле постели. — Только вам ведь много разговаривать запрещено.

— Разговор с вами не повредит моей ране.

— Нет, нет, злоупотреблять этим не надо. О чем же мы будем говорить с вами?

Яглин и сам не знал этого. Ему просто не хотелось отпустить любимую девушку; он горел желанием смотреть и смотреть на ее лицо, ее стан, ее роскошные волосы. Он чувствовал, что его все больше влечет к этой «гишпанке», которая так резко отличается от московских теремных затворниц... и от его нелюбимой суженой.

При воспоминании о последней на его лбу показалась складка.

— Вам больно? Рана болит? — спросила Элеонора, заметив эту складку.

— Нет, нет, ничего, — поспешил ответить он. — Хотя я так... Я вспомнил о родине.

— Расскажите мне о ней, — попросила девушка. — Как там у вас живут? Хороши ли ваши девушки? Кто вами правит? Расскажите все.

Яглин стал рассказывать ей о далеком Русском царстве, о московском полубоге — Тишайшем царе, о затворнической жизни русских женщин, о беспредельном просторе, степях,

дремучих лесах и широких реках, о златоверхом стольном городе, о напастях и бедствиях, испытанных еще недавно Русью во время лихолетья, о ее великих людях — нижегородском мещанине Кузьме Минине-Сухоруке и князе Пожарском. Рассказал он и о темных сторонах московской жизни — царских приказах и жадных приказных людях, о лихоимстве и мздоимстве, о притеснениях, которые испытывает черный народ, о нежданно явившемся его заступнике — донском казаке Степане Разине, сумевшем вдохнуть в душу задавленного холопа новую струю свободной жизни и пошедшего искать этой свободы с топором и пожаром.

— Как все у вас по-другому! — задумчиво сказала девушка. — И ваши порядки, и ваши обычаи, и ваши взгляды. А ваши женщины, — как они могут мириться с таким положением?

— Что же делать? — ответил Роман. — Еще не родился на Руси такой человек, который вывел бы нашу женщину на свободу, к солнцу. Еще много, должно быть, времени пройдет до того часа.

Но Яглин ошибался. Он не знал, что, в то время как он говорил эти слова в далеких владениях французского короля, в Москве, на «верху», в государевых покоях, Тишайший царь стоял со своей красавицей женой, Натальей Кирилловной, около колыбели, в которой барахтался его сын Петр, тогда крошка, а затем ставший великим преобразователем России.

Элеонора продолжала дальше развивать свою мысль:

— Я не примирилась бы с этим. Не иметь своей воли, смотреть на все глазами своего мужа!.. Да ведь это — рабство, это — ужас! Я задохнулась бы в таком воздухе. А есть у вас женщины из чужих государств?

Яглин сказал, что есть, — например, жена ближнего царского боярина, Артамона Сергеевича Матвеева, родом шотландка.

— И как она живет?

Яглин ответил, что домашний уклад жизни боярина Матвеева вовсе не похож на старомосковский образ. Теремов у него нет, и жена свободна и вольна делать, что хочет и к чему привыкла. На это московские бояре давно косятся и ставят это в вину Матвееву, говорят, что он колеблет старинные устои. И съели бы они давно Матвеева, если бы не его особое положение благодаря любви к нему Тишайшего царя, высоко ценившего его ум и дарования.

— Ну а вот вы теперь, — сказала Элеонора. — Вы побывали во многих государствах, видели много разных людей и обычаев. Скажите, вернувшись к себе, как вы будете жить?

— Как я буду жить? Разве я знаю? Я — человек небольшой и располагать собою могу мало.

Однако, говоря так, он чувствовал, что сказал неправду. В душе он многое уже воспринял от западной цивилизации, и жизнь по старому московскому укладу была ему не по душе. Он был уже наполовину европейцем, проникнувшимся не только внешней стороной европейской жизни, но и ее внутренним содержанием.

Во время путешествия царского посольства по западным государствам ему приходилось вступать в сношения с очень многими людьми, и он поневоле вступил в мир их идей, их кругозора. Он стал сравнивать московскую жизнь с западноевропейской, и западные идеи мало-помалу овладевали его умом и мышлением.

Элеонора хорошо поняла это.

— Вы не можете жить и думать так, как думают ваши соотечественники,— сказала она.— Вы должны быть таким, как мы.

— Это невозможно,— возразил Роман.— Когда я вернусь на родину, то буду один, без поддержки и мало-помалу сделаюсь таким же, каким уехал из Москвы за рубеж.

— Но у вас есть же выходцы из других государств? — спросила она.

Яглин рассказал ей, что в Москве есть целая слобода, заселенная выходцами с Запада, носившая название «Немецкой», или, по-прежнему, «Кокуя». Но и там у него не было таких людей, с которыми он был бы дружен.

— Вот если бы вы переселились в Москву! — произнес он.— Вашему отцу наш посланник предлагает поступить на царскую службу.

— Он говорил мне об этом. Мне хотелось бы побывать на вашей родине.

У Яглина даже зашлось сердце, он даже приподнялся на локте, и сладкая надежда стала пробираться в его душу.

— Там у вас все так ново. Мне хотелось бы посмотреть на все это! — продолжала Элеонора.

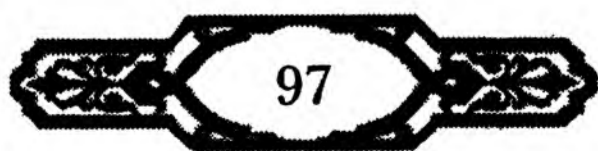
— Вас здесь ничто не удерживает? — спросил Яглин.

— Ничто.

— Даже...— заикнулся было он, но не мог произнести имя одного человека.

Вдруг Элеонора быстро повернулась к нему и спросила:

— А скажите: правда, что на вас напали на улице какие-то люди и чуть не убили вас? Это — правда? Это были обыкновенные бандиты?



Яглин покраснел при мысли о необходимости лгать и через силу ответил:

— Да. Кажется...

— Вы говорите неправду,— резко возразила Элеонора.— Отверстие раны у вас треугольное и нанесено дворянской трехгранной шпагой, а не плоской, какая бывает у обыкновенных солдат и бандитов. Вы дрались на поединке?

— Да,— тихо ответил Яглин.

На красивом лице «гишпанки» выразилась тревога.

— С кем?

— Я не могу сказать.

— Мне это надо знать,— подчеркивая слово «надо», произнесла девушка.— Вы должны сказать это мне.

— С Гастоном де Вигонем,— ответил Роман.

Элеонора откинулась на спинку кресла. Ее лицо побледнело.

— Я так и думала,— затем задумчиво произнесла она и, встав с места, стала с беспокойством ходить по комнате, а затем подошла опять к постели Яглина и долго и внимательно посмотрела ему в лицо.

— А про него... вы ничего не спросите? — сказал Роман.

Элеонора пожала плечами, а затем сказала:

— Вы думаете, что он мне дорог? Ошибаетесь!

У Романа задрожало сердце от радости.

— Вы не побоялись драться с ним? — немного погодя спросила Элеонора.— Вы дрались... из-за меня?

— Да,— запинаясь, ответил Яглин,— из-за вас.

Рука молодой девушки, лежавшая у нее на груди, словно сдерживая биение ее сердца, тихо скользнула к постели Яглина и очутилась около его лица. Она вдруг покраснела, ее глаза загорелись каким-то странным блеском. Грудь стала сильнее подниматься — и она вся, как бы обессилев, наклонилась вперед.

— Вы меня... так сильно любите? — прерывистым голосом произнесла она, смотря Роману в лицо.

Яглин вместо ответа схватил ее руку и порывисто стал целовать ее. Элеонора вся подалась вперед.

XXVII

Выздоровление Яглина шло вперед быстрыми шагами. Рана заживала без осложнений и уже стала зарубцовываться.

Едва он почувствовал себя в силах, как уже хотел встать с постели и отправиться к соотечественникам. Но Вирениус не

пустил его, говоря, что в таком случае он не ручается за исход лечения. Яглин должен был покориться.

Он тем более охотно сделал это, что время, проводимое в доме лекаря, шло далеко не скучно. Правда, с памятного вечера признания в любви он почти совсем не видел Элеоноры — последняя как будто избегала оставаться с ним наедине и входила только тогда в его комнату, когда там был ее отец. Но зато молодой русский все время проводил в разговорах с лекарем.

И многое ему довелось узнать от Вирениуса. Благодаря ему он познакомился с мирозданием, как его в то время понимали; с описанием далеких земель, открытых благодаря путешествиям Колумба, Васко да Гамы, Магеллана и других; с устройством небесных светил и ролью Земли среди них, неразрывно связанным с именами Коперника, Галилея и Кеплера; с великим естествоиспытателем и художником Леонардо да Винчи, производившим первые наблюдения над падением тел; Стевенсом, нашедшим законы равновесия; узнал о законах качания маятника, о магнитном притяжении, о зрительной трубе и микроскопе, — о вещах, о которых в Москве никто не имел понятия.

Больного Яглина не забывал и Прокофьич.

— Поправляйся, поправляйся, Романушка, — говорил подьячий, — да и айда скорее в посольство. Петр Иванович сниматься скоро хочет. Невтерпеж, вишь, ему здесь становится. Градоначальник-то здешний ничего о себе знать не дает, пропускных листов не шлет. Румянцев надясь ходил было к нему, чтобы о деле поговорить, так маркиз этот сказался больным. А какое, поди, болен? Так, отвиливает.

— А Петр Иванович что?

— Рвет и мечет. Ведь какая заминка вышла из-за его да из-за твоей болезни! Куда мы без толмача-то пойдём? Сегодня он сам позвал меня и послал узнать, как твое здоровье.

— Завтра приду в посольство. Скажи Петру Ивановичу.

— Слышу. Так и скажу. Да вот еще что: посланник еще велел спросить тебя насчет лекаря. Как он, — едет, что ли, на Москву?

— Сегодня окончательно переговорю с ним об этом.

— Ну, ин ладно. Велел он сказать, чтобы ты всячески склонял его к этому. Великий государь за такого лекаря доволен будет.

Подьячий ушел.

Яглин остался один и задумался.

Предстояло ехать с посольством дальше, а следовательно — расстаться с любимой Элеонорой. Но он чувствовал, как ему тяжело это сделать. Да и что будет, если он вернется с посольством на родину? Нелюбимая, чуть не силой навязанная, невеста, а потом жена, с которой придется жить целый век?..

— Нет, нет. Лучше смерть! — прошептал Яглин, закрывая лицо руками, и нервно заходил по комнате.

Вдруг какая-то мысль остановила его.

— Остаться... Покинуть посольство и навсегда поселиться здесь, — зашептал он. — Это будет лучше...

Но в ту же минуту он вспомнил о своем отце, об умершей сестре, о воеводе и очнулся.

— Нет, нет... Это невозможно! — зашептал он. — И сестра останется неотмщенной, и отец с горя помрет. Невозможно...

Его сердце готово было разорваться на части от борьбы самых противоположных чувств.

В это время раздавшийся позади скрип заставил его обернуться. В дверях стояла Элеонора. Яглин бросился к ней и тотчас же остановился. На него глядело печальное, измученное лицо с синевой вокруг глаз. Девушка молча смотрела на него, а затем произнесла:

— Вы уезжаете? Я догадалась об этом по посещению вашего товарища.

— Так надо, — сказал Яглин. — Я — не свободный человек и принадлежу моему царю.

Элеонора ничего не сказала на это и стояла, теребя складку своего платья.

— Вам грустно... расстаться со мною? — с волнением спросил Яглин.

Элеонора молча подняла голову, а затем, протянув к нему руки, охватила его за шею. У Романа потемнело в глазах.

Когда они очнулись, к Яглину вернулось сознание безысходности его положения, и он схватился за голову.

— Что с тобою? — произнесла Элеонора.

Яглин чувствовал, что какой-то клубок подступает к горлу. Его душили спазмы, и он понял, что сейчас разрыдается. То счастье, которое он только что держал в своих руках, ускользнуло — и впереди была темнота.

Однако он энергично потрянул головою, как будто решаясь на борьбу, и сказал:

— Слушай! Для нас есть два исхода: или я останусь здесь, но тогда мой отец помрет с горя и наш враг останется без спра-

ведливого мщения; или же ты должна ехать со мною в Московию.

— Но как отец? — спросила девушка.

— Уговори его ехать на службу к нашему царю. Наш посланник предлагал ему это.

— Я это знаю. Но он колеблется ехать в вашу далекую и дикую страну.

— Тогда как же? Остаться мне здесь?

— Нет, ты не имеешь права делать это. У тебя там есть обязанности.

Они оба замолчали, подавленные безвыходностью собственного положения.

В это время в дверь снаружи раздался стук.

— Это — отец. Я попробую поговорить с ним, — сказала Элеонора и пошла отворять дверь.

XXVIII

На другой день Яглин, подходя к своей гостинице, увидел, что пред нею толпится довольно большая кучка людей. Некоторые держали на поводу лошадей.

«Что бы это такое могло быть?» — подумал он, но когда подошел ближе, то увидел гербы на пополах лошадей и догадался, что это, должно быть, приехал губернатор.

Поднявшись наверх, Роман Андреевич увидел всех людей посольства, столпившихся около дверей, которые вели в комнату посланника.

— Градоначальник приехал, — шептал ему бывший тут же Прокофьич.

В это время дверь отворилась, и в ней показался Румянцев. Он сразу увидел Яглина и сказал ему:

— Роман, иди-ка сюда! Хорошо, что ты вернулся вовремя. А то приехал градоначальник, а как с ним разговаривать? Ни мы его не понимаем, ни он — нас, — и он вошел с Яглиным в комнату посланника.

Последний сидел в глубоком кресле против маркиза, одетый в «большой наряд», то есть, несмотря на жаркое время, в кафтане и опашне, подбитом ценным мехом. Позади стоял один из челядинцев и почтительно держал в руках высокую горлатную шапку посланника, а другой — его палку. Маркиз также был одет по-парадному.

Яглин поклонился им и встал около кресла Потемкина. Предварительно он взгляделся в лицо губернатора, как бы желая по нему разгадать, знает ли тот о дуэли с его племянником или нет. Но лицо губернатора ничего не выражало, чтобы по нему можно было что-нибудь заключить.

— Вот что, Роман,— произнес Потемкин.— Скажи ты ему, что мы завтра хотим ехать дальше... в этот город... как, бишь, его?

— Бордо,— подсказал ему Яглин.

— В эту самую Борду. Быть может, их король уже прислал туда какие-нибудь распоряжения относительно нас.

— Вы отлично делаете,— ответил маркиз, когда Яглин перевел ему слова посланника.— Я до сих пор, к сожалению, еще не имею никаких распоряжений от моего все милостивейшего короля, но там, быть может, что-нибудь имеется.

— Хорошо, мы завтра выедем,— сказал Потемкин.

— Но я должен сказать вам,— самым любезным тоном произнес Сен-Пе,— что наши таможенные власти просят у вас список вещей вашего посольства и обозначения подарков, чтобы определить пошлину с них.

Яглин с удивлением взглянул на него. До сих пор с посольством никогда ничего подобного не было и никто нигде пошлины не требовал. Он думал, что ослышался, и спросил губернатора, так ли он понял его; однако маркиз подтвердил свои слова. Роман все же не решался передать это Потемкину.

— Что он там говорит? — нетерпеливо спросил последний, видя, что Яглин молчит.

Тогда последний рассказал ему, в чем дело.

Потемкин сразу покраснел. Никогда и ни в одном государстве не случалось такого унижения ни с каким посланником, и ему нигде не приходилось переносить такую выходку.

— Да что он, с ума, что ли, сошел? — разозленный, вскричал он.— Скажи ему, что нигде с посланниками так не поступают.

Яглин перевел.

— Дело таможен находится не в моем ведении,— прежним любезным тоном сказал губернатор.— На это есть особые интенданты, и они требуют уплаты пошлин.

Потемкин покраснел еще более.

— Тогда скажи ему, что я — не купец и товаров со мною нет,— сказал он и решительно встал с места.

Когда Яглин перевел эти слова маркизу, пришла очередь последнего смириться. Он встал и, что-то неясно бормоча, с поклонами стал пятиться к двери, чтобы удалиться.

Потемкин долго не мог успокоиться. Он ходил по комнате и ругался.

— Ведь поруха царскому имени в этом, Семен? — обратился он к своему советнику.

— Большая поруха, государь, — ответил тот. — Никогда в нашем царстве не было такого. Были у нас послы и от кесаря римского, и от короля свейского, и от короля польского, и от султана турецкого — и никогда с них пошлины не взимывали.

— Завтра же едем, — распорядился Потемкин и похлопал в ладоши. — Собираться, завтра выезжаем, — сказал он вошедшим челядинцам.

Яглин вышел смотреть за сборами.

Наступил вечер. Яглин по-прежнему наблюдал за слугами и думал.

Положение его было незавидно — и он то и дело предавался самым мрачным мыслям.

Дело в том, что час тому назад он говорил с Вирениусом относительно службы у московского царя.

— Пока я ничего не скажу вам, мой юный друг, — ответил лекарь. — На днях я должен ехать в Париж. Там у меня есть один приятель, который хотел устроить мне службу у одного из германских герцогов. Если это удастся, то я должен буду отказаться от предложения вашего посланника.

Разговор происходил при Элеоноре. Когда Яглин прощался с ее отцом и нею, то заметил, что в глазах девушки стояли слезы. Он только глубоко вздохнул и, опечаленный, вышел из маленького домика, где он в первый раз в жизни услышал сладкое слово «люблю».

Подходя к гостинице, он увидел опять знакомую сцену: подьячий шел, сильно покачиваясь из стороны в сторону.

— А... друг сердечный, таракан запечный!.. — закричал он, увидав Яглина. — Что невесел, буйну голову повесил?

— А ну тебя к черту! — нетерпеливо отмахиваясь от него, сказал Яглин и направился к крыльцу.

— Ну? — удивленно сказал подьячий. — Какая муха тебя так больно укусила? Те-те-те!.. Вот оно что!.. Понял! Видно, сохнет сердце молодца по какой-нибудь здешней черномазой девчонке? Угадал я? Верно ведь?

— Угадал, — не выдержал и рассмеялся Яглин.

— Так как же дело-то стоит? Ты сохнешь, а она вьется да в руки, дрянь, не дается?.. Ну, так этому я помогу: я на этот счет заговор хороший знаю. Коли прочесть его над бабы той следом

рано поутру, так не то что ты за нею, а уж от нее бегать станешь,— отвяжись, пожалуйста! Хочешь, я скажу тебе?

Яглин с улыбкой смотрел на него.

Подьячий начал монотонным голосом говорить свой заговор:

— На море, на окиане, на острове Буяне лежит доска. На той доске лежит тоска. Бьется тоска, убивается тоска, с доски в воду, из воды в полымя. Из полымя выбегал сатанине, кричит: «Павушка Романея, беги поскорее, дуй раб». Как, бишь, ее звать, Романушка, твою чаровницу-то?..

— Прокофьич! — вдруг раздался из окна верхнего этажа голос Румянцева.— Чего ты там, непутевая твоя башка, болтаешься? Иди сюда: посланник кличет.

— Иду, государь милостивый... иду...— заторопился подьячий.— Ух, сердитый сегодня посланников товарищ! — на ходу шепнул он Яглину.— Дюже рвет, ростовец вислоухий!.. А еще их, ростовцев, лапшедами зовут. Они, ростовцы-то, однажды озеро соломой вздумали зажигать... Самый что ни на есть дурной народ в Московском царстве!.. Недаром про них и присловье сложилось: «У нас-ти, в Ростове, чесноку-ти, луку-ти много, а навоз-ти коневий».

Как ни был печален Яглин, но не мог удержаться от смеха и весело толкнул подьячего в спину, чтобы тот поторопился наверх.

Через некоторое время Прокофьич, тяжело отдуваясь, прибежал вниз и сказал Яглину:

— Иди и ты, Романушка, и тебя посланник зовет. А я побегу коней разыскивать для завтрашнего выезда.

Когда Яглин поднимался наверх, в голове его шевелилась беспокойная мысль:

«Завтра... завтра... Неужели завтра всему конец?.. Конец нашей недолгой любви?»

Он очнулся лишь тогда, когда услышал голос Потемкина.

— Ну, как дело, Роман? — спросил последний.

Яглин передал ему ответ Вирениуса.

— Ну, коли так, то еще, может быть, мы и уломаем лекаря,— сказал Потемкин. Он встал и прошелся несколько раз по комнате, засунув руки за пояс.— Ох-ох-ох! — вздохнул он затем.— И надоело же это тасканье по чужбине! Коли не царская бы служба, никогда бы и из Москвы не выезжал. Что скажешь, Роман?

— Да что сказать, государь? И здесь не плохо.

— Не скажи того, молодец. Все чужая сторона. А там на Москве свои. И у меня и у тебя.

— Да, отец...— тихо сказал Яглин.

— Не один отец... и невеста.

Этими словами как будто ударили в сердце Яглина. Он чувствовал, что как бы задыхается и ему мало воздуха.

А Потемкин стоял перед ним и строго смотрел на него, как будто хотел вызнать, что делается на душе у Яглина.

Последнего выручил вошедший в комнату челядинец.

— Там, государь, от градоправителя к тебе пришли,— сказал он,— не то пятидесятник, не то сотник,— перевел по-своему звание королевского офицера челядинец.

— Подай кафтан и зови!

Через минуту в комнату вошел офицер.

Едва Яглин взглянул на него, как тотчас же побледнел и отшатнулся: в комнате был Гастон де Вигонь с черной повязкой на правом глазу. Не ожидая здесь встретить Яглина, он тоже смутился было. Впрочем, он скоро оправился и, поклонившись Потемкину, сказал:

— Я прислан от губернатора. Маркиз приказал сказать, что таможенные агенты согласны ничего не требовать с вашего посольства за те вещи, которые вы везете с собою.

— Низко кланяюсь градоначальнику за эту милость,— не без иронии сказал Потемкин.

— Но местные провинциальные таможенные чиновники не желают отказаться от пошлин и требуют с посольства сто золотых.

Говоря это, он держал себя свободно и даже усмехнулся, глядя прямо в лицо посланнику.

Потемкина вывели из себя сразу два обстоятельства: это требование пошлин и худое поведение офицера. Он весь побагровел от гнева и не мог сначала сказать ни слова.

Офицер же смотрел на него, по-прежнему улыбаясь. Видимо, его забавлял этот бессильный гнев «дикаря из Московии».

— Вы еще должны считать себя счастливыми, что с вас берут пошлин так мало,— сказал он.— Если бы мы захотели, то могли бы взять у вас и эти вещи,— и Гастон указал рукою на стоявшие в переднем углу в небольшом дорожном киоте два образа, Спасителя и Божией Матери, в дорогах, осыпанных драгоценными камнями ризах.

Потемкин позабыл в эту минуту свою боярскую степенность и, подбежав к железному денежному ларцу, отпер его.

Затем, выхватив оттуда кошелек с находившейся там сотней золотых, он бросил их, не говоря ни слова, офицеру.

Последний вспыхнул при этом оскорблении и уже схватился было за эфес сабли, но вспомнил о той громадной ответственности, которой мог бы подвергнуться, оскорбив чужеземного посланника, а потому удержался и, круто повернувшись, вышел, не отдав поклона.

А Потемкин, как разъяренный зверь, продолжал бегать по комнате.

— Лошадей! — вдруг закричал он.— Беги, Роман, скажи, чтобы седлали лошадей! Сейчас едем.

Яглин был ошеломлен этим приказанием, которое разрушало все его планы: сегодня ночью он должен был в последний раз увидаться с Элеонорой.

— Но, государь...— заикнулся было он.

— Не разговаривай и делай, что тебе говорят,— прикрикнул на него посланник.— Сейчас же уезжаем от этих разбойников...

— А рухлядь-то как же, государь?

— Игнатий и подьячий останутся здесь и завтра выедут с рухлядью. Я с Семеном, с тобою и с попами уезжаем сейчас же. Да иди же, что ли! Пошли сюда дьяка...

Пришлось повиноваться разгневанному посланнику, и через час небольшая группа всадников выезжала из Байоны.

Но, как ни спешны были сборы, Яглин все-таки улучил минуту и сказал подьячему:

— Слушай, Прокофьич: хочешь быть мне другом? Да? Так ступай в дом лекаря Вирениуса, повидай его дочь и передай ей эту записку, где я пишу, что мы должны были внезапно уехать, но что я надеюсь увидеть ее в Париже-городе. Понял?

— Понял, понял,— качая лысой головой, ответил подьячий.— Стало быть, выходит, что ясный сокол побаловался около певуньи-чечотки да и спорхнул?

— Если, плешивая твоя голова, еще раз придет тебе в голову это, то тут тебе и конец,— вспыхнул Яглин и потряс под самым носом подьячего кулак.

— Ну, ну... Чего же сердись-то?.. Уж и пошутить нельзя!.. Сейчас и рассердился... Ладно уж: передам цидулю, как велишь...

— И вот еще что,— сказал Яглин, снимая с пальца небольшой золотой перстень.— Передай ей это и скажи, чтобы не забывала меня, как и я ее не забуду,— и он поспешно отвернулся в сторону, чтобы скрыть от подьячего непрошеные слезы.

«Те-те-те! — подумал про себя подьячий.— А ведь тут, видно, дело-то не на шутку завязалось!»

Ехали вплоть до самой ночи. Так как продолжать путь было, пожалуй, небезопасно, да к тому же и всадники и лошади притомились, то решили остановиться и переночевать у опушки небольшого леса.

Маленький лагерь из пятнадцати человек спал. Не мог только уснуть Яглин, который лежал с открытыми глазами, смотрел на небо и думал свои думы.

Странно сложилась его жизнь! Смерть сестры, разорение семьи, нелюбимая, силой навязанная невеста, путешествие за рубеж, «гишпанка» и их взаимная любовь... Как все это переплелось! А дальше что? Что даст им эта любовь? Жениться здесь и ехать с «гишпанкой» в Москву? А Потемкин? А отец? А воевода?

Яглин в отчаянии сжимал себе лоб руками, как будто хотел выдавить из головы мысль, которая осветила бы дорогу в будущее, показала, что делать дальше. Но эта мысль не выдавливалась, и Роман, измученный и усталый, уснул лишь под утро.

Его разбудил шум. Он быстро вскочил на ноги и огляделся кругом.

Маленький лагерь был весь на ногах. Потемкин и Румянцев глядели вдаль, на дорогу. Яглин тоже посмотрел туда и в облаках пыли увидал, что там едет остальная часть посольства.

Когда последние подъехали, Роман отыскал подьячего и спросил его:

— Ну, что? Как?

— Отойдем в сторону, Романушка,— ответил тот и, когда они зашли за кусты, вынул из-за пазухи платок, в котором было что-то завязано, бережно развернул его, а затем вынул оттуда небольшую звезду из разноцветных драгоценных камней на золотой основе.

Яглин взглянул на нижнюю сторону звезды, которые дамы того времени носили в волосах, и увидал там нацарапанную чем-то острым надпись на латинском языке: «Semper tua»¹. В волнении он приложил эту дорогую для него вещь к губам.

«Охо-хо! — подумал про себя подьячий.— Правду люди, видно, говорят, что любовь — зла. Совсем парень в полон отдался».

— Наказывала передать что-либо? — спросил затем Яглин.

¹ Навеки твоя.

— Экая ведь память-то! Да ведь на словах-то разве она передала бы мне что?.. Все равно я не понял бы ничего. А вот цидулька тебе от нее есть,— и он вынул из кармана небольшую бумажку.

«Буду торопить отца скорее ехать в Париж. Там увидимся. Не забывайте меня. *Элеонора*».

Яглин сразу повеселел. Будущее стало видеться ему в менее мрачном свете. Он даже чуть не задушил в своих объятиях опешившего от неожиданности подьячего.

«Ну, ну! — подумал тот.— Дело-то, видно, не на шутку у Романа с этой черномазой гишпанкой затеялось. Ох и будет же гроза, коли Петр Иванович узнает об этом: за свою рябую девку он Яглина пополам разорвет, пикнуть не даст».

Отдохнув немного, царское посольство двинулось дальше, но медленно, с большими остановками. Останавливались полдничать, обедать и на ночлег. При этом посланник с товарищем кушали плотно, обильно запивая все вкусным фряжским вином, а после обеда ложились отдыхать. Все это, конечно, сильно тормозило путешествие.

Наконец через несколько дней посольство достигло небольшой деревеньки Грандиньон. Яглин справился по дорожной карте и сказал Потемкину:

— Государь, мы подъезжаем к городу, прозвание которому будет Бордо. Город большой. Надо бы послать туда и оповестить градоправителей о нашем прибытии.

— Что же, это не главный их город будет? — спросил Румянцев.

— Нет! Главный город у них прозывается Париз, а Бордо будет вроде как бы нашего Киева или Новгорода.

— Коли так, то поезжай опять, Роман, вместе с Прокофьичем,— распорядился Потемкин.— Скажи там градоначальникам, что приехало, мол, посольство его величества великого царя и государя московского к светлейшему королю французскому и бьет челом градоправителям, чтобы отвели помещение в городе и положили посольству жалованье, как это делается в прочих государствах и потентатах.

На другой день Яглин и подьячий на конях прибыли в Бордо. Город был очень красив, и недаром путешественники называли его одним из прекраснейших городов Франции.

Здесь так же, как и в Байоне, русские скоро были замечены горожанами, и, когда доехали до губернаторского дома, около них собралась уже порядочная толпа.

На этот раз все обошлось без всяких неприятных приключений. Губернатором был маркиз Сен-Люк. Когда ему доложили о том, что у его дома дожидаются двое каких-то людей, называющих себя членами посольства московского государя, то он удивился. Он ни о каком посольстве не знал, и даже существование Московского государства представлялось ему крайне неясным. Однако он приказал ввести посланных посольства.

Яглин рассказал ему все, что касалось посольства, а также передал и просьбу посланника царского. Губернатор ответил, что ни о каком посольстве ему королем не отдано никаких распоряжений, а потому он не может исполнить просьбу Потемкина и истратить на них хотя бы одно экю. Но если посольству нужно помещение в городе, то он может указать им на хорошую гостиницу, где, однако, самое маленькое помещение будет стоить пятьдесят экю.

— Ну, наш посланник скорее дозволит снять с себя с живого шкуру, чем даст такие деньги,— сказал подьячий.

И он оказался прав. Когда Яглин донес Потемкину о результатах своей поездки, тот сказал:

— Воры все здешние градоправители и посольских учтивостей не знают. Не поеду в их город.

— Но как же ты, государь, думаешь сделать?

— Как? А вот как: разбивайте шатры здесь же, под самым городом!..

Перспектива ночевать в поле очень не улыбалась посольскому советнику Румянцеву. Он страдал болями в суставах ног и потому решил пуститься на хитрость, лишь бы не ночевать на свежем воздухе.

— Не было бы, Петр Иванович, какой порухи царскому имени оттого, что его посольство ночует в поле, как тати какие бездомные? — осторожно заметил он.

Но на посланника порой находили припадки упрямства, и тогда трудно было заставить его переменить свое решение.

— Отвечать за это в Посольском приказе буду я, а не ты,— упрямо сказал он.— Да ты и не забывай того, что в наказе нам сказано: «И наипаче всякого расхищения посольскому имуществу и деньгам и излишних проторей вяще избегать».

Румянцеву ничего не оставалось делать, как замолчать.

Яглин вышел передать приказание посланника. Лошадей расседлали, и вскоре подле самого города образовался целый лагерь.

С городских стен увидели это, и жители Бордо массаами бросились любоваться на это зрелище. Вскоре явились ходячие

торговцы, и устроилась чуть ли не целая ярмарка с ее обычным шумом, гамом, толкотней и даже ссорами.

Когда об этом доложили губернатору, то он только пожал плечами, подивился решительности московских послов и тотчас же послал в Париж эстафету, чтобы предупредить правительство о прибытии каких-то странных людей, называющих себя послами московского царя. Для поддержания порядка в импровизированном лагере он послал десять солдат.

XXX

Когда Яглин говорил Сен-Люку о прибытии посольства, то последний сначала придавал этому мало значения; когда же побывавшие в лагере русских его чиновники рассказали о количестве членов посольства, достигавшего пятидесяти пяти человек, и о пышности его, то его мысли сразу переменялись, и он понял, что московский царь — не какой-нибудь маленький князек, с посольством которого можно обойтись кое-как.

В вечер того же дня Потемкину доложили, что двое посланных от губернатора Бордо просят позволения видеть царского посланника. Это была первая любезность, оказанная московскому посланнику французами.

Чуткие к тонкостям посольского этикета Потемкин и Румянцев сразу поняли значение появления губернаторских посланных и встретили их с помпой. Потемкин ожидал их, стоя посреди своего шатра, одетый в тяжелую меховую шубу, в высокой горлатной шапке и с палкой в руке. Позади него полукругом стояли Румянцев, Яглин, подьячий, писцы, оба священника и остальные челядинцы посольства, одетые в шубы, парчовые кафтаны и цветные терлики.

Губернаторские посланные в изысканных словах приветствовали от имени маркиза Сен-Люка посольство, поздравили с благополучным прибытием и осведомились о здоровье посланника.

— Благодарю друга моего, градоначальника города, — степенно кланяясь, сказал Потемкин, когда Яглин перевел ему слова губернаторских посланных. — Когда мы с помощью Божьей прибудем в ваш стольный город, то я передам королю вашему о том приеме, который оказан нам.

Вечером лагерь весь опустел и утомленное посольство уснуло.

Не спалось лишь одному Яглину. Мысли его неслись далеко, в Байону, покинутую несколько дней тому назад. Что там делает Элеонора? Думает ли о нем или спит безмятежным сном? И наконец, встретится ли он с нею и когда?

Возле его палатки раздался какой-то шорох.

— Кто тут? — вскакивая, воскликнул Роман.

Полы палатки раздвинулись, и показалось чье-то лицо. Яглин инстинктивно схватился за саблю, которую всегда клал себе в изголовье, когда ложился спать.

Между тем тот, кому принадлежало лицо, вошел и стал раскланиваться пред ним, решительно не обнаруживая никаких враждебных намерений. Яглин пристально взгляделся в него и затем весело воскликнул:

— Баптист! Ты как здесь очутился?

— Да, это — я, господин московит, — ответил Баптист. — Несколько дней тому назад я уехал из Байоны и только сейчас догнал ваше посольство.

— Но каким образом ты очутился здесь? Послан куда?

— Нет, никем не послан: я просто убежал из Байоны. Мой офицер, Гастон де Вигонь, чуть не заколол меня.

— За что же?

— А за то, что я помогал вам; он узнал об этом. Особенно он был рассержен тем, что вместе с вами к этим бандитам, где нас чуть было не прикончили, ходил и я.

Смутная догадка мелькнула в голове Яглина.

— Так разве это он... — начал было Роман.

— Подкупил этих негодяев убить вас? Он. Один из них за ночной разбой на днях схвачен стражей и сидит в тюрьме. Мне там надо было навестить одного приятеля. Он поссорился с одним горожанином, ну, легонько ткнул его в бок ножом, а тот возьми и помри. Ну, моего приятеля, беднягу, и посадили в тюрьму. А тот разбойник узнал меня, окликнул да спросил меня, живы ли вы. «Жив», — отвечаю. «Ну, так кланяйся», — говорит он, — ему. Жаль только, что мы тогда вас не уходили». — «А что?» — спрашиваю я. «Да тогда вот не пришлось бы здесь сидеть: Гастон де Вигонь за оказанную ему услугу не отказался бы освободить нас. А теперь, чего доброго, придется и с пеньковой теткой познакомиться».

У Яглина вертелся на языке вопрос, но он не решался предложить его.

А Баптист продолжал болтать:

— И кто только рассказал моему офицеру про мои отношения с вами — не знаю. Только третьего дня он призывает меня

к себе и спрашивает: «Ты ходил в московское посольство?» — «Ходил», — говорю. «И пьянствовал там? И меня продал, твоего начальника?» — «Нет, — отвечаю, — вас я не продавал, а кое-какие услуги оказывал молодому красивому москвиту. Раз помог ему от разбойников скрыться». — «А, так это был ты!..» — крикнул он да за шпагу. Ну, мне чего же тут больше ждать? Чтобы проколол он меня, как муху? Я на двор, увидел чью-то оседланную лошадь, вскочил на нее и вон из города. Жаль только, что по дороге пала: гнал сильно. До вас уж пешком дошел.

— Куда же думаешь теперь? — спросил Яглин.

— Да никуда, кроме вас, — просто ответил Баптист. — Быть может, у вас теперь найдется для меня какое-нибудь дело. А поедете к себе, в свое государство, и я с вами: там в солдаты поступлю.

— Хорошо, оставайся, — сказал Роман, подумав. — Завтра я поговорю с посланником, и мы тебя устроим.

Баптист устало мотнул головой.

— Ты спать хочешь? Так вон бери ковер и ложись, — сказал Яглин, указывая в угол, где была свалена куча ковров и войлоков, заменявших русским в их путешествии постели.

Баптист взял первое попавшее под руку и, разостлав на земле, лег на него.

Наконец Яглин решился задать тот вопрос, который вертелся у него на языке:

— Слушай, Баптист, ты не видал дочери лекаря Вирениуса?

— Нет, не видал: ее нет в городе, — ответил солдат.

— Нет в городе? — воскликнул пораженный Яглин. — Где же она?

— Пропала. Отец ее приходил к маркизу Сен-Пе и просил разыскать ее; но пока нигде ее найти не могут.

Яглин стоял над ним как пораженный громом, затем покачнулся и без чувств упал на пол. Испуганный Баптист вскочил и засуетился, мечась из угла в угол в палатке.





Часть вторая
В ПАРИЗЕ-ГОРОДЕ

I

Эстафета губернатора Бордо скоро достигла Парижа. Сообщая о внезапном прибытии посольства, маркиз Сен-Люк упомянул там и о претензиях главы посольства, а равно и о том, что посольство стало лагерем подле самого города.

В королевском совете поднялись было по этому поводу споры, хотя все подивились необычному решению русского посольства.

Людовику XIV в это время было тридцать лет; абсолютизм «короля-солнца» праздновал в то время еще свой медовый месяц. Семь лет тому назад — 9 марта 1661 года — двадцатитрехлетний король в первом созванном им собрании государственного совета энергично заявил:

— Я решил на будущее время быть сам своим первым министром. Вы поддержите меня своими советами, когда я их потребую. Я прошу вас, господин канцлер, и приказываю вам не прикладывать печати к чему без моего указания, а вам, господа государственные секретари, и вам, господин интендант финансов, повелеваю тоже не предпринимать ничего без моего распоряжения.

Таким образом, начало абсолютизма в королевской Франции было положено. «Заря века Людовика XIV» занялась, и до того времени, когда во Францию прибыло русское посольство, изречение ее короля: «L'état c'est moi» (государство — это я) уже успело в большей части оправдаться.

Преследуя цели своей завоевательской политики, Людовик XIV двинул дальше восточную границу Франции, завоевал

несколько немецких областей и возобновлением Рейнского союза заставил повиноваться Франции немецкий запад. С Голландией и Англией он заключил торговые договоры и получил за пять миллионов ливров от английского короля Карла II город Дюнкирхен. Чтобы сделать более уступчивым Папу, он занял своими войсками Авиньон, Модену и Парму и тем принудил Папу к унижительному согласию на признание за королем права замещать духовные места во вновь приобретенных им землях.

Наконец вспыхнула война из-за Испанского наследства, в которой Испания была разбита и Франции досталась Южная Бельгия с десятью городами, в числе которых находился и Лилль.

Ко времени нашего рассказа война эта была уже окончена: 2 мая этого года мир был заключен — и вся страна находилась в периоде временного затишья и спокойствия. Хотя от этой войны Франция не получила всего, чего искала, но тем не менее престиж ее во всей Европе стоял очень высоко.

Поэтому вполне понятно, что Людовик XIV, узнав о прибытии посольства от владетеля далекой страны, был польщен этим вниманием как знаком того, что слух о его славе достиг и далеких иноземных государств. Но так как Московское государство тогда еще не вступило в семью остальных европейских государств, он все же не придал большой важности вниманию «великого князя Московии», как называли русского царя, и его диких бояр.

Однако было решено, что с московским посольством обойдутся как и с остальными посольствами и уплатят все издержки, как просил русский посланник.

И вот однажды русские увидели, что в их лагерь въезжает небольшая группа людей с офицером королевской гвардии.

— Ну-ка, что эти ребята нам привезли? — сказал Потемкин, когда ему доложили об этом. — А что, Роман лежит еще? — спросил он затем, вспомнив, что вследствие внезапной болезни Яглина посольство осталось опять без переводчика.

— Лежит, государь, — ответил подьячий. — И все бормочет во сне.

— Эка напасть-то! И с чего это он?

— А неведомо, государь, — ответил Прокофьич. — Знать, со сглаза: народ, видно, здесь все лихой.

— А как же нам быть без толмача-то?

— Разве позвать Яна Гозена? — подумав, сказал подьячий. — Он хотя по-фряжскому не понимает, зато по-латынски

знает. Он из Курлянт¹. Может, и столкнется с фряжскими людьми.

— Ну, ин ладно. Зови Гозена,— распорядился Потемкин.

Привели уроженца Курляндии Яна Гозена, говорившего по-немецки и по-русски, но знавшего и латинский язык. Ему рассказали, в чем дело, и он повиновался приказанию посланника быть толмачом.

В это время доложили о прибытии королевских посланных.

Во главе их стоял гвардейский офицер Катё, к счастью тоже знавший латинский язык. Он держался чрезвычайно вежливо по отношению к посольству и заявил, что по приказанию короля ему поручено состоять при посольстве. Затем он приветствовал послов от имени короля и сказал, что все готово для поездки посольства за счет короля в Париж и что лошади, кареты и тележки для перевозки вещей — все это приготовлено.

Потемкин при этом облегченно вздохнул.

— Бьем челом государю вашему,— сказал он Катё и низко поклонился, касаясь рукою земли.

Вся свита последовала его примеру.

— Слава Царице Небесной! — продолжал Потемкин.— Наконец-то нас здесь достойно, как по чину полагается, встречают. А теперь на радостях надо гостей попотчевать,— и он, приказав подать прохладительные питья, крайне любезно отнесся к посланным французского короля.

Когда через час последние удалились из лагеря, туда въехали кареты, лошади и тележки. Маркиз Сен-Люк одолжил три своих экипажа, Катё нанял еще четыре. Кроме того, наняли более пяти тележек и еще верховых лошадей.

Потемкин решил ковать железо, пока горячо, и приказал тотчас же сниматься с лагеря. Часа через четыре все было готово.

— А как же, государь, с Романом-то? — спросил подьячий.— Он все лежит, в себя не приходит.

Потемкин пошел навестить Яглина. Последний лежал без памяти в своей палатке. Лицо его было красно, и по временам он бредил.

— Вот притча-то! — озадаченно произнес Потемкин.— Что же мы с ним делать будем?

Ему очень было жалко Яглина по двум причинам: прежде всего он терял переводчика, без которого для посольства соз-

¹ Курляндии.

давалась масса затруднений, а кроме того, привык уже видеть в Яглине будущего своего зятя.

В палатке не было никого, кроме Баптиста, не отходившего от постели Яглина, и челядинца. Баптист вмешался в разговор русских, и последние кое-как могли понять, что у Яглина открылись раны, полученные им в Байоне, вследствие чего началась горячка.

— Что же делать? — повторил свой вопрос Потемкин и послал за Румянцевым.

Посоветовавшись между собою, посланники решили оставить Яглина под наблюдением Баптиста и одного из челядинцев, а вечером перевезти его в Бордо, сами же пошли к себе переодеваться для въезда в город.

II

Въезд был обставлен с той же помпой, как и в Байоне.

У городских ворот их встретили пятьдесят стражников для эскорта. Немного дальше их ожидала депутация от городского совета, со старшинами во главе. Последние приветствовали послов длинною речью на французском языке, из которой русские ничего не поняли, так как Гозен не смог им перевести ее.

Покончив с депутацией, посольство двинулось дальше и вскоре прибыло к большому дому, нанятому для него губернатором. Это была уже не скверная гостиница, как в Байоне, и Потемкин видел с удовольствием, что испытания посольства окончены.

Когда они вступили в дом, то, по своему обычаю, первым долгом отслужили благодарственный молебен.

Вскоре после этого явился гонец от маркиза Сэн-Люка, пришедшего сказать, что он хотел бы посетить посольство, но не знает, оплатят ли ему тем же послы.

— Никак нам сделать это нельзя, — ответил Потемкин, — потому что нам приказано великим государем первыми предстать перед королем.

Собственно, Потемкин предвидел, что губернатор может на это обидеться, но преступить наказ, данный ему в Посольском приказе, не смел. Однако, чтобы позолотить пилюлю, он послал в подарок губернатору несколько штук соболей.

Как и предвидел Потемкин, губернатор обиделся и отказался от подарков.

Вслед за этим пришел Катё с дворянином де ля Гардом, присланным королем для распоряжения доходами посла. Они сказали посланникам, что вечером в честь их будет дан обед.

— Спроси, чем они будут кормить нас? — обратился к Гозену Потемкин.

Блюда оказались скромные.

— Передай им, что мы — не басурмане и в Петровский пост скромного не вкушаем, — передал через Гозена Потемкин.

Катё поклонился в знак согласия.

Обед состоял вечером. Потемкин и Румянцев на радостях, что обстоятельства так хорошо складывались, позволили себе выпить лишнее, что привело их в веселое настроение. Что же касается Катё, то он весь обед морщился от рыбы на постном масле и за это вознаграждал себя обильным возлиянием вина.

Нечего и говорить про подьячего; этот так усиленно зарядил себя вином, что еле добрался до комнаты, где был помещен, и, тотчас же свалившись на лавку, уснул как убитый.

Едва лишь обедающие встали из-за стола, на дворе под окнами раздалась музыка с барабанным боем. Послы удивленно посмотрели на французов.

— Это дается концерт в честь прибытия именитых послов, — сказал, любезно раскланиваясь, Катё.

Потемкин довольно улыбнулся, так как это очень льстило его престижу.

Вообще, все для русского посольства складывалось наилучшим образом — и послы успокоились относительно своего дальнейшего путешествия в столицу французского королевства.

III

«Эх, кабы доктор Вирениус здесь был, — думал про себя Баптист, сидя у постели Яглина, — он скоро вылечил бы его!»

Впрочем, он напрасно так думал. Здоровая натура Яглина скоро взяла верх над болезнью. Роман пришел в себя, но был так слаб, что должен был еще лежать в постели.

Баптист крайне обрадовался, когда Яглин открыл глаза. Этот славный малый очень привязался к молодому москвиту и полюбил его, как родного брата.

— Баптист, — тихо позвал солдата Яглин. — Ты говоришь, что она исчезла?

— Тссс... господин. Не надо об этом говорить,— сказал Баптист.— Поверьте, она скоро найдется. Вы только выздоравливайте поскорее, а потом мы с вами обыщем всю Францию и найдем ее, чего бы нам это ни стоило.

Яглин быстро перевел на него свой взгляд:

— Ты мне поможешь в этом?

— Разве об этом нужно спрашивать? — вместо ответа задал вопрос Баптист.

Потянулись для Яглина томительные дни. Силы прибывали слабо, и он все еще не мог покинуть постель. Попробовал он было раз сделать это, но тотчас же покачнулся и упал бы на пол, если бы его не подхватил в ту минуту Баптист.

Все члены посольства ежедневно бывали у него, Прокофьич даже по целым часам не уходил, и Баптисту приходилось без церемонии брать его за плечи и выталкивать вон, когда он видел, что Яглин утомлялся и хотел отдохнуть от болтовни Прокофьича.

— Эх, Романушка!.. Жаль, что мы теперь с тобою не в Москве!..— болтал Прокофьич.— Там бы ты живо поправился. Есть у меня там одна знакомая Божия старушка... Знатно она всякие болезни заговаривает.

— Что же, колдунья она какая? — с улыбкой спросил Яглин, который во время своего пребывания на чужбине в достаточной мере отрешился от многих суеверных понятий московских людей того времени.

— Ну, колдунья не колдунья, а так, знающий человек, ведомая старушка. Она тебе что хочешь сделает: и обморочит, кого хочешь, и узорочанье¹ может напустить, на кого пожелаешь...

— Охота тебе, Прокофьич, верить во всю эту чертовщину! Обманывают эти люди вас, темных людей, и ничего они сделать не могут, ни порчи напустить, ни от нее избавить.

— Не молви этого, Романушка. Об этом и в старых записях говорится.

Спор затянулся бы надолго, если бы Баптист не заметил, что Яглин ослабел, и не выпроводил подьячего.

Роман скоро справился бы со своим недомоганием, если бы его не грызла тайная мысль о том, где Элеонора, что с нею? Мысли, одна другой страшнее, приходили ему в голову, и он не знал, на которой остановиться и — главное — что делать. Порой

¹ Узорочанье — снадобье, приготовляемое чародеями и колдунами, или слова, произносимые кудесниками ради порчи других.

он хотел вернуться назад в Байону и разузнать обо всем на месте. Но едва ли это привело бы к чему-либо. Баптист говорил же, что и лекарь Вирениус также исчез оттуда. Быть может, он отправился на поиски дочери. Порой же у Яглина мелькала мысль бросить посольство и искать Элеонору по всей Франции. Но тут его останавливала мысль об отце, о невыполненной мести. И он не знал, на что решиться.

Наконец он решил попросить совета у подьячего и, чуть не плача, рассказал Прокофьичу об исчезновении Элеоноры.

— Да, вон оно какое дело! — задумчиво произнес подьячий. — Дело зело темное. Тут как мозгами ни раскидывай, ничего не выдумаешь! — И он в бессилии развел руками. Наконец, еще подумав несколько времени, он сказал: — Одно только остается: ехать в их стольный город Париз. Там ведь скорее узнаешь, что во всех концах королевства ихнего делается. А назад за каким лядом ты поедешь? Все равно ничего не узнаешь и никакого толка не добьешься.

Яглин решил, что, пожалуй, это будет самое лучшее.

IV

Тринадцатого августа, в восемь часов вечера, царское посольство покинуло Бордо и село на судно, которое направилось по Гаронне в Блей. В последний прибыли ночью, там, по московской привычке не спешить, отдыхали целый день, после чего поехали дальше.

Власти встречных городов уже были извещены о проезде царского посольства, и повсюду городские старшины являлись к посольству с поклонами. При этом они задавали вопросы второстепенным членам посольства:

— Какие подарки более всего сделают удовольствие посланникам?

Так как хозяйственной частью посольства ведал подьячий, то он всегда отвечал: «Вино и водка», — и им дарили и то и другое.

Так как вина и водки в распоряжении Прокофьича было много, то он все время был пьян или полупьян. Потемкин, не знавший про это обилие вина, недоумевал, каким образом подьячий ухитряется напиваться. Но в Блуа это разъяснилось — и Прокофьичу сильно досталось от посланника.

За обедом, данным в честь посольства городским советом, один из членов последнего обратился к Потемкину с вопросом,

почему посольство возит с собою так много бочонков с вином, тогда как последнего всегда можно достать в любом французском городе сколько угодно. Потемкин сначала не понял было, про какое вино его спрашивают, и лишь тогда, когда советник сказал ему, что и они, со своей стороны, чтобы сделать приятное посольству, подарили ему несколько бочонков вина, догадался, в чем дело.

— Прокофьич,— строго сказал он подьячему,— это ты вина в подарок требуешь?

— Не изволь гневаться, государь,— ответил перепуганный подьячий,— в этой проклятой стороне ничего больше хорошего и нет, кроме вина. Ну и просишь у них всегда его.

— Оттого ты постоянно и пьян ходишь? Добро же.

И дальше Потемкин поступил чисто по-московски: он попросил присутствующих оставить их одних и, когда все вышли, собственноручно нанес подьячему несколько ударов палкой.

Но к вечеру этого же дня подьячий все-таки опять напился пьяным.

На другой день он отправился шататься по городу и вернулся домой с каким-то монахом-доминиканцем.

— Земляка, Романушка, нашел! — еще издали крикнул он Яглину.— Из наших краев... Оно не то чтобы совсем земляк, ну а все-таки...

Когда они подошли ближе к изумленному Яглину, монах поклонился и произнес:

— Битам панув¹.

— Поляк он, Романушка, поляк,— сказал подьячий.— Ушел он с Литвы да и постригся здесь в монахи. Хоть и не совсем он земляк нам будет, а все же соседи...

Новые знакомые разговорились.

Поляка звали Урбановским; оказалось, что он знает Потемкина, так как во время последней войны с Польшей находился в Люблине во время знаменитой осады этого города, которую вел Потемкин. Вскоре после заключения мира между Москвой и Польшей Урбановский уехал из последней в чужие края искать счастья, попал во Францию, где соблазнился привольной жизнью, которую вели там монахи, и поступил в доминиканский монастырь.

— Своди его, Прокофьич, к посланнику,— сказал Яглин,— все же как будто свой человек.

¹ Приветствую господ (польск.).

Урбановского повели к Потемкину.

— Привел к тебе, государь, человека одного,— начал объяснять Прокофьич.— Из Ляшской он земли, а живет здесь. Ушел со своей родины на чужбину в монахи.

— Поляк? — спросил Потемкин монаха.

— Поляк,— подтвердил тот.

— Чего же ты ко мне-то привел его? — спросил посланник подьячего.

— Все же, государь, как будто свой человек, к тому же недавно из своей земли. Может, что и поспрошаешь его о том, что в их краях да на Москве делается.

— А ведь и впрямь! — спохватился Потемкин.— Как же я раньше не догадался об этом? Поди-ка распорядись, Прокофьич, чтобы нам подали вина. Ты ведь пьешь, отче? — обратился он к Урбановскому.— Вы ведь, ляхи, пить-то куда зело горазды.

— Ну и вы, москвиты, от нас в этом не отстаете,— улыбаясь, ответил Урбановский.

Вино было подано — и посланник с Урбановским сели за стол.

Урбановский довольно хорошо объяснялся по-русски, и посланнику легко было говорить с ним.

— Ну, рассказывай, отче, что делается у нас, в Москве? — спросил он, наливая в кубки вино.— Все ли спокойно в нашем царстве у его царского величества Тишайшего царя?

— Не все спокойно,— ответил доминиканец, принимаясь за вино.— Слышно у нас было, что ваши монахи в Соловецком монастыре возмутились против царя. Говорят, что не хотят новую веру принимать.

— Какую новую веру? Ах, да: Никоновы новшества. Вишь ведь до чего довел этот Никон: даже молитвенные люди и те поднялись! Ох, наделал этот патриарх смуты Руси на долгие годы! Не кончится это одним возмущением Соловков: много еще людей на защиту старой веры поднимется, много раздора-спора будет...

Втайне Потемкин все еще держался старой веры и «никоновской ереси» не признавал, хотя внешне во всем подчинялся и признавал новшества. Поэтому теперь он даже обрадовался в душе, услышав о возмущении в Соловках. К сожалению, Урбановский не мог дальше удовлетворить любопытства посланника, так как не знал, чем окончилось это возмущение.

Сообщил ему Урбановский еще о том, что у черкасов¹ в Гадяче была рада, собранная Брюховецким, на которой было положено отойти от царя и отдаться под покровительство турецкого султана.

Про Польшу Урбановский рассказал, что там воцарился Михаил Вишневецкий, избранный сеймом после несчастливо царившего сына Сигизмунда, Яна Казимира. Этот последний король Польши из дома Вазов сложил с себя корону и удалился во Францию. В его свите покинул родину и Урбановский, поступивший в доминиканский монастырь, подобно своему бывшему королю, тоже сменившему порфиру на рясу и сделавшемуся аббатом бенедиктинского монастыря.

Несмотря на скудость новостей, закинутому на чужбине русскому все же было приятно их слышать.

— Ну а турки как? Не слыхал, отец, ничего? — осторожно задал он монаху вопрос, так как вопрос о турках и представлял собою предмет царского посольства к французскому королю.

Но оказалось, что Урбановский ничего об этом предмете не знает.

Затем Потемкин послал за Румянцевым, чтобы и тот послушал рассказы Урбановского. В заключение разговора Румянцев отвел в сторону Потемкина и сказал ему:

— А знаешь что, Петр Иванович, я тебе скажу? Взять бы нам этого ляха к себе в посольство.

— Это вместо Романа? — спросил Потемкин.

— Вместо Романа. Роман-то бог его знает когда оправится, а толмач-то нам нужен. Ведь другого такого, как этот лях, не скоро найдешь. А Гозен-то только один латинский язык и знает.

Мысль советника посольства показалась Потемкину целесообразной, и он сделал тут же это предложение Урбановскому. Через несколько дней, выговоренных на размышление, монах пришел опять к Потемкину и сказал, что согласен на его предложение.

V

Яглин оправлялся медленно. Иногда болезнь снова обострялась — и он опять принужден был ложиться в постель, так как им овладевала страшная слабость.

¹ Черкасами московские люди называли украинских казаков.

Это случилось в те дни, когда у него снова являлось отчаяние, что он более никогда не увидит Элеоноры.

Баптист все время ухаживал за ним, как преданный слуга, и все сокрушался, что нет Вирениуса.

— Тот скоро вылечил бы вас, — говорил он, хотя в душе сам хорошо сознавал, какое лекарство более всего помогло бы молодому москвиту.

Между тем посольство понемногу подвигалось вперед и прибыло в Орлеан. В это время был Успенский пост, и русские строго соблюдали его. Французов крайне удивляла их набожность. Так в Поне, по случаю праздника Преображения, они четыре часа молились на коленях. В Орлеане же наступило окончание поста — и постные кушанья теперь подавались только по средам и пятницам.

Но, несмотря на это, кормить русских представляло немало затруднений.

Дело продовольствия находилось в руках подьячего, и городским поставщикам провизии приходилось иметь дело с ним, при посредстве, конечно, Урбановского. Очень часто происходили такие сцены. Поставщики предлагают ему зайцев и кроликов.

— Что вы? — возражает Прокофьич. — Разве станет православный человек есть такую пакость кошачьей породы?

Предлагают голубей.

— Уж истинно нехристи! — возмущается подьячий. — Голубя, невинную птицу... «И Дух в виде голубине...» Тьфу, басурманская сторона!

От телят, если им было менее года, он тоже отказывался, объясняя:

— Теля до года — еще нечистая скотина.

Вследствие этого для русских приходилось поставлять уток, гусей, разную другую птицу и поросят.

Через пятнадцать дней посольство прибыло в Бург-ла-Рен.

— Ну, брат Семен, — сказал Потемкин своему советнику, — скоро конец нашим мытарствам. Давай дела в порядок приводить.

И посланники несколько суток подряд, работая даже ночью, просидели, приводя все в порядок. Они по многу раз прочитывали данные им в Посольском приказе «наказы», заучивали наизусть слова речей, которые им придется говорить, обдумывали каждое слово в них, чтобы после не дать повода к нареканиям на себя, чтобы не положить порухи на царское имя, кото-

рое надлежало им держать «строго и грозно». Пересматривались верительные грамоты и другие бумаги. Затем дошла очередь до проверки подарков.

— Сабля турецкая, — читал один из младших подьячих, — ножны ала бархата. А рукоять литой работы, позлащена. А по бархату три камня больших: буруза¹ персидска, синь-камень, да лазоревый камень, да зеленый камень поменьше — измарагд². Да еще осыпаны ножны мелкими жемчугами венецкскими³. А рукоять сабли — единорог-зверь, а изо лба у него рог торчит и идет тот рог к клинку.

Потемкин взял саблю в руки и с любовью провел рукою по клинку, блестящему огнем от луча солнца.

— Мой подарок, — не без гордости сказал он. — С этой саблей я воевал с Польшей, с нею осаждал Люблин. А теперь пусть она также послужит во славу и честь царя нашего, как служила ему и на войне, — и, нежно погладив ее еще раз, он отложил ее в сторону.

— Нож кривой с золотым узорочным письмом. А что писано, про то неизвестно: надпись по-турецки. А ножны мягкие, синей кожи, — продолжал перечислять подьячий. — А рукоять вся серебряна, орлиной птицей литая, и вместо глаз два бурузовых камня вставлены.

Нож был отложен в сторону. За ним следовало еще несколько таких же ножей, турецкой, черкесской и персидской работы.

— Парчи золотой с цветами и птицами, золотом тканными, десять кусков. Соболей сибирских больших два десятка, мелких тридесять шкурок. А на каждой из них свинцовая печать.

Столь ценимые в западных государствах русские соболя перетряхивались, шерсть слегка приглаживалась рукой, чтобы она несколько отливала блеском, и откладывались в сторону, рядом с парчой.

За этими подарками следовали другие, в виде серебряных подков, наборной сбруи с серебряными и позолоченными бляхами, серебряные стремяна, уздечки и так далее. Все это тщательно проверялось по записям, чистилось, приглаживалось и с бережностью укладывалось назад в мешки, ящички, коробка и сундуки.

Когда работа была окончена, был уже вечер. Из комнаты, где она производилась, ушли все, за исключением посланников

¹ Бирюза.

² Изумруд.

³ Венецианскими.

и подьячего, которые принялись за просмотр и проверку различного рода бумаг, грамот и верительных писем.

В допетровской Руси Посольский приказ щепетильно относился к тому, чтобы не было сделано «порухи» чести и достоинству Русского государства, которое соединялось с личностью его царя, так что оскорбить чем-либо царя — значило оскорбить и все Московское царство. Поэтому понятны строгие наказания Посольского приказа посланникам, чтобы они «имя царю строго и грозно держали». Проступиться против этого — значило навлечь на себя немилость царскую, гнев и опалу, а то и поплатиться головою. Неудивительно, что русские посланники строго придерживались всех мелочей этикета, а также и буквы данных им предписаний и обнаруживали порою мелочную придирчивость в исполнении их.

Потемкин и Румянцев внимательно перечитали посольский наказ, вникая в каждую букву его, очень часто споря друг с другом из-за какого-нибудь слова, так как смысл официальных бумаг того времени вообще не отличался удобопонятностью. Расстались они поздно и разошлись по своим комнатам.

Потемкин не тотчас же лег, а сел у открытого окна и задумался, глядя на темное, усеянное звездами небо.

Несколько лет тому назад он отправился со своим отрядом пеших и конных людей на войну с Польшей. Там он отличился при осаде Люблина и по возвращении в Москву был удостоен милостивого царского слова и шубы с царского плеча.

— Пойдет теперь Петрушка Потемкин в ход, — шушукали про него разные незамеченные, но чающие движения бояре и дворяне. — Шутка ли, шуба с царского плеча!.. Чего доброго — и на Верх попадет. В милости будет. То-то тогда нос задерет!.. Не подступайте близко...

В то же время каждый из них про себя думал: «А на всякий случай не мешает забежать вперед. Авось пригодится. А от поклона голова-то не отвалится», — и все старались рассыпаться в любезностях перед Потемкиным, под разными предлогами зазывая его к себе в гости, чтобы угостить его там на славу и добиться его расположения.

Петр Иванович хорошо понимал, что значат все эти заискивания и какая им цена. Разнесись малейший слух про то, что он не только не в чести у царя, а просто последний забыл о нем, как вся эта свора сейчас же бесцеремонно отвернется от него. Но все же все эти льстивые заискивания приятно щекотали его самолюбие, и иногда даже он думал, что, чем судьба не шутит,

быть может, и он когда-нибудь займет в сердце царевом такое же место, какое сейчас занимает Артамошка Матвеев.

Царь, однако, не забыл его, и когда было задумано посольство к французскому королю, то он же первый и вспомнил про него.

— Он там, в Польше, насмотрелся немало. Знает толк, как вести дело с западными государями. Когда мир с поляками заключили в Андрусове, он как старался, чтобы Смоленск нашему государству достался,— сказал Тишайший, и о назначении Потемкина было решено.

Это, конечно, еще больше возвысило Потемкина.

Но теперь предстояло с честью выполнить главную задачу: успешно исполнить то поручение, которое было возложено на посольство, от чего зависело все дальнейшее в жизни и судьбе Потемкина. А исполнить это было нелегко. Еще Бог его знает, каким окажется двор французского короля и пойдет ли он на те предложения, которые сделает ему царское посольство?

VI

На другой день к посланнику пришел де Катё и сказал им, что приехал представитель короля, Берлиз, чтобы приветствовать посольство от его имени. Это известие взволновало Потемкина.

«Вот оно... начинается!..» — подумал он и приказал устроить встречу королевскому посланнику как можно более пышную и торжественную.

Когда оба посланника, разодетые в свои блестящие парчовые одежды, сидели, окруженные всею посольской свитой, вошел королевский посланный. Сняв шляпу и сделав поклон, он произнес:

— Мой государь прислал меня сюда, приказав приветствовать посольство, явившееся к нам из далекой Московской земли.

Это вступление пришлось посланникам не совсем по сердцу: Берлиз почему-то избегал в своих словах упоминаний о московском царе. Но так как придраться в словах посланного было не к чему, то они промолчали.

— Мы тронуты вниманием короля,— перевел французу слова Потемкина Урбановский,— и благодарим его от имени нашего великого государя.

— Как здоровье посланников и благополучно ли они доехали? — был следующий вопрос Берлиза.

Этот вопрос доставил удовольствие Потемкину, и он благодарил Берлиза от лица всего посольства. Но следующие слова королевского представителя поставили Потемкина в некоторое затруднение.

— Королевские министры, — сказал Берлиз, — просят посланников вручить им через меня свои верительные грамоты.

— Верительных грамот у нас нет, — ответил Потемкин, — а есть только письмо великого государя московского. А что в нем писано, про то мне неведомо.

В это время Прокофьич вынул из мешка какие-то бумаги и из-за голов свиты показал их Потемкину.

Последний догадался, в чем дело, приказал подать себе эти бумаги и, показывая их Берлизу, произнес:

— Вот моя подорожная¹, а в ней прописано, что я, стольник Петр Потемкин, и дьяк Семен Румянцев являемся на самом деле посланниками великого государя московского.

Берлиз посмотрел на поданную ему подорожную, возвратил ее, после чего сказал:

— Если у вас имеется письмо к нашему светлейшему королю, то наши министры просят вас вручить его им, и они передадут его королю.

— Письмо царское дать мы не можем, так как нам приказано вручить его королю вашему в собственные его королевские руки, — ответил Потемкин. — Поэтому нам надобно видеть короля, а если этого нельзя, то мы уедем сейчас же обратно.

Берлиз, не имея никаких инструкций относительно дальнейшего по этому вопросу, больше не настаивал, но пожелал видеть список лиц, составляющих посольство.

— Зачем это нужно? — возмутился Потемкин.

— Прошу извинения, — сказал Берлиз, заметив это, — но если бы наш светлейший король был официально предварительно уведомлен о вашем прибытии, то этого не случилось бы.

— Сделать это раньше было невозможно, — ответил Потемкин, — так как от нашего царства до земли вашей зело изрядно.

Берлиз больше не настаивал и, откланявшись, уехал.

Проводив его, Потемкин обратился к советнику:

— Ну, брат Семен, дело началось. Как-то окончим его? Дай-то Бог окончить его хорошенько во славу нашего великого государя!

¹ Подорожная — паспорт.

«Больно-то она тебе нужна, эта государева слава,— подумал про себя Румянцев.— Знаем, на что колотишь: из стольников в воеводы захотелось пробраться. Смотри только, не сорвись!»

VII

Через день царское посольство въезжало в Париж.

«Город зело хорош и вельми велик. Будет, пожалуй, поболее Москвы, а церквей в нем менее; хотя чернецы — и доминиканы, и бенедиктины, и иные прочии, рекомые капуцинии,— попадают, а монастырей не видать. Не церковного же народа, и купцов, и стрельцов, и подлого народа, изрядно»,— записал в своем дневнике дьяк Румянцев.

Рано утром того дня все в посольстве были уже на ногах.

— Воевода ихний приехал, государь,— испуганным шепотом доложил Прокофьич, влетая в комнату Потемкина.

— Чую! — твердым голосом ответил посланник.— Чего же ты-то суетишься, точно с цепи сорвался? Чего нам бояться? Не милости мы сюда приехали просить, а с предложением царевым, и не просители мы какие-нибудь, не челобитчики, а посланники.

Потемкин вполне овладел собою. Он видел, что приближаются решительные минуты, и призвал на помощь все свое самообладание. Его лицо было совершенно спокойно, ни один мускул не дрогнул и ни один нерв не выдал, что делается у него в душе.

Его спокойствие передалось и окружающим. Все подтянулись и стали толковее исполнять его приказания.

— Государь,— сказал дьяк Румянцев,— колымаги за нами приехали. Сам король прислал свои и королевины.

— Пусть воевода войдет сюда и честь честью пригласит нас как почетных гостей,— важно ответил Потемкин.

— Они говорят, государь, что по ихнему посольскому обычаю королевского посланного должны встретить у крыльца дьяки, дворяне — в сенях, а мы с тобою — в дверях,— ответил Румянцев.

— Никогда у нас такого не водится! У нас к послам прямо в избу входят и встречают у дверей царских посланных одни челядинцы.

— А у них вот какой обычай. Да и спорить не о чем,— примирительным тоном сказал Румянцев.— И то сказать: не в своей ведь земле. А в чужой монастырь со своим уставом не суйся.

— Ну, ин ладно,— подумав, согласился Потемкин.— От этого ни у нас, ни у нашего государя достоинства не убудет.

Он отдал приказание, чтобы все подьячие встретили королевского посланного у крыльца, дворяне — в сенях, а сам он и Румянцев, одевшись в парчовые шубы на редких мехах и высокие собольи горлатные шапки, стали в дверях своей комнаты, окруженные остальными членами своей свиты, одетыми в самые лучшие одежды.

Было тихо, когда маршал Беллефон вошел, окруженный свитой из дворян и офицеров, в комнаты. Французы с любопытством смотрели на не виданных ими русских в странных одеждах, передавали друг другу свои замечания, порой пересмеивались между собою и, по-видимому, относились к этим «варварам» иронически.

Маршал сказал посланникам приветствие короля и пригласил их въехать в Париж для выполнения поручения, данного им их государем. Для въезда в столицу король прислал им несколько своих парадных карет и шесть других экипажей, из которых каждый был запряжен шестью лошадьми.

Поблагодарив маршала, Потемкин сказал, что готов ехать. Кортёж вскоре составился. Потемкин, Румянцев и Урбановский вместе с Беллефоном сели в лучший экипаж, в других разместились остальные члены свиты. Те же, кому не хватило места в экипажах, а также офицеры свиты маршала следовали на лошадях.

По аналогии с приемами чужеземных послов в Москве, посланники предполагали, что на улицах Парижа их будут ожидать многочисленные толпы народа. Но оказалось, что, когда кортеж въехал в предместья Парижа, на улицах попадались только редкие прохожие, больших же народных масс не было. Потемкин, готовившийся раскланиваться, чтобы приветствовать народ, был раздосадован этим и показался в окне кареты только три раза.

— Скажи ему,— произнес он, обращаясь к Урбановскому и кивая головой на маршала,— что у нас так послов не встречают. У нас все улицы и площади полным-полны народом. А здесь точно попрятались все. Негоже так послов встречать. Могли бы оповестить народ.

Урбановский перевел это Беллефону. Последний, любезно улыбаясь, начал что-то объяснять.

— Он говорит,— сказал доминиканец,— что парижане из-за краткости времени не были предупреждены. Но то же самое



бывает и с послами других важных королей Европы, если они приезжают внезапно.

Это объяснение немного смягчило досаду Потемкина.

— Вот так город! — говорили между собою прочие члены посольства, любуясь на большие каменные дома Парижа, на замысловатую архитектуру церквей и общественных учреждений, на громадные сады и широкие мосты. — Куда нашей деревянной Москве супротив Париза! Из него Москву шесть, а то и еще больше раз выкроишь.

Действительно, на Париж того времени можно было дивиться. Возведение Франции «королем-солнцем» на первое место в Европе, расцвет наук, искусства, литературы и торговли, увеличение населения государства — все это сильно отразилось на столице королевства. Париж того времени был средоточием всей внутренней торговли и промышленности.

Те отрасли мануфактуры, которые славились на всю Европу: шелковое и суконное производство, шитье золотом и серебром, стеклянные и хрустальные изделия, знаменитые королевские фабрики гобеленов — процветали главным образом в Париже. Все это, конечно, косвенным образом отзывалось и на внешности столицы.

Наконец кортеж остановился на улице Турнон, где в настоящее время помещаются казармы муниципальной гвардии.

— Здесь приготовлено помещение для посольства, — сказал маршал.

Все стали выходить из экипажей.

Помещение оказалось очень просторным и приличным, так что посланники остались очень довольны им. Маршал проводил Потемкина до его комнаты, где они и расстались со множеством взаимных поклонов.

Так состоялся въезд царского посольства в столицу королевской Франции.

VIII

Яглин въехал в Париж вечером того же дня. Теперь он чувствовал себя значительно крепче, что, по всей вероятности, можно было объяснить некоторым подъемом нервной энергии.

И действительно, въезда в Париж он ждал с нетерпением. Что-то внутри него говорило, что здесь он скорее, чем где-либо в другом месте Франции, узнает что-нибудь об Элеоноре, если не найдет ее самой.



Не менее его на Париж возлагали надежды и Прокофьич с Баптистом.

— Париз ведь — то же, что Москва, — сказал первый. — Здесь скорее узнаешь, что в каждом углу царства здешнего делается.

А Баптист к этому добавил:

— Уж я все норы и дыры в Париже обыщу, а что-нибудь да узнаю.

Поэтому Яглин, чтобы дать себе некоторую свободу действий, решил со следующего же дня приступить к исполнению своих обязанностей. Когда он явился к Потемкину, то посланник был этим очень доволен.

— Ну, это зело добро! — сказал он. — Теперь у нас два толмача будет. Да ты и все дела знаешь.

И он Яглина тотчас же засадил за разборку и проверку посольских бумаг.

Яглин сидел целый день, не разгибая спины, и это немного отвлекло его мысли от Элеоноры. Но когда поздно ночью он ушел к себе, то прежние думы опять овладели им, и он только на рассвете уснул тяжелым сном.

На другой день рано утром Баптист исчез из дома и вернулся лишь поздно ночью. Яглин ничего не сказал ему, а только вопросительно взглянул на него. В ответ тот лишь пожал плечами.

В этот же день рано утром в посольство прибыли королевский метрдотель и повара, чтобы готовить для русских.

Любивший вкусно поесть, Прокофьич все время торчал на кухне и только мешал готовившим поварам. Его даже приходилось гнать оттуда, и он с горя, пожалуй, опять напился бы, если бы Потемкин отпустил его со двора. Но так как в посольстве работы было много, то Прокофьич все время был с посланниками.

Баптист же и следующие два дня пропадал безрезультатно. Лишь на четвертый день его лицо изобразило как будто что-то особенное.

— Напал на след? — спросил его Яглин.

— Как будто бы напал, — ответил тот. — Хотя, наверное, трудно что-нибудь определенное сказать.

Яглин стал было спрашивать, но Баптист, боявшийся возбуждать в молодом человеке напрасные надежды, никаких подробностей ему не рассказал.

Но на следующий день он опять пропал и домой вернулся лишь на другой день утром.

— Есть следы,— лаконично сказал он.— Есть здесь один кабачок под вывеской «Голубой олень». Посещают его только солдаты да матросы с их подругами. Вчера вечером я сидел там за кружкой вина и смотрел кругом. Народа было немного. Вдруг вижу — входит один рыжий солдат, пьяный, и с женщиной. Я сразу узнал его: это — Жан, по прозвищу Рыжий, который служил со мною в одном полку и был сержантом у Гастона де Вигоня!

Яглин несколько минут ничего не мог сказать и затем с трудом, едва владея собою, почти прохрипел:

— Дальше!..

— Рыжий сел с женщиной и потребовал себе вина,— продолжал Баптист.— Я решил подойти к нему сразу и заговорить, надеясь, что из разговора с ним могу что-нибудь узнать. Я так и сделал. Подойдя к его столу, я громко сказал, протягивая ему руку:

— Здравствуй, Жан!

Он от неожиданности вздрогнул и с удивлением взглянул на меня.

— Что же ты, разве не узнаешь своих прежних товарищей? — продолжал я.

— А! — воскликнул он, узнав меня.— Баптист! Как ты здесь очутился?

— Искать счастья приехал. Надоело там, в Байоне, границу сторожить. Хочу отсюда во Фландрию пробраться. А вы с капитаном зачем сюда приехали? — задал я ему неожиданный вопрос, надеясь, что, быть может, он проговорится.

— А мы думаем отсюда в Америку ехать,— не подумав, ответил Жан и, тут же сообразив, что проболтался, сразу же рассердился: — С каким капитаном? Про какого капитана ты говоришь? — сердито закричал он.

— Да про нашего капитана говорю... Про Гастона де Вигоня. Да чего ты так рассердился? — как будто удивленно спрашиваю я.

— Ничуть не рассердился,— сконфуженно ответил он.— Это тебе только так показалось. А приехал я сюда один. Капитан же наш остался в Байоне. Ты знаешь, что он от своего полка отлучиться не может.

Чтобы развязать ему язык, я предложил ему выпить; он не отказался. Мы потребовали вина и сели втроем пить. Сделал я это затем, что надеялся на то, что, быть может, захмелевший Рыжий еще что-нибудь проболтает про капитана... и, быть может, про других.

Мы стали пить. Я то и дело подливал ему в кружку вина. Разговаривали про прежнее, про войну, про Байону и другие вещи. Несколько раз я наводил разговор на капитана, но Рыжий ловко сводил разговор на другие предметы. Тогда я как бы вскользь упомянул про доктора Вирениуса и его дочь и спросил, не знает ли он, как они поживают в Байоне.

— Я вовсе не знаю тех, про кого ты говоришь,— как бы небрежно ответил он, но я по его глазам видел, что он говорит неправду и знает гораздо больше, чем хочет показать.

Тогда я решил просто выследить Жана. Для этого я притворился пьяным, стал говорить заплетающимся языком и, наконец, притворился уснувшим. Рыжий сделал несколько попыток разбудить меня, когда же увидел, что я крепко уснул, сказал своей подруге: «Уйдем, Марго, пока он спит!» — и они вышли вон.

Тогда я вскочил на ноги и через несколько времени вышел на улицу. Обоих их я увидел в вечернем сумраке в конце улицы. Не теряя их из виду, я шагал за ними на порядочном расстоянии. Они долго кружили по улицам и наконец дошли до самого края города. Там они остановились у одного невзрачного маленького домика и постучались. Выглянула чья-то голова, и голос, показавшийся мне знакомым, спросил:

— Рыжий, это ты?

— Я. Отпирай скорее. Капитан дома?

— Нет, он ушел. А что?

— Да встречу я сегодня одну имел. Предупредить капитана надо. В «Голубом олене» я столкнулся с Баптистом. Он меня узнал, и мы разговаривали с ним.

— Ах, черт его возьми совсем! Капитану эта новость не совсем-то понравится. Эко горе, что его нет!.. Скорее бы сказать ему надо было!

Они вошли в дом, а я, подождав несколько времени, подошел поближе к домику и тщательно осмотрел его, чтобы не ошибиться в следующий раз. Вот и все, что я узнал сегодня,— закончил свой рассказ Баптист.

Яглин ничего не отвечал и сидел в раздумье. Для него теперь было ясно: Гастон здесь, а с ним, вероятно, и Элеонора. Но так ли это или нет,— сначала надобно разузнать по-вернее.

— Баптист,— сказал он,— надобно нам сегодня же пробраться в этот дом; чем скорее сделаем это, тем лучше, а то они могут принять свои меры или даже совсем исчезнут из города.

— Романушка,— раздался в это время в дверях голос Прокофьяича.— А тебя там посланник зовет. Каких-то грамот не доищется он.

Яглин подавил в себе готовившееся у него сорваться проклятие и пошел наверх к Потемкину. Последний задержал его долго. В довершение всего, когда искомая грамота была найдена, пришел слуга и доложил, что прибыл королевский представитель Берлиз. Посланник встал и пошел встречать его.

Яглин, видя это, с отчаянием подумал, что задуманная на сегодня вылазка не удастся.

IX

Через минуту Берлиз вошел, сопровождаемый обоими посланниками, Урбановским и подьячим.

— Королевский посланный прислан, чтобы сказать посольству царя, что завтра состоится ваше представление королю,— сказал Урбановский.

— Мы очень рады, что французский король так скоро дает нам возможность видеть его светлые очи,— ответил Потемкин.— Где мы будем счастливы видеть великого государя?

— Обыкновенно король принимает послов в Лувре, но там теперь идут работы и прием будет в Сен-Жермене. Королевский посланный приехал договориться относительно порядка представления.

Начались долгие переговоры. Прежде всего Потемкин и Румянцев требовали, чтобы Берлиз выяснил, как будут титуловать московского государя, и когда узнали, что королевские министры решили называть его «великим князем Московии», то Потемкин воскликнул:

— Скорее я дам отрубить себе голову, чем соглашусь на это! Никогда ни в одном государстве этого не делалось!

После этого он потребовал, чтобы Тишайшего называли «его величеством царем и великим князем всея Великия и Малыя России».

— Зане титло царское преемственно идет через государей византийских от римских цезарей,— пояснил Румянцев.

Берлиз на это объяснение тонко улыбнулся, но не возражал и обещал донести об этом министрам, успокоив русских словами, что, по всей вероятности, никаких препятствий к этому не встретится.

Затем речь пошла относительно обстановки приема. Берлиз сказал, что русских решено принять «малым приемом», как принимают при французском дворе посольства полумогущественных герцогов и тому подобное.

Потемкин даже побагровел от такого оскорбления.

— При дворе кесаря Священной Римской империи царское посольство принимают «большим чином», — возразил он, — и негоже нам соглашаться на «малый чин», так как титул царское не ниже титула королевского.

Были разобраны еще некоторые мелкие вопросы, в которых посланники обнаружили ту же твердость.

Берлиз уехал от них вечером и поздно ночью вернулся с ответом, что король и министры согласны на требования московских посланников.

— Все складывается хорошо, Семен, — радостно потирая руки, сказал Потемкин Румянцеву. — В Посольском приказе нами довольны будут.

Румянцев и сам радовался этому, и на этот раз их взаимный антагонизм, ввиду преследования общей цели, исчез и уступил место полному согласию во взаимных действиях.

Ввиду вышеприведенных обстоятельств замысел о ночной экспедиции Яглина и Баптиста не мог быть выполнен, и Роман Андреевич лег спать со стесненным сердцем. Ворочаясь на своей постели, он не раз ругнул поспешность французских министров, так скоро решивших вопрос об аудиенции для царского посольства.

Между тем посланники, тоже поздно легшие, радовались этому.

«Никакой волокиты здесь, слава богу, нет. Только бы помог Господь все окончить благополучно, а там и на Москву поедем. Охо-хо-хо!.. Москва златоверхая!.. И когда-то тебя, матушка, увижу? — думал Потемкин, утопая в мягких пуховиках своей постели, которые он вывез с собою из Москвы. — Хоть бы во сне, что ли, увидеть тебя, родная... и то хорошо бы!..»

Но Москву в эту ночь увидеть ему не удалось, а увидел он страшный сон. Ему приснилось, что его с Румянцевым ведут по целому ряду больших золоченых комнат. Наконец их привели в самую большую. В переднем углу под большим, алого бархата балдахинном сидит какой-то человек в немецком платье и держит в руках скипетр и державное яблоко.

Приведшие Потемкина сказали посланнику:

— Пади ниц и поклонись: это — наш король!..

Потемкин на это ответил:

— Падать ниц пристойно только пред Христом и Его Богородицей, а пред человеком грешно...

Тогда человек, сидевший на престоле, вдруг закричал страшным голосом:

— Если пред королем не хочешь, то пред Папежем Римским ты поклонись и падешь.

И увидел Потемкин, что на престоле сидит уже не король, а сам Папа Римский в тройной короне и красных туфлях и белом платье.

— Пади ниц и поклонись! — зашептали опять кругом Потемкину.— Это — сам Папа Римский.

Потемкин опять ответил:

— Я не римской веры и потому Папежу Римскому кланяться не буду.

Папеж тогда заговорил:

— Ну, если и Папежу не хочешь кланяться, то вот этому человеку поклонись.

И увидел Потемкин, что вместо Папы на престоле сидит Румянцев Семен и, оскалив от усмешки свои зубы, говорит:

— А вот мне поклонись, Петр Иванович! А вот мне поклонись!..

— Ну, уж это ты врешь, Семен! — рассердился Потемкин.— Коли королю да Папежу Римскому я не поклонился, так тебе и подавно не буду...

— А я, как на Москву вернемся, в Посольском приказе наговорю на тебя, что ты за рубежом имени царева не держал страшно и грозно. За это либо ты в опалу попадешь, либо тебе на Лобном месте голову отрубят. И поскачет твоя голова по ступенькам, как капустный кочан. Хочешь этого?

— Отстань! — с досадой отмахнулся от него Потемкин.— Не можешь ты это сказать: я государево имя честно и грозно держу.

— А я крест целовать на том буду, что ты на государево имя поруху сделал,— продолжал издеваться Румянцев.— Вот ты и отвертись. А хочешь, я тебя съем, Петр Иванович? — вдруг переменял он разговор и, сбежав с престола, впился в горло Потемкину.

Петр Иванович со страха вскрикнул и проснулся, весь потный.

— И приснится же такое, прости, Господи! — с досадой прошептал он и, перекрестившись, повернулся на другой бок.

Четвертого сентября, в восемь часов утра, к помещению посольства приехали верхами маршал Беллефон с кавалеристами в парадных мундирах. За ними подъехали шесть золоченых карет для членов посольства.

В посольстве все чуть свет были уже на ногах. Посланники оделись в свои лучшие кафтаны из золотой парчи, поверх которых надели шубы из дорогих мехов и высокие горлатные шапки из темно-бурых лисиц с плюмажами, прикрепленными драгоценными камнями. Затем Потемкин осмотрел всех остальных членов посольства и заставил каждого прорепетировать свою роль согласно установленному с Берлизом порядку церемонии. Посланники, подьячие, переводчики и слуги, несшие подарки для короля, сели в золоченые кареты; остальные следовали верхом.

Кортеж, по словам историка этого посольства Луи Батифоля, был живописен, благодаря богатым азиатским костюмам, но любопытных опять собралось мало. Однако Потемкин воздержался на этот раз от раздражения и не сделал никаких замечаний.

Когда посольство приехало в Сен-Жермен, то посланники увидели, что по дороге к замку расставлена шпалерами, в три ряда, французская гвардия. Копьеносцы в стальных кирасах и шлемах имели в правых руках бердыши, а левые были положены на эфес шпаг. Выставив правые ноги вперед, они, загорелые и усатые, имели очень внушительный вид. Далее стояли мушкетеры с пищалями, горизонтально закинутыми на левое плечо. В своих синих с красным мундирах они казались воинственными. При появлении посольства забили барабаны и заиграли флейты.

Кортеж остановился во дворе, где находились кухни. Когда посланники вышли из экипажей, их повели в апартаменты первого камергера короля и губернатора Сен-Жермена графа де Люда, который встретил их, окруженный пажами. Здесь русские стали приводить в порядок свои туалеты.

Сильно билось сердце Потемкина, когда составлялась процессия, над чем хлопотали Румянцев с Яглиным и подьячим.

«Что-то даст Бог?» — думалось ему, когда он надевал на голову свою великолепную высокую шапку с плюмажем.

Наконец, когда порядок был установлен, процессия двинулась вперед, во внутренние комнаты дворца, где их должен был

принять Людовик XIV. Впереди шел один из дворян свиты посланников, неся в руках дамасскую саблю, украшенную драгоценными камнями и предназначенную в подарок королю. За ним — младший подьячий, за которыми следовали пятнадцать слуг, несших подарки: сабли, украшенные бирюзой и яшмой, шкуры соболей и бобров, меха черно-бурой лисицы и горноста, подкладки на шубы из редких мехов, муфты, перчатки из соболя и так далее. Потом шел Прокофьич, торжественно несший на пурпурной тафте письмо царя к королю. Оба посланника, Яглин с Урбановским и Гозеном и еще несколько дворян замыкали шествие.

От апартаментов графа де Люда до собственных покоев короля стояли шпалерами шестьсот гвардейцев в своих живописных парадных мундирах и отдавали шествию честь своим оружием. На ступенях подъезда была расположена личная стража короля, состоявшая из ста швейцарцев. При шествии посольства трубили трубы.

У подъезда шествие встретили двое церемониймейстеров, которые пошли впереди посольства. У самого входа навстречу вышел капитан дежурного гвардейского отряда, маркиз Жевр, который приветствовал посольство и пошел во главе процессии.

«И увидали мы многое тут, что и во сне не видывали, — записал после в своих записках Румянцев. — И зал, зело украшенный, и царедворцев, вельми изодетых, и самого короля».

На троне с голубым балдахинном, с гербами Бурбонов — белыми лилиями — и с золотыми кистями сидел в шляпе Людовик XIV. Направо от него, в кресле пониже, сидел дофин — наследник престола, а слева стоял с обнаженной головой герцог Орлеанский. Вокруг трона стояли придворные.

Потемкин остановился у подножия трона, снял свою шапку и отдал низкий поклон, касаясь рукой земли. Король в свою очередь встал, снял шляпу и сказал:

— Приветствую посольство любезнейшего нашего брата, его величества царя и великого князя Алексея Михайловича.

Затем он надел шляпу и снова сел.

Урбановский перевел слова короля. Потемкин был чрезвычайно доволен, услышав, как король титулуется московского царя. Порухи царскому имени здесь не было. После этого он произнес:

— Наш великий государь, царь московский и великий князь всея Великой и Малой России и многих земель и наро-

дов отчич и обладатель, приказал нам, холопам своим, передать тебе, государю великому, свой братский поклон.— Он низко поклонился королю.— И приказал еще он нам передать тебе, великому государю, свое царское письмо с приветом,— и он взял с подушки письмо.

Один из стоявших около трона церемониймейстеров сделал было два шага по направлению к Потемкину и протянул свою руку к письму, но посланник энергично отстранил его рукою и письма ему не дал.

Когда Урбановский переводил слова Потемкина, король при произнесении царского имени встал и слегка приподнял шляпу, после чего опять сел.

Тогда Потемкин ступил на первую ступеньку трона и с низким поклоном подал письмо королю. Принимая его, Людовик встал с места, снял с руки перчатку, взял письмо, подержал несколько минут в руках и затем отдал одному из придворных, министру Льону. Тот оглядел печать, висевшую на привязанном к письму красном шнуре, затем развернул и подал его обратно Потемкину, а тот Румянцеву, который и стал читать его. Король слушал чтение письма стоя и с непокрытой головой.

В письме указывалось на необходимость поддерживать мир со своими соседями, Швецией и Польшей, и предлагалась дружба французскому королю, которого царь просил каким-нибудь образом повлиять на турецкого султана, чтобы тот не предпринимал опустошительных набегов на русские пределы.

Урбановский переводил содержание письма.

После чтения король встал и спросил:

— Как здоровье любезнейшего нашего брата, его величества царя и великого князя Алексея Михайловича?

— Государь наш, по милости Божией, Пресвятой Богородицы и по молитвам святых угодников, в добром здравии пребывает и того же тебе, брату своему, желает,— ответил посланник и опять подал письмо королю.

Последний, как и прежде, встал с места, снял перчатку, взял письмо и держал его все время, пока длилась аудиенция.

Затем Потемкин подал знак, и началось поднесение подарков. Каждый из несших их подходил к ступеням трона и отдавал королю низкий поклон. Людовик при этом протягивал руку, которую подносящий целовал, и затем передавал подарок подходившему пажу.

Последней была поднесена дамасская сабля с золотой насечкой и в драгоценных ножнах.

— А это, государь, прими мой подарок. Это — самое дорогое, что у меня есть: этой саблей я одержал много побед,— сказал Потемкин, указывая на саблю, и низко поклонился королю.

Последнему это очень понравилось, и он некоторое время рассматривал поднесенную саблю.

Аудиенция была кончена. Посольство низко поклонилось и двинулось из зала, пятясь задом.

На ступенях подъезда посланников ждали носилки, которые доставили их в апартаменты графа де Люда. Опять швейцарцы и гвардейцы отдавали честь и играли трубы.

В апартаментах губернатора Сен-Жермена был приготовлен для посольства парадный завтрак под председательством маршала Беллефона. У Потемкина и Румянцева было весело на сердце от удачно прошедшей аудиенции, и они даже отдали честь прекрасным французским винам.

По окончании завтрака Потемкин встал, сказал речь, полную любезностей по адресу французов, и пожелал здоровья королю, королеве и всему королевскому дому. На это маршал ответил речью и пожелал благополучия царю и всему его семейству.

Около пяти часов вечера русское посольство вернулось к себе. Утомленный впечатлениями дня и пережитыми волнениями Потемкин уснул точно убитый.

Сладкие сны грезилась ему в ту ночь: он видел себя воеводой целой области, перед которым все пресмыкаются и которому все низко кланяются и бьют челом. От удовольствия Потемкин даже засмеялся во сне.

Такие же сны виделись и Румянцеву, который давно мечтал о звании стольника.

Не видали ничего Яглин, так как он почти всю ночь не спал, да еще напившийся на королевском завтраке Прокофьич, храпевший так, что его за три комнаты было слышно.

XI

На другой день Яглин вплоть до вечера был занят работой у посланников. Он даже отчаивался, что и вечером ему не удастся освободиться. Эта мысль гвоздем буравила ему мозг, и он был рассеян в работе.

— Да ты что, Роман? — заметив это, спросил Потемкин. — Совсем не ту грамоту подложил мне.

— Прости, государь, — виновато ответил Яглин. — Нездоровится что-то. Не оправился еще от болезни. И теперь порой как будто голова дурная какая-то делается.

— Да ты бы пошел отдохнул, — произнес посланник. — Тут дела-то не ахти как много осталось. Мы это с Семеном да с Прокофьичем покончим.

— Спасибо, государь, — еле скрывая свою радость, ответил Яглин и, поклонившись, вышел из комнаты. Затем, войдя к себе, он закричал Баптисту, сидевшему у окна и чинившему свой широкий ремень от шпаги: — Идем, Баптист!

— За мною дело не станет, — ответил солдат, перекидывая через плечо португею и пристегивая к ней шпагу.

Яглин надел было свою шапку и двинулся к двери, когда Баптист сказал:

— Что же, неужели вы в этой своей одежде пойдете? — И он указал на русский кафтан, надетый на Яглине. — На вас все на улице обратят внимание. Надевайте лучше это! — И он, сняв со стены свой старый камзол, шаровары и шляпу с отрепанными краями, подал их Яглину.

Последний признал справедливость слов Баптиста и переделся в поданные ему вещи. Затем он пристегнул к поясу шпагу и засунул за пояс нож, и они вышли из дома.

Сумерки быстро надвигались над громадным городом, и когда оба наши знакомца дошли до той улицы, где находился нужный им дом, наступила уже ночь.

— Все-таки еще рано, — сказал Баптист. — Надо немного переждать. А то, видите, здесь прохожие еще попадают.

— А где этот дом? — нетерпеливо спросил Яглин.

— Нет уж, простите, а я раньше времени вам его не укажу. А то вы сейчас же вломитесь в него. Ведь до полуночи еще далеко, а раньше в этот дом нечего и соваться. Пойдемте пока куда-нибудь. А, вспоминаю... тут недалеко есть трактир под вывеской «Серебряный тигр». Пойдемте туда! — И он повел Яглина в другой конец улицы.

Напрасно Роман Андреевич вглядывался во все дома: все они были похожи друг на друга, и Яглин не мог догадаться, который же из них — нужный ему таинственный дом и какая в нем заключается тайна.

— Ты думаешь, Баптист, что там находится она? — дорогой спросил он спутника.

— Ничего верного об этом сказать нельзя, — ответил тот. — Я знаю, что в этом доме находится капитан и Рыжий, а кто еще там — мне неизвестно.

Они дошли до кабака «Серебряный тигр». День был праздничный, и в кабаке толпилось много народа, так что они с трудом нашли себе место. Они потребовали вина и стали молча пить его, посматривая на разношерстную толпу.

— Ах, черт возьми! — тихо воскликнул Баптист, устремляя взор на дверь. — Рыжий тут, — указал он глазами на высокого солдата с рыжей бородой и головой, входившего в трактир. — Как бы он не увидал меня! — И Баптист низко наклонился над своей кружкой с вином, чтобы Рыжий не узнал его. — Ну, теперь ждать нечего, — произнес он затем. — Рыжий здесь засядет надолго. Там одним человеком будет меньше. Пойдемте скорее! — И он встал из-за стола, быстро вышел из кабака.

Яглин бросил деньги на стол и последовал за ним.

Через несколько минут они остановились у каменного домика с небольшой решеткой и темными окнами, через которые ничего не было видно.

— Что же будем теперь делать? — произнес в раздумье Баптист, вопросительно взглянув на молодого русского.

— Что? А вот что!.. — ответил последний и, подойдя к решетке и ухватившись за верхний край ее, перескочил на другую сторону.

— Святой Денис! Ах, эти москвиты!.. Какие отчаянные! — голосом, в котором слышались и удивление и ужас, воскликнул солдат, однако, не долго думая, сам последовал примеру Яглина.

Они очутились на небольшом дворе, в котором стояло два здания. Одно из них было большое, с окнами на двор, другое поменьше, без окон, и стояло в глубине двора.

— Ну и что же дальше? — шепотом спросил Баптист, пробуя, на всякий случай, легко ли вынимается его шпага.

Яглин и сам хорошенько не знал, что же делать дальше, и, подумав, ответил:

— Во всяком случае, нужно осмотреть эти здания.

— Осмотреть так осмотреть, — согласился Баптист.

Они подошли к большому зданию, отыскали в нем дверь, и Баптист тихо нажал ее. Но дверь не подавалась. Тогда Баптист приложил ухо к ней и услышал внутри как будто неясные удары маленьким молоточком по какому-то металлическому предмету.

— Там есть кто-то,— шепотом сказал он.

— Да,— согласился с ним Яглин.

— Постучим и, если кто выйдет, повалим его и свяжем,— предложил солдат, вынимая из кармана взятую дома на всякий случай веревку.

Яглин кивнул головой в знак согласия.

Тогда Баптист громко постучал в дверь рукояткой своей шпаги. Удары молоточка по металлу тотчас прекратились, и изнутри послышался голос:

— Кто там? Это ты, Рыжий?

— Я,— изменяя голос, ответил Баптист.

— Как же ты попал во двор? Постой, я отопру тебе,— произнес тот же голос, и через секунду за дверями послышался звук отодвигаемого засова.— А капитана все еще нет,— продолжал говорить тот же голос.— Должно быть, не найдет подходящего судна, чтобы увезти отсюда свою птичку.

Дверь отворилась, и показалась чья-то фигура со свечой в правой руке.

Баптист одним прыжком очутился около, выбил у нее из руки свечу и повалил на землю.

— Помоги...— закричал было поваленный, но Яглин в ту же минуту сунул ему в рот тряпку, а затем с помощью Баптиста связал его по рукам и по ногам.

Покончив с ним, Баптист поднялся и зажег свечу, а затем, поднеся ее к лицу лежащего на земле связанного человека, воскликнул:

— Вот тебе и раз! Тебя ли я вижу, дружище Жан?.. Вот где пришлось нам встретиться! А я думал было, что мне и не удастся рассчитаться с тобою. Помнишь, как благодаря тебе меня в Байоне чуть было не повесили? Ну, я тогда же поклялся, что ты не минуешь моих рук за ту скверную историю, а вот теперь и пришлось нам встретиться. Что же, посчитаемся, старый приятель.

Лицо лежащего на земле человека выражало ужас. Он уже чувствовал на себе дуновение смерти. Сделав усилие, он попытался освободиться от связывавших его веревок, но без успеха.

— Не ворочайся, не ворочайся, приятель! — произнес Баптист.— Все равно это ни к чему не приведет.

Между тем Яглин уже успел проникнуть во внутренние комнаты и осмотрел там все. Но ничего подозрительного там не оказалось. Видно было, что это помещение было занято только временно.

— Ты что хочешь сделать с ним? — спросил он, вернувшись в ту комнату, где оставались Баптист и связанный человек, и видя, что солдат делает какие-то приготовления.

— Да вот хочу посчитаться с этим старым приятелем, — ответил тот. — Если судьба так удачно привела меня к встрече с ним, то не надо упускать удобный случай.

— Оставь пока, — сказал Яглин. — Он от нас не убежит. Пойдем сначала осмотрим тот дом.

Они оба вышли на двор и направились к одиноко стоявшему в глубине последнего деревянному зданию. К их удивлению, дверь в это здание не была заперта; они вошли в какое-то темное помещение, стали шарить руками в темноте и вскоре напали на какую-то дверь. Но, несмотря на их усилия открыть ее, она не поддавалась.

Вдруг за дверью раздался чей-то тихий, полусдавленный крик. Оба прищельца насторожились.

— Кто там? — раздался затем из-за двери чей-то женский голос.

Горячая волна прилила к сердцу Яглина. Он узнал этот знакомый, столь дорогой для него голос.

— Элеонора!.. — крикнул он, надавливая плечом дверь, которая уже начала трещать. — Это я!..

За дверями раздался радостный крик.

— Я ведь нюхом чувствовал, что она должна быть здесь! — в радостном возбуждении произнес Баптист и тоже налег на дверь.

— Спасите меня! Спасите!.. — кричала за дверью Элеонора. Дверь трещала.

Вдруг на дворе послышался крик нескольких голосов, замелькали огни.

— Ах, черт возьми! Попались! — в отчаянии вскрикнул Баптист и схватил за руку Яглина. — Бежим!..

— Ни за что! — воскликнул Роман, обнажая оружие.

— Да вы с ума, что ли, на самом деле сошли? — рассердился солдат. — Не удалось сегодня, так пойдем завтра к властям и заявим им...

— Бегите!.. Бегите!.. — крикнула им Элеонора. — Они вас убьют!..

— Я не могу расстаться с вами! — возразил Яглин.

— Ради вашей любви ко мне — бегите!..

Баптист схватил Яглина за руку и увлек его на двор. Это было сделано как раз вовремя, так как к ним уже бежали несколько человек с факелами и с оружием в руках.

— Вот они! — закричал кто-то, размахивая шпагой и бросаясь им наперерез.

Яглин узнал голос: это был Гастон де Вигонь. Последний бросился на молодого русского и чуть было не нанес ему удар шпагой, но его удачно отпарировал Баптист.

— Бежим скорее! — крикнул последний.

Оба молодых человека устремились к ограде, которую перескочили без затруднений.

— А теперь направо! — вполголоса сказал Баптист. — Я тут знаю такие переулки, что никто нас не найдет...

И оба они исчезли в ночной тьме.

Преследующие остановились перед оградой и, видимо, не решались гнаться за ними дальше, боясь, по всей вероятности, произвести переполох на улице.

XII

Через полчаса бегства Яглин и Баптист остановились. Они оба страшно устали и еле держались на ногах.

— Давайте присядем, — предложил солдат, указывая на ступени крыльца, — и будем держать военный совет.

Они оба сели.

Злость и бешенство душили Яглина за неудачу, которая постигла их. Баптист как будто угадал, что делается в душе молодого русского. Он положил свою руку на его и произнес:

— Отчаиваться нечего. Право, было бы хуже, если бы мы вздумали драться с этими разбойниками. Вышло бы только то, что они нас прикололи бы, а ваша красotka по-прежнему осталась бы в их власти.

— Но что же теперь делать? — в отчаянии воскликнул Яглин. — Я готов сейчас же опять вернуться туда и или умереть, или освободить ее...

— И выйдет только первое. А что из того пользы? Нет, больше ничего не остается, как завтра же рано утром идти к властям и заявить им обо всем. Они тогда произведут обыск и освободят вашу Элеонору. Другого исхода нет.

— Но каким образом она попала в руки этих негодяев? — задал вопрос Яглин.

— Кто это знает? Вот освободим ее, тогда вы все узнаете. Однако нам пора идти. По правде сказать, я ни в одном сражении так не боялся за свою жизнь, как сегодня.

Они пошли домой.

Несмотря на то что Яглин был крайне измучен всем происшедшим этой ночью, он заснул только под утро.

На другое утро Романа Андреевича разбудили. Он открыл глаза: пред ним стоял Прокофьич.

— Вставай, Романушка, скорее: посланник тебя зачем-то зовет,— сказал он.

Яглин тотчас же вскочил, и сразу же происшедшее вчера пришло ему на память. Он взглянул в угол комнаты, где спал Баптист: последний еще не проснулся. Роман некоторое время колебался, что ему делать. Идти к посланнику — значило терять время, а тогда негодяи могли упрятать Элеонору в другое место. Но и не идти на зов посланника нельзя. Он решил идти наверх, но отделаться как можно скорее.

Потемкин продержал его очень долго, так как работы всем в посольстве было немало, ввиду того, что через день-два предстояли деловые переговоры с французскими министрами относительно миссии посольства.

Когда часть дела была приведена в порядок, Яглин сошел к себе. Баптист еще спал. Роман насилу разбудил его, и когда тот пришел в себя, то все еще не мог сразу понять, чего от него хочет молодой русский. Когда же он все сообразил и вспомнил, то заторопился, и вскоре оба они вышли за ворота.

— Надобно идти к начальнику городской стражи и рассказать ему все,— решил солдат.

К начальнику городской стражи их не скоро допустили. Когда же они увидали его и Яглин рассказал ему, что какие-то негодяи похитили и насильно держат в заточении молодую девушку, то он с сомнением покачал головой. Вернее говоря, в рассказе Яглина он не видал ничего удивительного, так как хроника тогдашнего времени изобиловала подобными происшествиями. Но ему не хотелось сознаваться в этом перед чужеземцем.

— Едва ли это так,— сказал он.— Во владениях нашего короля таких происшествий не бывает. Это возможно в каких-нибудь азиатских странах, но не у нас.

Впрочем, в конце концов он согласился дать троих стражников, с которыми Яглин и Баптист отправились на знакомую улицу.

На их стук вышла какая-то кривая старуха и тотчас же начала ворчать, зачем попусту тревожат добрых людей.

— Про какую молодую девушку вы говорите? — сказала она.— Здесь никакой молодой девушки не было, и никто здесь, за исключением меня со стариком, не живет. Что было вчера?

Да ничего не было. Вы были? На вас напали? Пресвятая Мария! В первый раз слышу это! Мы со стариком спокойно спали эту ночь, и никто никого здесь и не думал убивать. Быть может, вы были пьяны и вам все это померещилось или вы во сне это видели?

Однако Яглин настоял, чтобы стражники обыскали весь дом. Он узнал обстановку большого дома, однако там никого, кроме дряхлого старика, не было. Затем перешли в одинокий дом, но он оказался пустым.

— Видите, никого нет,— с усмешкой сказал старший из стражников.

Роману и Баптисту пришлось уйти ни с чем, что они и сделали, провожаемые ироническими взглядами стражников и ворчаньем старухи. «Птичка» исчезла...

XIII

Через три дня русское посольство снова отправилось в Сен-Жермен. На этот раз цель визита была чисто деловая: предстояли переговоры с министрами Людовика XIV относительно торговых договоров, которые хотел заключить московский царь с французским королем.

Короля посланники видели не более двух минут и без всякой пышной церемонии, а затем прошли в зал совета. Здесь их ожидали Льон, министр иностранных дел, и Кольбер, министр финансов.

Посланники и министры обменялись взаимными приветствиями и сели вокруг стола. Первый заговорил Кольбер:

— Наш король прочитал письмо, которое прислал ему ваш царь. Чего же еще хотят посланники царя?

— Прежде всего установить дружественные отношения и братскую дружбу между нашим царством и вашим,— сказал Потемкин.— А для этого следует вашему королю и вам, его советникам, послать посольство в наше царство, и будет оно там с почетом принято.

— Мы доложим об этом нашему королю,— сказал полный и одутловатый Льон.

— А затем следует нам и вам завести промеж себя торговые дела,— сказал дальше Потемкин.

— Какое же облегчение вы сделаете нашим купцам, если они отправятся в ваше царство? — спросил Кольбер.— И есть ли у вас торговая регламентация?

— Распорядка торгового у нас нет, и делать его с вами не заказано,— ответил Потемкин.

— Так какую же торговлю можно с вами вести? — возразил Кольбер.— Какие товары можно у вас купить, какие к вам переслать и в какой порт?

— В Архангельске ваши купцы могут все покупать и продавать, уплатив пошлину,— ответил Потемкин.

В дальнейших переговорах французские министры говорили, что все, что предлагает русское посольство, так неясно, что требует определенных положений.

— Напишите о своих предложениях. Мы их рассмотрим, обсудим и дадим вам ответ,— сказал Кольбер.

— Не дано нам такого права,— осторожно ответил Потемкин.— А должно вашему посольству отправиться на Москву, а вам доверить ему определить и назначить условия.

Потемкин недаром настаивал на том, чтобы было отправлено в Москву французское посольство, так как у себя дома русские могли торговаться с иноземцами из-за каждой мелкой статьи до бесконечности, что здесь они сделать не могли. В этом сказывалась целая система.

— Мы потому желали бы скорее получить от вас какие-либо положительные предложения,— сказали министры,— что наш король скоро отправится в Шамбор.

— Если так, то пусть ваш король напишет нашему царю ответное письмо,— сказал Потемкин.— И титул царское выпишите вы все, полностью, не спутывайте его. И дайте мне его загодя посмотреть, нет ли ошибок.

Льон обещал Потемкину исполнить его просьбу, а Кольбер еще сказал, что ему будет возвращена вся сумма, которую он уплатил байонской таможне.

Этим закончился первый деловой разговор русского посольства с французским правительством. Затем опять был подан, как и в первый день, хороший завтрак, и русские отбыли, причем французская гвардия опять отдавала им честь.

XIV

С Яглиным сделалось что-то страшное: он как будто окаменел. Ему ничего не хотелось, ничего не было жалко. Образ Элеоноры порой мелькал в его воображении точно виденный много лет тому назад во сне. На душе ощущалась какая-то пустота. Им овладела апатия.

— Романушка, что с тобою, дорогой? — спросил Прокофьич, видя, что Яглин не отвечает на дважды заданный ему вопрос.— Болен ты, что ли, опять?

— Нет, ничего,— неохотно ответил Яглин, очнувшись как бы от сна.

— Так что же ты?

— Ничего,— опять так же апатично ответил Яглин.

— Али по Москве соскучился?

— Да... соскучился...— не сознавая сам, что он говорит, ответил Яглин.

— Это ты, братец, верно,— согласился подьячий.— Коли бы не служба царская, так, кажись, никогда не поехал бы в эти басурманские страны. И я страсть как соскучился по Москве! И когда только отделаемся мы от этих нехристей, чтобы им пусто было!..

— Разве тебе, Прокофьич, скучно здесь? — спросил Яглин.— Ведь, кажись, Париж — город веселый, хороший, лучше нашей Москвы будет.

— Ну, уж сказал! — недовольно ответил Прокофьич.— Разве можно сменять Москву на какой-нибудь другой город? Там у нас одни храмы Божии — загляденье, от звона колокольного воздух стоном стонет. А здесь что? Ничего такого нет. А что жрут здесь? Ни поросеночка тебе в сметане, ни гуся с кашей, ни бараньего бока с печенкой, ни пирогов с белугой, ни квасу никакого — ничего!.. Хоть с голоду подыхай. Как тут не пожалеть о матушке-Москве,— чуть не со слезами в голосе закончил он.— А все же будет тебе никнуть-то головой! Пойдем-ка лучше с посланниками город посмотреть. Авось свою тоску избу-дешь...

— И в самом деле, пойдем!

Весь этот день посольство посвятило осмотру Парижа.

Через день они отправились в экипажах осматривать Венский замок, а на обратном пути — Тюильри. Потемкин очень мало говорил о виденном, не желая попасть впросак своим мнением о вещах, которые он мало знал.

После того посетили фабрику гобеленов, где Лебрэн показывал и свою мастерскую, в которой он набрасывал сюжеты, особенно нравившиеся в ту эпоху, то есть похождения богов, пасторали, любовные сцены и тому подобное. Потемкин смотрел на рисунки сдержанно; Румянцев целомудренно отворачивался, и лишь один Прокофьич чуть не облизывался, глядя на рискованные сюжеты, причем то и дело подталкивал Яглина.

— Гляди-кось, Романушка, как этот лебедь на женку-то на-скочил!.. А этот пастух как девку-то облапил, а мальчонка с крылышками стрелу в них пускает. Ах, греховодники!.. Как хорошо все это они изображают!..

Оттуда посольство направилось в Лувр и между прочим осмотрело королевские кладовые, где хранилась мебель короля, которой французы хотели похвастаться.

Потемкин холодно выслушал эту похвальбу и произнес: «У его величества нашего государя есть много таких же хороших вещей», — и пошел дальше.

Пятнадцатого августа отправились в Версаль, где любовались колоссальным дворцом, выстроенным Людовиком XIV. Русских приводили в восхищение тянувшиеся на громадное расстояние фронтоны дворца с бесчисленными окнами между громадными колоннами и бюстами под высокими мансардными крышами. Всех поразила великолепная лестница, ведущая в залы верхнего этажа. Но более всего привели в восхищение Зеркальная галерея, где Лебрен увековечил деяния Людовика XIV, и сады, где группы деревьев, прямолинейных аллей и дорожек были не чем иным, как продолжением дворца, зеленой архитектурой, подражавшей каменной и дополнявшей ее. Этот сад был созданием гениального Ленотра и послужил образцом для устройства резиденций всех владетельных лиц той эпохи.

«А на конюшнях у короля стоят до тыщ лошадей хороших, и арабских, и перских, и турецких, — записал в своих заметках Румянцев. — А в сараях двести карет золоченых. И тысяча двести слуг, и восемьдесят красивых юношей, все в бархате и шелке, ходят за королем. Роскошь зело изрядная».

На обратном пути из Версаля посольство возвращалось через Сен-Клу, где остановилось в замке герцога Орлеанского и любовалось на фонтаны.

На следующий день посетили французскую Комедию, где труппа квартала Маре дала для них два представления.

Между тем за всеми этими удовольствиями не позабылось и дело. В скором времени Берлиз привез посланнику проект коммерческого регламента, составленного Кольбером и состоявшего из пятнадцати статей. В этом регламенте, после обещаний «союза и соглашения, совершенного единомыслия, братской любви и согласия», говорилось далее об обеспечении купцам обеих стран свободы въезжать и находиться в данном государстве, покупать и продавать, подчиняться общему праву,

строить, нанимать, быть судимым консулами своей нации, а также исполнять религиозные обряды по своей вере. При этом Кольбер настаивал, чтобы французские купцы платили половинную, против англичан, пошлину.

— Нам не дано права заключать какие-либо договоры, а о сем надлежит вам послать к нашему государю вашего посланника,— ответил на это Потемкин.

На следующий день к Потемкину, по приглашению Кольбера, явилось много купцов; они стали спрашивать посланников: какой товар можно посылать в Москву и в какой порт. Говорили об Архангельске, что там лед стоит целые полгода.

Потемкин не согласился на провоз водки и табака и указал на белое и красное вино, различные материи и подобное. Относительно же вывоза из Москвы он указал на меха, кожу, сало и пеньку. Купцы ушли, обещав в следующем году прислать в Архангельск корабль.

XV

Два дня тому назад исчез Баптист. Куда он девался — никто этого не знал. Яглин расспрашивал всех в посольстве, но никто не мог ему ничего сообщить.

— Сбежал, должно быть,— сказал Прокофьич.— Чего ему около нас-то околачиваться? Вольный казак он, ну, не понравилось — и ушел.

Это было очень неприятно Яглину. Он привык к солдату, который тоже, как казалось, привязался и к нему. К тому же Баптист своим видом постоянно напоминал Яглину об исчезнувшей прекрасной «гишпанке».

Роман стал ходить с Прокофьичем по парижским кабачкам, надеясь там встретить солдата. Но последнего там не находил. Тогда Яглин махнул на все рукой и с рвением принялся за посольские дела, стараясь усиленной работой заглушить свою тоску.

Двадцатого сентября Берлиз известил Потемкина, что двадцать третьего король даст русскому посольству прощальную аудиенцию и вручит ответное письмо царю, так как на следующий день он уедет в Шамбор.

Потемкин заволновался.

— Как же это так? — воскликнул он.— Да я же ведь просил королевских советников, чтобы они прежде дали мне на про-

смотри спись¹ с письма. Бог вас знает, что вы там напишете! Быть может, такое, что мне нельзя будет в Москву и глаза показать.

— У нас этого никогда не делается,— ответил Берлиз.— Мы письма отдаем всем посланникам запечатанными и заранее на просмотр не даем.

Потемкин заволновался еще более. В его уме уже вставало представление о «порухе» на великое царево имя, за что его в Москве по головке не погладят.

— Тогда я лучше дам отрубить себе голову, умру с голоду, дам себя разрубить на куски, а к королю вашему на отпуст² не поеду! — в гневе закричал он.

Берлиз встал в тупик перед этой вспышкой гнева.

— Хорошо, я скажу об этом министру,— сказал он и, откланявшись, ушел.

На другой день он принес по поручению Льона латинскую копию письма короля к царю.

Получив в руки этот документ, Потемкин крайне обрадовался. Он поцеловал бумагу и приложил ее к глазам и к голове.

— Подать сюда вина! — распорядился он затем.— Хорошее дело всегда надо весело кончать.— Вино было подано, и Потемкин, разлив его по стаканам, предложил один Берлизу.— За здоровье короля,— возгласил он затем и, выпив вино, ударил о пол стаканом, который разбился вдребезги.— Пусть так разобьются и все враги короля! — воскликнул посланник.— Ну а теперь посмотрим, что там написано. Прочитай-кось, Роман! — обратился он к Яглину.

Молодой человек стал читать и уже с первых слов остановился.

— Ты что же? — спросил посланник.

— Да неладно титло царское поставлено, государь: «царь казанский и астраханский» поставлено после «князя смоленского».

— Как так? Это так нельзя. За это с меня в Посольском приказе спросят.

— Да титла «князя обдорского» нет.

— Воротить!.. Воротить назад письмо! Я это письмо взять не могу,— обратился он к Берлизу.

¹ Спись — копия.

² Отпуст — прощальная аудиенция.

— Да не все ли это равно? — сказал тот. — Ведь от того, что пропущено немного в титуле, величие вашего государя не умалится.

— Не могу!.. Не могу!.. Титло государево должно писать полностью.

Берлиз начал было спорить с ним, но Потемкин продолжал настаивать на исправлении текста, и Берлиз взял обратно письмо, чтобы возвратить его министрам для исправления.

Вечером того же дня Потемкин получил извещение из Сен-Жермена, что латинская копия будет вручена ему вместе с письмом.

— Слава богу! Слава богу! — произнес после этого довольный Потемкин, расхаживая по комнате. — Посольство сошло хорошо. Теперь можно и к дому собираться, Семен, — обратился он к Румянцеву.

— Благодарение Богородице и всем святым угодникам, — отозвался последний. — В Посольском приказе могут остаться вельми довольны нами. И дело сделали, и порухи на имя царево не положили...

Невесело было одному Яглину, один он не радовался возвращению на родину. Здесь, во Франции, он оставлял самое дорогое для себя. Здесь он познал то, чего никогда не знал у себя на родине, а именно любовь прекрасной женщины. Здесь и в нем самом зародилось это прекрасное и могучее чувство, чувство свободной любви. И здесь же, благодаря нелепой и слепой судьбе, он все это потерял навек! Что же дальше ждет его? Возвращение на родину, которая его, привыкшего уже к другим порядкам в чужеземных странах, не манила к себе. Нелюбимая невеста-теремница, грубая, так не похожая на женщин Европы.

— Нет, лучше смерть! — воскликнул Яглин, в отчаянии ломая себе руки.

Утренний рассвет застал его еще не ложившимся в постель.

XVI

Двадцать четвертого сентября к дому, занимаемому русским посольством, опять подъехали сопровождаемые конными гвардейцами золоченые экипажи, чтобы отвезти членов посольства на прощальную аудиенцию французского короля.

В Сен-Жермене их встретили с такою же церемонией, как и в первый раз. При входе во дворец маршал объявил По-

темкину, что король возвращает посольству взятые с него в байонской таможене сто золотых. После этого их провели в тронный зал.

Король сидел, как и в первый раз, на возвышении под балдахинном, окруженный министрами и придворными. Потемкин подошел ближе и, сняв шапку, почтительно поблагодарил короля за все заботы, которыми они были здесь окружены и которые заставят посольство всегда помнить дни, проведенные в его государстве. После этого король встал, снял с головы шляпу и подал Потемкину два письма к царю: одно на французском языке, а другое — в переводе на латинский язык.

— Я очень рад, что вам так понравилось в моей столице, — произнес он затем. — Передайте вашему государю, что его подданные всегда могут найти прибежище в моем государстве и, быть может, будет когда-нибудь время, когда оба наши государства вступят между собою в тесный союз.

Сказав это, он удалился во внутренние апартаменты дворца.

Так закончилась прощальная аудиенция царскому посольству. После этого посольство отправилось, как и в первый раз, завтракать к графу де Люду.

— Прежде всего посмотрим, ладно ли написаны письма к царю, — сказал Потемкин, сев за стол и подавая Яглину оба письма.

Роман взял их и стал внимательно сверять.

— Неладно, государь, — немного погодя сказал он. — В латинской речи титло-то исправлено, как надо быть, а на ихнем языке по-прежнему стоит.

— И «князя обдорского» нет, и «царь казанский и астраханский» после «князя смоленского»?

— Да, по-прежнему.

— Что же это такое? — обращаясь к Беллефону, взволнованно сказал Потемкин. — Я такое письмо взять не могу. Что же это? Все так хорошо шло — и на последях вы такое непотребство сотворили...

— Хорошо, хорошо, — стал успокаивать его Беллефон. — Дайте мне письмо. Я пойду к королю и все устрою. А вы пока позавтракайте.

— Нет, есть я не буду, — ответил раздраженный Потемкин. — Пока письмо не исправите, я к еде не притронусь.

Беллефон взял письмо и пошел в комнаты короля. А русские сидели за накрытым столом и не притрагивались к кушаньям.

Вскоре вернулся Берлиз.

— Король приказал вновь написать письмо,— сказал он,— и поставить все титулы по порядку. Ошибку эту сделал писец, писавший письмо.

— Ну, если так, тогда дело другое,— сказал Потемкин, и посольство стало есть.

Пили и ели много. Произносили речи. Пили за здоровье короля и царя.

Когда завтрак близился к концу, вошел секретарь с переписанным письмом и подал его Потемкину.

— Проверь, Роман,— обратился он к Яглину.

Последний развернул письмо и чуть было не выронил его из рук.

— Государь, такое письмо мы принять не можем,— сказал он.— Это поруха государеву имени.

Оказалось, что письма не переписали, а лишь зачеркнули ошибки, чтобы вписать требуемые титулы и слова «самодержец всея России» пришлись как раз на зачеркнутом месте. Это было прямое оскорбление.

— Я не могу принять такое письмо: это поруха цареву имени! — воскликнул Потемкин.— За это с меня голову снимут.

— Взять письмо и переписать! — сказал секретарю рассерженный Беллефон.

Секретарь чуть не кубарем вылетел из комнаты вместе с письмом.

Завтрак подошел к концу. Когда все вышли из-за стола, Потемкин подошел к Беллефону и сказал:

— Исполать тебе, воевода, что ты так пекся о нас все время! Спасибо! Не погнушайся принять от меня подарок.— С этими словами он снял с себя свою высокую горлатную шапку из дорогого соболя с султаном из драгоценных камней и нахлобучил ее маршалу до самого носа.— Ну, вот, стало быть, ваш народ и наш теперь в братском союзе и приязни находятся,— произнес посланник смеясь.

Пораженный Беллефон оцепенел и долго ничего не мог сказать. Когда же он освободился, от шапки, то рассыпался в благодарностях и, протянув Потемкину свою простую шляпу, просил его принять ее на память о нем.

Через некоторое время принесли новое письмо Людовика Четырнадцатого. Яглин и Урбановский нашли его в порядке, и спустя час, полюбовавшись на королевскую семью, отправляющуюся кататься со своей свитой, посольство поехало восвояси.

Яглин несколько раз вспоминал Баптиста, но напрасно ломал голову над вопросом: куда скрылся солдат?

«Зарвался как-нибудь, и убили его где-нибудь в трущобе», — решил он, а потому чрезвычайно удивился, когда на следующее утро Баптист явился.

— Где ты пропадал? — изумленно воскликнул Роман.

Баптист махнул рукой вместо ответа и затем немного погодя произнес:

— Дайте вина, если есть. С утра не пил и не ел.

Выпив залпом три стакана вина, он лег на постель и тотчас же уснул.

Яглин не будил его. Платье солдата было все в пыли, испачкано и изорвано; лицо похудело, поросло бородой; под глазом виднелся свежий кровавый шрам.

«Где он мог быть?» — раздумывал Яглин и не приходил ни к какому ответу.

Часов через шесть Баптист проснулся и, протирая свои заspanные глаза, оглянулся кругом.

— Теперь ты расскажешь, где ты был? — спросил Яглин.

— Погодите. Дайте сначала справиться со своей головой, припомнить все, а там, может быть, что надумаем.

Какая-то робкая надежда закралась в душу Яглина, но он тотчас же отогнал ее прочь, не желая возбуждать в себе ничего, что могло бы затем повести к разочарованию.

Баптист попросил еще вина и стал пить. Как ни приставал к нему Яглин с расспросами, тот даже не отвечал на них, и Роман скоро отступился от него, тем более что вскоре его позвали к посланнику.

— Ну, Роман, пора и в дорогу! — сказал последний. — Слава богу, все мытарства отмытарили. Послужили царю-батюшке, — пора и о себе подумать! Будет на чужеземщине болтаться, — скоро и Москву златоверхую увидим. Рад ты, поди, Роман?

— Рад, — безучастным тоном ответил Яглин.

— Ну, как, поди, не рад, — продолжал веселым тоном Потемкин. — Ведь там тебя невеста-разлапушка ожидает...

Эти слова больно кольнули в сердце Романа, и он, чтобы не выдать своего волнения, отвернулся в сторону, как бы роясь в каких-то вещах.

— Да, царь не забудет нашей службы, — продолжал Потемкин. — И король тоже, наверно, пожалует нас.

И действительно, Людовик в тот же вечер прислал посольству подарки. Потемкину он подарил портреты во весь рост с себя, королевы и дофина, а остальным членам посольства прислал в подарок ковры, сукно, настенные часы, ружья, пистолеты и шпаги.

— Не забыл он и вас, толмачей,— сказал посланник и передал присланные Людовиком XIV Яглину и Гозену по семисот ливров и Урбановскому — четыреста.

Но полученные деньги не радовали Яглина, и он, равнодушно положив их в карман, спустился к себе, где его ждал Баптист.

Последний в это время успел умыться, почиститься и вообще привести себя в порядок.

— Скажите мне,— произнес он, едва Яглин вошел в комнату,— вы очень любите свою красотку?

— Ты знаешь что-либо о ней? — живо спросил Яглин.

— Да, я недаром провел эти дни, шляясь по окрестностям Парижа.

— Где она? Где? — с нетерпением воскликнул Яглин.

— Скажите прежде всего: вы тоже поедете с посольством к себе на родину? Если да, то вы должны навсегда отказаться от нее.

— Не могу я!.. Не могу!.. — с отчаянием ломая руки, воскликнул Яглин.

— Тогда вам придется оставить ваше посольство, остаться здесь, и мы поедем с вами за вашей Элеонорой. Чем скорее, тем лучше, так как через несколько дней ее увезут в Дьепп, и Гастон де Вигонь уедет с нею на корабле в Новую Францию¹. Выбирайте!

Яглин в тяжелом раздумье опустил голову и несколько минут ничего не говорил.

— Дайте мне подумать,— глухо произнес он затем, поднимаясь с места, и вышел вон.

Солдат с участием посмотрел ему вслед.

Наступила ночь, тяжелая, мрачная. Яглин лежал на своей постели с открытыми глазами и думал свои тяжелые думы. Что делать? Что выбрать? Ехать на родину, в Москву? Там остались старик отец, незаконченное дело мести, не отплаченная врагу гибель невинной сестры. Но зато здесь остается любимая девушка, с которой он впервые увидал свет. Остаться здесь?

¹ Канада.

Сделаться беженцем со своей родины, бояться показаться на Москве? Но зато здесь он, быть может, опять найдет свою милую, а с нею — радость, свет, счастье и любовь. Как быть?.. Что делать? И Роман до боли сжимал себе руками виски.

Наступило утро, и рассвет осветил бледное, измученное лицо Яглина.

— Слушай, Баптист!.. — окликнул он спящего солдата.

Тот открыл глаза и вопросительно взглянул на молодого русского.

— Я решился... я остаюсь... — глухо произнес Яглин.

Любовь победила.

XVIII

Двадцать шестого сентября царское посольство выезжало из Парижа к себе на родину. Все были веселы, так как, пространствовав почти год по чужеземным странам, все сильно соскучились по родине и нетерпеливо рвались к ней. Даже Потемкина и того захватило всеобщее настроение, так что он не обратил внимания на то, что и на этот раз, как и при въезде посольства в Париж, улицы были пустынные и только редкие случайные прохожие смотрели с любопытством на этих «полуазиатов».

— Домой, домой!.. Слава тебе, Господи! — весело говорил Прокофьич. — Не дали Господь и Пресвятая Богородица умереть на чужой стороне. И ты рад, поди, Романушка? — обратился он к Яглину, ехавшему вместе с Баптистом верхами.

— Рад, Прокофьич, рад! — весело ответил Роман.

— А как же, брат Романушка, та-то?.. Гишпанка-то? Забыл разве?..

— Ну, что помнить об этом! — тем же веселым тоном ответил Яглин. — Разве у нас на Москве девок-то мало?

Ночь застала посольство около небольшой деревушки, на берегу реки. День был жаркий, и все утомились во время перехода.

— Пойду купаться, — сказал Яглин Прокофьичу. — Баптист, пойдем со мной!

Они оба ушли на берег речки.

Когда на другой день утром посольство стало сниматься, чтобы двинуться дальше, то подьячий обнаружил, что Яглина и Баптиста нет. Испуганный, он побежал к Потемкину, чтобы рассказать тому об их исчезновении.

— Что за притча? — в недоумении сказал посланник.— Куда же они могли деваться? Не сбежал же Роман-то?

Стали расспрашивать остальных. Трое из челядинцев сказали, что они видели, как вчера Яглин и солдат пошли на реку, но позже не встречали их. Один же вспомнил, что вскоре после того, как они ушли, он услышал чей-то крик с той стороны.

— Уж не потонули ли? — предположил Потемкин и велел осмотреть берег реки.

Пошли искать и через несколько минут нашли на берегу платье Яглина и Баптиста.

— Утонул, сердешный! — завыл Прокофьич о своем друге.

Потемкин опустил голову: его Настасья лишилась своего жениха и обрекалась быть «вековушей», «Христовой невес-той».

Отслужили посольские священники панихиду по «усопшем рабе Романе», и через день посольство двинулось дальше, к себе на родину, в Москву златоверхую.





Часть третья

«ЗАМОРСКИЙ ДОХТУР»

I

Пришедший из Англии корабль бросил якорь в виду Архангельска. Матросы покончили уже с уборкой парусов и занялись в ожидании приставов московского царя переносом на палубу товаров.

Около самого края стоял молодой человек с сильно загорелым лицом и русой бородой, одетый в немецкое платье и черную треугольную шляпу. Рядом с ним находилась молодая женщина с массой роскошных волос на голове и с нежным загаром на лице. Она зябла и куталась в теплый платок: море лишь несколько недель тому назад очистилось ото льда, и пришедший к Архангельску корабль был первый в этом году.

Молодой человек задумчиво глядел на берег, где толпились любопытные горожане. Молодая женщина молча посмотрела на него, а затем тихо дотронулась до его плеча. Он вздрогнул и оглянулся.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— О чем? — переспросил он и, указывая рукою вдаль, на берег, продолжал: — Там — родина. Как-то она примет меня? Ведь я — беглец. За это мне могут снять голову.

— Разве я тебе не говорила этого?

— Да, я знаю. Но жить на чужбине тяжело. К тому же у меня на родине старик отец... неоконченное дело. Ради своего счастья, — при этом молодой человек нежно взял свою спутницу за руку, — я не мог покинуть все это и остаться там, во Франции. Меня вечно за это мучила бы совесть.

— И я сама никогда не простила бы себе того, что ты ради меня оставил свое дело, — сказала женщина.

В это время к ним подошел капитан корабля, высокий белокурый англичанин, и сказал:

— Мистер Аглин, сегодня вы оканчиваете свое водное путешествие и отправляетесь сухопутьем к московским дикарям.

— Да, мистер Джон,— ответил названный Аглиным.— Благодарю вас за все ваши заботы о нас во время путешествия.

— О, зачем об этом говорить! Я сделал все это не даром: вы заплатили за это деньги, мы — квиты. Желаю вам успеха, доктор, при дворе московского деспота. Впрочем, я не завидую вам в этом. Попасть к московскому царю, к турецкому султану, к персидскому шаху — одно и то же: не можешь сегодня поручиться, что завтра будешь иметь голову на плечах. Все они одинаковы, нехристи.

— Но ведь москвиты — христиане,— заметил Аглин.

— Да, но хуже язычников. Варварский народ. Впрочем, говорят, что они рады видеть у себя нашего брата, чужеземца, особенно если он хорошо знает какое-нибудь ремесло! — сказал капитан и отошел в сторону, чтобы отдать какое-то приказание матросам.

Начала надвигаться ночь, а царских приставов все не было. Аглин и молодая женщина сели на кучу канатов и стали смотреть на берег. Что-то там их ждет? Радость и счастье или горе и злоключения? Бог ведает. Даль так туманна, а будущее так темно, что трудно сказать что-либо определенное. Быть может, там давно приготовлена плаха, около которой ходил палач, играя светлым, остро отточенным топором. Вот он, этот чужеземец, кладет свою голову на плаху, а дьяк читает, что «по приказу великого государя, за его предерзостный побег и укрывательство в чужих странах надлежит его смертию казнить». Удар — и голова, отскочив от туловища, прыгает по ступенькам помоста.

При этой мысли Аглин зажмурил глаза и невольно вздрогнул.

— Ты что? — спросила молодая женщина.

— Холодно! — солгал он.— Избаловался я у вас там теплом-то. Теперь надо привыкать к нашим холодам. Смотри не замерзни здесь ты!..

— С тобою? О нет!

Молодой человек тихо прижал спутницу к себе и, вызывающе кивнув головою на берег, мысленно сказал:

«Э, будь что будет! От своего не отступлю... хотя бы пришлось и голову сложить на плахе».



На другой день рано утром подъехали к кораблю на лодках пристава с дьяком во главе, и были предупредительно приняты капитаном.

— За какой такой нуждой приехали в наше государство? И из какой земли? И с каким товаром? И что намерены здесь купить? И нет ли у вас больных моровой язвой людей? И нет ли у вас противу нашей земли порохового зелья и пищалей и иных прочих огнебойных орудий? И есть ли люди, охочие великой государевой пользе послужить? — начал делать через толмача-англичанина дьяк по списку вопросы.

Капитан подробно отвечал на них, а при последнем вопросе указал на Аглина как на желающего отправиться в Москву, чтобы там служить великому русскому государю.

Однако дьяк не обратил внимания на Аглина, а занялся определением размеров пошлин на разные привезенные товары.

Когда последнее было окончено, пошлины уплачены и решено свозить товары на берег, дьяк обратился к Аглину и стал спрашивать его, тоже через толмача: откуда он, какой веры, зачем в Москву едет и какое его занятие?

Аглин ответил:

— Подданный я французского короля, католической веры, дело мое докторское и еду в Москву послужить великому государю, так как наслышан, что его величество жалует искусных докторов.

— Письма рекомендательные имеешь? — спросил дьяк.

— Какие письма? — с удивлением спросил Аглин.

— От короля вашего или от какого другого потентата, кои бы твое искусство подтвердили и тебя хорошим доктором представили!

— В этом я имею свидетельство от коллегии, где я испытание держал и которая меня доктором представила.

— Э, что твое свидетельство и твоя коллегия! Свидетельство ни при чем: захочет наш царь дать докторское свидетельство, так кому хочет даст¹.

¹ Действительно, такие случаи бывали в Московском государстве. Так, при царе Борисе Годунове, в 1601 году, прибыл в Москву с английским послом Ричардом Ли венгерец Христофор Ритлингер, человек опытный, хороший медик и сведущий во многих языках. Он был принят на службу и, не имея докторского диплома, получил его из рук царя Бориса.

Молодой человек на это ничего не ответил. Он хорошо знал, что такие случаи возможны в Московском царстве, где считалось, что царь может делать все.

— Так писем у тебя никаких нет — ни к нашему великому государю, ни к кому из его ближних людей или каким-либо боярам? — продолжал допрашивать дьяк.

— Нет, ни к кому нет, — ответил Аглин. — Я думал, что моей грамоты, выданной коллегией, достаточно, чтобы пользоваться болящих людей в Московском государстве.

— Ну нет, этого мало! Кто тебя знает, что ты за человек? Может быть, какой чернокнижник и врагами нашего великого государя подослан, чтобы его царского величества здоровье испортить или поветрие какое на царство пустить. Или, быть может, ты по звездам читаешь и соединение светил небесных такое соделаешь, что на пагубу православному народу сие сбудется. Уж не проверить ли мне тебя?

— Как же так? — с изумлением произнес Аглин. — Что же вы-то в нашем искусстве знаете? У нас, в немецких, английских и франкских народах, люди несколько лет употребляют, чтобы врачебное искусство изучить, которому вы не обучались.

Это, должно быть, задело дьяка, и он с раздражением ответил:

— В вашем искусстве нет ничего такого, чего бы человеку, в Писании наученному, не знать. Если ты в Писании сам научен, то твое искусство от Бога, а если от дьявола, то от твоего искусства только соблазн и вред народу православному, и потому волен я тебя не пускать в наше государство. А что до моей веры¹ к тебе, то у нас сохранились записи с веры, чиненной в царствование благоверного царя Бориса дохтуру Тимофею Ульсу печатником Василием Щелкаловым и посольским дьяком, и франкскому аптекарю Филиппу Бриоту через дохтура Дия, и аптекарю Госсениуса, и глазного дохтура Богдана Вагнера... И по тем записям я тебе буду веру делать.

Аглин прекрасно видел, что спорить против этого было бы бесполезно, что в случае его нежелания подвергнуться экзамену ничего не понимающего дьяка его попросту не пустили бы в Московское государство и он должен был бы ехать обратно за рубеж.

— Хорошо, — ответил он. — Я согласен на вашу веру и докажу вам свое искусство.

¹ В е р а — проверка, экзамен.

— Если ты эту самую веру как следует выдержишь, то мы выдадим тебе на дорогу опасную грамоту, с которой ты доедешь до Москвы,— сказал дьяк.— И никто в дороге тебе с этой грамотой не может никаких притеснений чинить. А буде пожелаешь на родину возвратиться, то с этой грамотой вплоть до рубежа можешь доехать. А ежели ты на государевой службе преуспеешь, то великий государь может приказать тебе путевые издержки возвратить. Вот если бы ты приехал сюда по приказу великого государя, то я тебе и все деньги на дорогу выдал бы. Вот дохтуру Блументросту великий государь дал из Пскова на его самого, на сына, на двух дочерей, двух девок и еще на одиннадцать мужеска пола двадцать пять подвод для проезда в Москву и поденный корм; а кроме того, выдано поденных путевых денег — дохтуру по шести алтын и четыре деньги в день, детям его — по восьми денег, людям его — по шести денег в день каждому.

Аглин молчал.

Затем дьяк приказал одному из приставов получить следующие таможенные деньги и уехал, сказав Аглину, чтобы тот завтра переезжал на берег и явился к нему.

Когда баркас с русскими служилыми людьми отплыл от берега, Аглин, задумчиво стоя у борта судна, смотрел на берег и не заметил, как к нему сзади тихо подошла молодая женщина и дотронулась до его плеча.

— Ты задумался о чем-то? — спросила она.— Разве есть что неприятное?

— Не стоит думать об этом,— ответил Аглин.— В будущем еще много будет предстоять неприятного. Ну, да мы еще посмотрим!

Молодая женщина крепко пожала ему руку, как бы ободряя его для будущего, которое — они были уверены — будет принадлежать им.

III

На другой день Аглин, съехавший на берег, пришел в земскую избу, где его дожидались воевода и дьяк с целым штатом подьячих. После обычных вопросов, кто он таков, откуда приехал и за каким делом, Аглин, надеявшийся, что ему, быть может, удастся как-нибудь избежать унижительного допроса о его искусстве, предъявил свои грамоты, в которых удостоверялось

лекарское звание, присвоенное ему медицинским факультетом одного из немецких университетов.

Дьяк просмотрел его бумаги, в которых, конечно, ничего не понял, и пошептался о чем-то с воеводой. Тот кивнул в знак согласия головой. Дьяк солидно откашлялся, поправил свой высокий козырь и произнес:

— Сказываешься ты дохтур и грамоты у тебя есть, которые ты от высокой школы¹ получил. А есть ли у тебя книги дохтурские, по которым ты немочи лечишь?

— Книги докторские у меня есть, но они остались у меня дома, и сюда я их с собою не взял,— ответил Аглин.— Да для того, кто свое искусство хорошо знает, никакие книги не нужны, так как у такого человека все его познания в голове имеются.

Подьячий записал слова Аглина.

Дьяк продолжал свой допрос:

— А есть ли у тебя зелья лечебные и разные травы лекарственные? И нет ли между ними таких, от которых человеку может вред приключиться?

— Лекарств с собою я не имею никаких и не взял их, потому что слышал, что у вас, в Москве, имеются две аптеки, в которых можно всякое лекарство получить.

Дьяк посмотрел в лежавший перед ним свиток и продолжал:

— А какие ты немочи знаешь лечить и по чему у человека какову немочь опознаешь? По водам (моче) или по жилам (пульсу).

— Всякие болезни имеются,— ответил Аглин.— Иные по водам можно узнать, иные — по жилам, иные — по языку. И на всякую болезнь своя примета есть.

Получив последний ответ, дьяк зашептал что-то воеводе, после чего последний произнес:

— Кажется нам, что ты, видимо, человек ученый и искусство свое знаешь. Но так как у тебя нет никаких бумаг ни от кого из государей и потентатов к нашему великому государю, то должен я тебя задержать здесь и донести о тебе великому государю в Москву. И если он разрешит тебе въехать в Москву, то выдам тебе охранную грамоту, и ты поезжай с Богом. А ежели великий государь не разрешит, то должен я буду тебя отправить назад за рубеж.

¹ Высокая школа — университет.

Это не обещало ничего хорошего для Аглина, так как он не знал, как отнесутся к этому в Москве и не придется ли ему — чего доброго — ехать обратно¹. Призадуматься было над чем, и он вернулся в удрученном состоянии духа к себе на квартиру, которую занимал в доме одного помора.

— Что-нибудь случилось? — спросила Аглина его спутница.

Аглин рассказал ей обо всем происшедшем, а также и о своих опасениях.

— Если бы мы это знали и если бы был жив отец, то он добыл бы тебе рекомендательную грамоту к московскому царю, — сказала женщина.

— Кто же это мог предвидеть?

Потянулись томительные дни. Чтобы ускорить свое дело, Аглин каждый день ходил в земскую избу и справлялся о том, что сделано относительно его.

— Воевода только что подписал о тебе сказку, — получил он в ответ в первый день.

— Вчера услали гонцов на Москву, — услышал он через неделю.

Этими ответами дело кончилось, так как в остальные дни он получал один и тот же неизменный ответ:

— Ничего нет с Москвы.

Аглин чрезвычайно скучал. Чтобы хотя чем-нибудь разнообразить свои один на другой похожие дни, он вздумал было лечить больных, но когда сказал об этом в земской избе, то дьяк в ужасе замахал на него руками.

— И думать не моги! — воскликнул он. — Что это ты выдумал? Пока из Москвы никакого решения не вышло, тебе и делать ничего нельзя. Сиди смирно да жди у моря погоды. Да и кто у тебя здесь лечиться-то будет?

Действительно, архангельские поморы не стали бы лечиться у иноземного лекаря, тем более что среди них было немало

¹ Бывали случаи, когда иноземные врачи являлись на Москву без приглашения, не заручившись никакими солидными рекомендациями. Не раз их и отсылали обратно. Так, например, в 1624 году в Архангельск приехал голландский врач Дамиус в надежде пристроиться на русской службе. Так как он не имел никаких рекомендаций, то был выслан обратно, несмотря на последующее ходатайство за него принца Оранского. Точно так же в 1627 году прибыл тоже из Голландии доктор Андрей Кауфман в сопровождении жены и аптекаря Кривея. Несмотря на письменное удостоверение об удачной практике в Амстердаме, ему и аптекарю Кривею велено было оставить Московское государство, так как они оба «люди неведомые и свидетельствованных у них грамот и о них ниотколе царскому величеству никакого письма нет».

раскольников, которые вообще считали грехом лечиться чем-либо иным, кроме молитвы; а уж у «басурмана» тем более они не стали бы.

Прошло так три месяца. Чего только не передумал в это время Аглин! И надежда на хорошее будущее, и страх за него — все это периодически он испытывал.

В случае неудачи ему пришлось бы вернуться назад. Назад? Но куда? В Западную Европу? Но у него нет там родины! Там он был совершенно чужой среди французов, англичан, баварцев, саксонцев, падуанцев, генуэзцев и других. Правда, он чувствовал, что по духу эти люди ему ближе, чем грубые, непросвещенные русские. Ему сделались уже дороги их культура, их просвещенная жизнь, столь далекая от московской, он окончательно сроднился с нею. Но все же он чувствовал себя чужим среди них. Его неудержимо влекло к отсталым московским людям, к Москве влекло златоверхой, которую он не раз видел во сне, к раздолью величавой Волги, к широким, беспредельным степям. Его ум был на Западе, сердце же неудержимо влекло в Московское царство — и он не мог дольше противиться последнему.

Но еще более, чем все это, влекло его в Москву дело, ради ускорения которого он столько времени скитался по чужбине. Что там? Живы ли все те, которых он хотел бы увидеть, или померли? Удастся ли ему выполнить свое дело и не раньше ли он сложит свою голову на плахе или окончит свою жизнь в глухих сибирских тундрах? Как знать!

Голова Аглина ломилась от таких дум. Он крепко стискивал виски руками и с глухим стоном принимался ходить из угла в угол по комнате.

Благотворно действовала на него в такие минуты только его спутница.

— Не надо преждевременно печалиться, — говорила она, кладя ему руку на плечо. — Рано еще. Будущее нам не известно. Разве я не погибла однажды для тебя?

Аглин оборачивался и страстно прижимал к своей груди молодую женщину. Они забывались и витали в недавнем прошлом, когда были разлучены друг с другом, как думали они, навсегда, — и все же судьбе угодно было опять соединить их.

Прошло всего пять месяцев со времени вступления Аглина на русскую землю. И вот однажды к дому, занимаемому заморским лекарем, пришел земский ярыжка и сказал:

— Зовет тебя воевода. Из Москвы какая-то про тебя грамота пришла. Поди скорее!

С сильно бьющимся сердцем оделся Аглин и отправился к земской избе. Там он увидел дьяка, рывшегося в каких-то бумагах.

— А, это ты,— встретил тот его, поднимая голову от бумаг.— Пришла и про тебя грамота.

В пять месяцев своего пребывания в Архангельске Аглин «научился», или показывал вид, что научился, русскому языку, хотя его речь и отличалась некоторою ломаностью.

— А что в той грамоте пишут? — с сильно бьющимся сердцем спросил он.

— Ишь ты, молодец, какой прыткий! — засмеялся дьяк.— Царские грамоты сразу не читаются: к ним надо спервоначалу ключ подобрать.

У Аглина даже захолонуло сердце от радости: если бы был неблагоприятный ответ, то дьяк не стал бы так откровенно намекать на посул. Не говоря ни слова, он вынул из кармана своего длинного черного «дохтурского платья» кошель с деньгами и, захватив там, сколько рука взяла, высыпал серебро перед дьяком на стол.

— Вот это ладно! — с удовольствием сказал дьяк, придвигая к себе серебро.— Теперь мы с тобою, мистер Аглин, по душам можем поговорить.— Он вынул из ларца сверток с висящей на красном шнурке печатью Посольского приказа (заменившего тогда нынешнее министерство иностранных дел) и продолжал: — Вот тут указ на имя нашего воеводы, чтобы тебе никаких препятствий не чинить и грамот от тебя дохтурских не отбирать и немедля тебя на Москву отправить. А прогонных денег тебе не давать, и ехать тебе на свой кошт. Что же, у тебя есть какой милостивец, что ли, на Москве, что тебе так повезло?

— Нет, никого нет,— ответил Аглин.

Но дьяк, кажется, не поверил этому и остался при своем мнении.

Радостный возвратился домой Аглин, не зная и сам, почему это в Москве решили его пропустить, когда он даже не имел никаких рекомендательных писем. Через несколько дней он и сопровождавшая его женщина выехали из Архангельска в Москву.

«Что-то там будет? Что-то будет?» — с сильно бьющимся сердцем думал Аглин.

Большинство построек в московском Белом городе принадлежало боярам, которым прежние цари дарили много бывшей тогда пустопорожной земли. Здесь они жили будто в своих вотчинах, настроили усадеб с большими хоромами, садами, массой сельскохозяйственных построек, огородами, прудами, даже ветряными мельницами и пашнями.

Одну из таких усадеб занимал и «собинный друг» царя Алексея Михайловича — Артамон Сергеевич Матвеев.

Несмотря на то что все усадьбы сановных и важных людей того времени устраивались по возможности роскошно, тем не менее покои боярина Артамона Сергеевича возбуждали удивление, даже зависть, многих допущенных даже на Верх¹ бояр.

Покои Матвеева отличались от других столько же роскошью, сколько и удобствами, заимствованными им от иноземцев, чего не вводили в свой обиход другие бояре, приверженцы старины. Потолок его большой горницы, где принимались гости и где у боярина не раз бывал запросто и сам Тишайший царь, были расписаны «зодиями» (знаками зодиака). Правда, если всмотреться внимательнее в эти рисунки, можно было видеть, что у Овна рога были закручены чересчур фантастически, что Дева чрезвычайно смахивала на какую-нибудь толстую Амалию из Немецкой слободы, что сосуд Водолея имел такие ручки, за которые его едва ли было удобно держать, что Рыбы были очень похожи на щук из Москвы-реки, а плечи коромысла Весов были едва ли равны, — но тогдашним московским людям это не бросалось в глаза, и они в один голос хвалили художника-немца, так хитро изобразившего эти небесные чудеса.

Посредине же «зодиев» помещалась вся планетная система с золотым солнцем, испускающим золотые лучи, а вокруг плыли планеты, изображенные в виде тех богов, имена которых эти планеты носили.

Стены покоев, не занятые окнами, были также разрисованы, причем одна стена была заполнена изображениями фантастических зверей и птиц, вроде «грифа», «единорога», «сирин-птицы» и других, а другая, противоположная ей, посвящена была библейским сценам: изгнанию Адама и Евы из рая, столпотворению вавилонскому, принесению в жертву Авраамом Исаака,

¹ В е р х — царский дворец.

продаже Иосифа братьями в плен, премудрому Соломону с царицей Савской, сидящей у его ног, единоборству Давида с Голиафом и другим.

Вдоль стен стояли не лавки, а стулья с высокими резными спинками, с мягкими сиденьями, обтянутыми красным бархатом, с блестящими гвоздиками и небольшими золотыми кисточками. Большой стол был покрыт дорогой тяжелой бархатной скатертью с большими кистями по углам. Кроме него, по углам стояло несколько маленьких, с различными вещами на них. Так, на одном стояли заморские часы, в виде башни, вверху которой находился циферблат. Когда часы начинали бить полдень, то дверки башни отворялись и оттуда выходило четверо воинов в блестящем вооружении; за ними выходило двенадцать апостолов, за которыми следовали также воины; вся эта процессия останавливалась, поворачивалась лицом к зрителям, и в это время невидимая музыка начинала предивно играть какую-то пьесу; по окончании ее все фигурки опять поворачивались и скрывались в башенке.

По стенам были ввинчены бронзовые бра венецианского изготовления с толстыми восковыми свечами разных цветов, обвитыми золотыми и серебряными нитями.

В одном углу стоял шахматный столик с квадратами из венецианской мозаики и с находившимися в коробочке шахматами из слоновой кости с золотыми и серебряными отличиями для обеих сторон.

Не хуже были убраны и другие комнаты Артамона Сергеевича. Особенно выделялась его «собинная комнатка», отвечавшая теперешнему понятию о кабинете. Там вдоль одной стены стоял шкаф из дубового дерева с резными барельефами Солонна, как представителя государственного ума, и Сократа, представителя мудрости, Минервы, с совой у ее ног, и тому подобное. Шкаф был полон книг русских, латинских, немецких, французских, итальянских и английских.

— Обасурманился Артамошка, обасурманился! Бога не боится, душу черту продал! Вот будет на том свете кипеть в смоле горячей, так вспомнит про все свои «зодии» да «ворганы», — говорили его недруги и завидующие ему, а все-таки заходили к нему, чтобы посмотреть на заморские диковинки, послушать рассказы иностранцев, которые никогда не переводились в его доме, поиграть в шахматы.

А то и так просто заходили, чтобы «милостивец Артамон Сергеевич» не забыл их лицо; может быть, это когда-нибудь и

пригодится: ведь Матвеев — уж какой сильный человек! У него вон и царь запросто бывает.

Вот и теперь Тишайший сидел в парадной горнице матвеевского дома и только что отодвинул от себя столик, за которым играл в шахматы со своим «собинным другом».

— Ха-ха-ха!.. — добродушно смеялся царь, потряхивая всем своим дородным телом. — Попался, Сергеич, попался!.. И ты потерпел поражение!

Матвеев, старик с седой бородой и умным лицом, продолжал сидеть и смотреть на доску, где в беспорядке сбились шахматные фигуры, и доискивался причины, почему царь нанес ему поражение.

— Я доволен, весьма доволен! — повторил Тишайший, потирая руки. — Не все же тебе у меня выигрывать, — в кои веки и мне Господь помог победу и одоление на тебя иметь. Чего смотришь? Али свою ошибку выискиваешь? Ну, так вот я тебе ее покажу. — Царь опять пододвинулся к доске. — Ну, вот смотри! — И он расставил снова в порядок шахматы. — Вот если бы ты пошел этим конем, а не ферзью, то мне с моей турой некуда было бы деваться. Я заперт. Ладно. Тогда я своего слона должен был бы вот куда поставить, а королеву сюда. Стрельцами ты меня сгрудил бы — и мне крышка. Верно?

— Верно, государь, верно, — ответил Матвеев.

— И как на тебя, Сергеич, такая поруха нашла — не пойму. Все ты меня одолевал, никогда спуска не давал, а тут и опростоволосился.

— Что же, государь-надежа, и конь о четырех копытах, а спотыкается ведь.

— Это ты верное слово молвил, что спотыкается, — ответил Тишайший. — А с тобою я люблю играть, Сергеич: ты не то, что вон другие бояре, которые все норовят проиграть мне. Нехорошо это. А ты сколько раз обыграешь меня, прежде чем сам впросак попадешься.

Матвеев ничего не ответил на это, так как не в его характере было, пользуясь минутой, делать какой-нибудь вред кому-либо, даже своему злейшему врагу.

Тишайший потянулся в своем мягком кресле и вдруг, охнув, схватился за поясницу.

— Что с тобою, государь? — тревожно спросил Матвеев.

— В поясницу что-то кольнуло, продуло, знать. Вчера забрался я на дворцовую вышку, чтобы полюбоваться Москвой, так там, должно быть, и продуло.

— За лекарем спосылал бы, государь,— за Розенбургом, Энгельгардом или Блюментростом. Осмотрели бы они тебя и какого-либо медикаменту дали,— сказал Матвеев.

— Подожду малость, авось само собой пройдет.

— Ой, смотри, надежда-царь, не запускай хворобы: не было бы чего худого. Вспомни-ка твоего родителя, царя Михаила Федоровича! Запустил он сначала свою болезнь, после за дохтурами спосылал, а ничего не вышло — поздно уже было.

При упоминании о своем родителе царь набожно перекрестился на бывшую в переднем углу божницу и произнес:

— Царство небесное!.. Кабы не та хворость, так доселе родитель жив был бы. А что у него, Сергеич, за болезнь была?

— Почками страдал, государь.

— Ну а что у тебя есть по Аптекарскому приказу? — спросил затем царь.

— Али, государь, хочешь делом позаняться? — спросил Матвеев, всегда довольный, когда Тишайший изъявлял желание работать.

— С тобою, Сергеич, и работа не работа, а одна приятность,— с ласковой улыбкой глядя на своего любимца, ответил царь.

— Ну, ин ладно, я спосылаю сейчас в Аптекарский приказ за бумагами,— сказал Матвеев,— да заодно и твоего любимого меда — малинового — прикажу принести.

Матвеев вышел — и через несколько минут принесли мед, а за ним вскоре и дела из Аптекарского приказа.

— Вот, государь,— сказал Матвеев, вынимая из короба одну бумагу,— челобитная дохтура Келлермана. Едет он обратно к себе на родину и просит тебя, государь, чтобы дал ты ему грамоту о его службишке тебе, дабы «перед братьями своими одному оскорбленному и в позоре не быть, а без получения сей государевой грамоты ему в иных землях объявиться бесчестно».

— Что же, Сергеич, стоит того этот дохтур?

— Стоит, государь: дохтур зело изрядный и в своем искусстве полезный.

— Ну, что же, прикажи выдать. Только возьми с него обещание, чтобы он у себя на родине общения с нами не прерывал и по закупке различных лекарственных снадобий нам помогал.

— Слушаю, государь,— сказал Матвеев. Он порылся еще в бумагах и, вынув какую-то грамоту, подал ее царю, говоря: — А это, государь, вельми пакостное дело — такое, что мне, веда-

ющему Аптекарским приказом, и говорить-то о нем было бы зазорно. Чего доброго, еще скажешь, что я всегда за дохтуров и лекарей заступаюсь, а тут один так провинился, что не знаю, как тебе и доложить.

— Ну, ну, докладывай,— поощрительно сказал царь.— Не все хорошие дела царю знать, а надо ведать, что и дурное в его царстве деется.

— Это про аглицкого дохтура Роланта, государь. Ведет он себя не по достоинству. В рост деньги дает. Ну, да это бы полбеда. А то он у одного немчика, Витгефта Емилия, взял под заклад кубки золотые да и утаил их.

— Сыск чинили? — строго спросил царь.

— Чинили, надежа-царь. Витгефт прав: кубки его. А Ролант в приказе всячески поносил Витгефта и однова даже в приказе грозился убить его. Как повелишь, государь?

Царь призадумался. С одной стороны, он любил иноземцев, от которых видел пользу для своего царства; с другой же — такое вопиющее дело нельзя было оставить без последствий.

— А что, Сергеич, прежде бывали какие похожие дела с дохтурами? — спросил он.

— Бывали, государь,— ответил Матвеев.— При твоём покойном батюшке был уволен со службы дохтур Квирин фон Бромберг за многие проступки. Он бил челом, дабы было дозволено ему все три чина иметь: дохтура, лекаря и аптекаря, потому-де, что ученая степень «дохтура медицины» не имеет никакого значения, ибо ведущий врач имеет в себе все медицинские знания. Да говорил он еще, что-де только простые люди уважают дохтурское звание и что все европейские профессора, кои торгуют этой степенью, над ним смеются. И еще поставил тот Бромберг в самом окне своего дома шкилет человеческий на соблазн в подлом народе. И еще уволен был со службы царской дохтур Валентин Бильс, тоже за многие проступки, а через четыре года после того был уволен дохтур Рейнгард Пау, который хотя и был не однажды посылаем для лечения разных именитых лиц, но ни одного не вылечил.

— За дело,— произнес царь.— Коли берешься за что, так сначала изучи свое дело. Ну, что же, и Роланта вышли вон из нашего царства, а спервоначалу, пока все дело не выяснится, ты его в тюрьму посади.

— Слушаю, государь. А вот это — челобитье воеводы Прозоровского. Пишет он, что у него «ратных людей в полках лечить некому, лекарей нет и многие ратные люди от ран поми-

рают». Надобно еще спосылать лекаря с походной аптекой и в рать, что идет к Перми Великой, и в рать, что калмыцкий поход правит.

— Выбери, если здесь не нужны, и отправь. Да поискуснее кои: потому ратного человека беречь надобно,— положил решение царь.— А что, Сергеич, не устал ты править Аптекарским приказом?

— Твоя на то воля, государь, и твоя служба,— слегка наклоня голову, произнес Матвеев.— Да, кроме того, по душе мне всякое такое дело, где надо с иноземцами сноситься, потому от них многому нашему царству надо научиться. Хотя бы вот взять лечебное дело. Ты погляди, государь, как оно у немцев стоит. Там дохтура, и лекари, и аптекари, допрежь чем иметь право лечить людей, науки врачебные в высоких школах изучают, потом их проверке подвергают, а уж после того дают грамоту, где волен он лечить людей во славу Божию. И лечат те дохтура настоящими лекарствами, кои пользу человеку приносят. А у нас кто лечит? Старые старухи, да ворожцы, да обманщики разные. А чем лечат? Наговорами, с уголька опрыснут, ладаном покурят, да еще что-нибудь в таком же роде. Вот и все их лечение. Вот теперь у нас на Москве немало иноземных дохтуров и лекарей есть и тебя, и твоих ближних бояр лечат. Ну а простой народ? Да по-прежнему у него те же ворожцы да знахари. Ну и мрет он у нас. Скажу тебе, надежа-царь, что я только тогда успокоюсь, когда не только ты и твои ближние люди будут лечиться у дохтуров, а и простой народ.

— Чего бы лучше, коли бы так было, да только не любит московский народ у немцев лечиться: за нехристей он их считает.

— И долго будет их считать, государь, пока у нас своих дохтуров не будет, из наших московских людей. Да и то сказать, и первым-то иноземным лекарям у нас на Москве не сладко было. Приехал один дохтур, Антон Немчин, в Москву в царствование великого князя Ивана Васильевича¹. Великий князь держал его в большой чести, и он лечил многих удачно. И был в то время на Москве татарский царевич Каракачи, сын Дань-яров. Антону Немчину было велено великим князем лечить его. Но то ли лечил он его плохо, то ли болезнь у Каракачи была тяжелая, а только тот татарин помер. И приказал тогда великий князь выдать Антона татаровьям головой, и татаровье, сведши его на Москву-реку, зарезали, как овцу.

¹ Иоанн III.

— Экие страсти! — сочувственно мотнув головою, сказал Тишайший.

— И у второго иноземного врача, мистера Леона Жидовина, участь на Москве была не слаще. Жидовин этот приехал к нам, вместе с другими иноземными мастерами, из Венеции-города с братом великой княгини, жены того же государя Ивана, Андреем, и великокняжескими послами Димитрием и Мануйлом Ралевыми. И заболи комчугою¹ сын великого князя Иоанн Иоаннович. Леону велено было его лечить. И давал тот Леон князю внутренние лекарства и делал горячие припарки из скляниц с горячей водой. Но князь Иоанн все более расхварывался и наконец умер. Великий князь на Леона разгневался и приказал посадить его в тюрьму, а потом отрубить ему голову.

— Видишь, в те поры и государи не верили иноземцам, — сказал Тишайший. — А как же ты хочешь, чтобы простой народ верил им? Нет, подождем, пока у нас будут свои, русские врачи.

— Был и у нас, государь, такой человек, — сказал Матвеев, — при грозном царе Иване Васильевиче. Разгневался он однова на царевича Ивана и начал его бить. Случился тут Годунов Борис. Он хотел заступиться пред царем за царевича. Царь нанес ему раны — и Годунов заболел. Был тогда на Москве пермский торговый человек Строганов. Он залечил Борисовы раны. Царь одобрил его искусство и пожаловал Строганова званием «гостя» и приказал ему отныне писаться с «вичем»².

— Ишь ты! — удивленно сказал царь. — Выходит, и наш русский человек может врачебному искусству научиться.

— Да чего ж не научиться ему, — ответил Матвеев. — Я был бы зело рад, когда кто-нибудь из наших московских людей тому же научился.

— Ну, мы с тобою, Сергеич, едва ли такого вживе увидим, — засмеялся царь. — Разве на том свете об этом услышим.

В это время в дверях горницы показался челядинец.

— Пожалуй, государь, сделай честь откушать у меня, — сказал Матвеев, поднимаясь с места и низко кланяясь.

— Ох, Сергеич, не привык я на сон-то плотно ужинать, — произнес царь. — Да только тебя обижать не охота, — и, подняв-

¹ Ломота в ногах.

² Большая честь для того времени.

шись с места, направился в соседнюю горницу, ту самую, где несколько лет тому назад он встретился с воспитанницей Матвеева, Натальей Кирилловной Нарышкиной, теперешней женой его.

V

На другой день Матвеев рано утром отправился в Аптекарский приказ, головою которого он был¹.

Когда колымага боярина подъехала к приказу, бывшему в Кремле против Чудова монастыря и соборов (где находилось большинство приказов того времени), на крыльцо выбежали дьяк последнего и несколько подьячих.

— Давненько не был ты у нас, боярин,— сказал дьяк.

— Дней пять, кажись, будет, Петрович,— ответил Матвеев, входя на крыльцо приказа, и затем вошел в главную горницу приказа.

Бывшие там подьячие и писцы вскочили со своих мест и низко поклонились голове приказа.

— Добро, добро... Здравствуйте! — произнес Матвеев, отвечая на поклон.— Соскучился я по вас. Недужилось все что-то, а, поди, дел-то у вас накопилось здесь изрядно?

— Есть малость, боярин,— ответил Виниус, дьяк приказа.— Прикажешь начинать?

— Давай, давай их сюда, и прежде всего книгу доходов и расходов по приказу. Посмотрим, какие у нас дела имеются.

Дьяк подал толстую шнуровую книгу, скрепленную большою восковою печатью. Матвеев вынул из кармана очки с большими круглыми стеклами и в маленькой золотой оправе, углубился в рассматривание книги, и, проверив тщательно доходы с расходами, остался доволен результатами и одобрил толковое ведение книги.

— А теперь посмотрим на книгу Аптекарского приказа,— сказал он, и дьяк подал ему требуемую книгу.

Все текущее делопроизводство, а равно все рецепты, как из старой, так и из новой аптек, писанные на латинском, с переводом на русский язык, равно и все документы и докладные

¹ Точное время возникновения Аптекарского приказа не известно, хотя можно думать, что оно относится к началу XVII века, если даже не к концу XVI века.

записки царских врачей, огородников и тому подобное заносились в эту книгу.

Боярин развернул ее и стал читать:

— «Сентября в шестой день отпущено духу винного скляница и то годно мазать по суставам от лому; сентября в восьмой день отпущено пять статей лекарств, а те лекарства годны к ранам и к болячкам; сентября в двадцать шестой день отпущен состав двадцать трех статей, годен ко всяким немощам, в которых немощах лекарства принимаются пропускные, а те немощи именуются кевалея, то есть: как голова гораздо шумит и в ушах шумит, да коли бывают потоки из головы на грудь и от того кашель и удушье, да когда желудок и чрева не чисты и от того зачинают лихорадки, да когда печень и селезенка засорится и от того зарождается цинга, или водяная, или желтая болезнь, и у кого в суставах лом великий».

Перелистав несколько листов назад, Матвеев увидел нечто заинтересовавшее его и погрузился в чтение.

Это была запись о болезни царя Михаила Федоровича, болевшего в 1643 году рожей.

Значилась она под следующим титлом:

«Сказка и вымысел всех дохтуров о болезни именуется рожей».

Далее следовало:

«Первая статья — мазать винным духом с камфорою на день по трижды. А после того принять камени безуя для поту против 12 зерен перцовых в составленной водке, которую для того составили, чтобы реская жаркая кровь разделилась и не стояла бы на одном месте. А после того надобно отворить жильную руду, для того чтобы вывести всякий жар из головы и крови продух дать, а буде крови продуху не дать и та жаркая кровь станет садиться на каком месте нибудь, где природа покажет, и от того бывают пухоты и язвы, а жильную руду мощно отворить, изыскав день добрый...»

VI

Артамон Сергеевич оторвался от книги.

— Эк зачитался-то! — смеясь, сказал он. — Добре у нас книги пишутся, Петрович! — обратился он к дьяку. — Ровно и сам скоро дохтуром али лекарем станешь.

— Да уж чего лучше, боярин, — ответил дьяк.

— Ну а еще что есть из делов?



— Да вот, государь, воеводе князю Прозоровскому надо отправить лекарей, потому пишет, что у него многие ратные люди от ран умирают.

— Да, да, я говорил вчера об этом с государем. Избери, Петрович, двух дохтуров и лекаря, кои помоложе, да пришли их ко мне. А пока снаряди всякие лекарства для них. Да, а Стрешневу отправлен лекарь?

— Отправлен, государь.

— А что с ними отправили?

— А вот это в этой сказке сказано, — сказал дьяк, вынимая из короба бумагу, которую развернул и стал читать: — «А отправлено с ним: сахар розмариновый, масло купоросное, бальзам натуралист, пластырь стиптикум, мазь диалта, масло анисовое, опиум етабаихом, пластырь диакалма, терпентин...»

— А как с патриархом дело? — прервал его Матвеев. — Чего он просил у нас?

— А просил святейший патриарх для мироварения десяти фунтов янтарю доброго. И тот янтарь отпущен.

— А из приказа Большого дворца ничего не было?

— Требовали из того приказа разных специй для водок: корицы, анису и патоки. А для государева мыльного состава потребны снадобья разные, и еще для курений благовонных, и еще для белил на царицыну половину. Да вот, государь, аптекаря новой аптеки жалуются, что у них-де все травы выходят.

— Ну а что же ваши приказные помясы делают?

— Да есть у нас трое: Федька Устинов, Митька Елисеев да Фомка Тимофеев — приказные помясы. Да тои помясы плохо дела делают: государеву делу не радеют, пьют да гуляют, а трав и кореньев привозят помалу.

— Ну, так прогони их и пошли снова иных трех человек помясов добрых в поле для трав и кореньев, — распорядился Матвеев. — А из Сибири тоже ничего нет?

— Посылал я снова указ верхоторскому воеводе, чтобы велел он в селах и деревнях уезда знающим людям разыскивать для лекарственных составов и водок травы и иные вещи и чтобы те травы были запечатаны и опись им сделана, что к какому лекарству годно, и тако доставить в Москву. А вот от якутского воеводы травы при описи поступили.

— А ну-ка чти.

— Наказано было якутскому воеводе всяких людей спрашивать, кто знает лекарственных водяных трав, которые быгодились к болезням в лекарства человекам. И нашел тако-го человека воевода — служилого человека Сеньку Епишева.

И дал ему воевода особую наказную память. И ходил тот Сенька Епишев два года. В первый год Сенька ничего не собрал, так как в те поры лекарственные травы не родились; около Якутска травы те родятся не во все годы: много лекарственных трав, и притом таких, каких нет близ Якутска, родятся по реке Лене и у моря, а это далеко от Якутска. По второй год Епишев Сенька собрал немного трав, и воевода те травы прислал. А по описи гласит то.— И, развернув опись, дьяк стал читать: — «Трава, имя ей — к о л у н, цвет на ней бел, горьковата, растет при водах. А одна эта трава будет у мужеска пола или у женска нутряная застойная болезнь, перелом, моча нейдет или, бывает, томление женскому полу не в меру младенцем; и тое траву давать в окуневой теплой ухе или ином в чем и сухую есть давать. Орешки, имя им — г р у ш и ц ы з е м л я н ы е; а годны, будет сердце болеть от какой от порчи или и собою болит и тоскует; и те орешки есть сырые или топить в горячем вине или в добром уксусе. Корень, имя ему — м а р и н, и годен он будет на ком трясовица; и тот корень навязывать на ворот и держать часть, измяв, для обоняния в носу...»

— Ну, добро,— сказал Матвеев.— Раздели те травы и коренья поровну и отошли в аптеки — старую и новую.

— А вот еще, государь, подлое дело объявилось,— сказал, продолжая докладывать, дьяк.— Лекарь Мишка Тулейшиков в пьяном виде отвесил лекарю Андрешке Харитонову вместо раковых глаз сулемы золотник, а тот дал ее принять в рейнском вине подьячему Юрию Прокофьеву, и тот подьячий умер. Как тут прикажешь делать?

— Нарядить над ним суд из дохтуров, и лекарей, и аптекарей¹. А я государю доложу.

— А еще есть извет доктора Андрея Келлермана на толмача Никиту Вицента,— продолжал докладывать дьяк.— По указу великого государя велено ему, дохтуру, лечить голов московских стрельцов — Семенова, приказу Грибоедова, а Иванова, приказу Лутохина — больных стрельцов, а для толмачества велено с ним, дохтуром Андреем, ездить толмачу Миките Виценту; и он, дохтур, тем больным стрельцам написал роспись, чтобы в новой аптеке лекарства сделали. И те-де лекарства давно готовы, а толмач-де Микита к нему, дохтуру, не ездит больше недели. А тем больным стрельцам ему, дохтуру, лекарств без толмачества давать не мочно.

¹ Аптекарский приказ играл по отношению ко всем подведомственным ему лицам также и роль судебного установления.

— Призвать сюда этого Микиту,— распорядился Матвеев.

По знаку дьяка один из подьячих вышел из избы, и через несколько секунд вошел низенький человек в суконной однорядке, с длинными усами, толмач Никита Вицент.

— Ты это что же, друг любезный? — сердито взглядывая на него, произнес боярин.— До изветов от дохтуров на себя допрыгался? Крестное целование позабыл? Что ты при поступлении на службу обещал? Ну-ка, говори!

Вицент откашлялся и скороговоркой начал:

— Ни его, великого государя, ни его семьи не испортити, и зелья, и коренья лихова, и трав в яству и питье, и во всякие лекарства, и в иное ни во что не положити, и мимо себя никому положити не велети, и с лихим ни с каким умыслом, и с порчею к ним, государем, не приходити, и росписи дохтурские, и аптекарские, и алхимиские, и лекарские, и всякие письма переводити вправду; тако же мне и речи дохтурские, и аптекарские, и алхимиские, и лекарские толмачить и переводить вправду, а лишних речей и слов своим вымыслом в переводе и в толмачестве собою не прибавливать и не убавливать, ни которым делы и некоторою хитростью, и делати во всем вправду, по сему крестному целованию. Так же мне смотрети и беречи того накрепко, чтобы дохтуры, и аптекари, и алхимиcты, и окулисты, и лекари в дохтурские, и в аптекарские, и в алхимиские, и в окулиские, и в лекарские, и во всякие составы, и в иное ни во что никакого злого зелья, и коренья, и трав, и иного ничего нечистого не приложити и не примешати, и к их государскому здоровью не принести лиха, мне и никакого дурно самому не учинити и никому учинити не велети¹.

— Ну? А ты что делаешь, вор? — рассердился на толмача боярин.— Пиши, Петрович: «По указу великого государя сказать толмачу Никите Виценту, буде впредь не учнет по больным с дохтуром ездить или от больных будет челобитье — и его, бив батоги, откинуть»².

Когда дьяк окончил писать, к нему подошел один из подьячих и что-то пошептал ему на ухо:

— Государь,— обратился дьяк к Матвееву,— там дохтура собрались.

— А, хорошо,— произнес Матвеев и, поднявшись с места, пошел в соседнюю комнату.

¹ Подлинные слова присяги толмачей Аптекарского приказа.

² Подлинные слова указа по этому делу.

В соседней горнице собрался чуть ли не весь наличный персонал врачебного дела того времени, подлежащий ведению Аптекарского приказа¹.

Аристократию здесь составляли доктора, под которыми подразумевались собственно врачи-терапевты, лечившие лишь внутренние болезни. Они стояли отдельно ото всех, держали себя до некоторой степени гордо, и по всему было видно, что они считают здесь себя «солью».

Здесь был лейб-медик Тишайшего царя, или его «собинный дохтур», Иоганн Розенбург, доктор Кёнигсбергского университета, бывший лейб-медик шведского короля, явившийся в Россию с репутацией ученого врача и автора нескольких печатных медицинских трудов, доставивших ему почетное имя в современной науке.

С ним стоял и разговаривал доктор Андрей Энгельгардт, воспитанник Лейденского и Кёнигсбергского университетов, явившийся в Россию с рекомендательным письмом от магистрата саксонского города Ашерслебена, где он занимал должность городского врача, и с аттестатом, подписанным всеми врачами города Любека, где он рекомендовался как «славнейший, честнейший и изряднейший врач».

К их разговору прислушивались и изредка вставляли свои замечания доктор Самуил Коллинс, учившийся в Кембриджском и Оксфордском университетах, и Лаврентий Блюментрост, явившийся в Москву со славою известного врача и с блестящими рекомендациями.

От этой кучки докторов к лекарям и аптекарям и даже алхимистам то и дело перебегал юркий, низенький человек. Это был доктор Степан Гаден, по происхождению еврей, он же, как его окрестили русские люди, Данило Ильич.

¹ Мы имеем сведения о персонале лиц, состоявших на службе Аптекарского приказа.

Так, в 1644 году на службе его числилось: 3 доктора, 2 аптекаря, 1 окулист, 2 алхимика, 3 лекаря, 1 часовых дел мастер и 1 переводчик. В 1678—1680 годах: 3 доктора, 1 надзиратель новой аптеки, 4 аптекаря, 2 алхимика, 2 аптекарских дел мастера, 8 лекарей, 8 учеников, 1 огородник и 2 переводчика. В 1692 году: 6 докторов, 7 аптекарей, 4 лекаря, 2 аптекарских помощника, 12 подлекарей, рудометов и цирюльников, 1 костоправ, 1 «чепучинного дела мастер», 1 спиртовой перепущик и затем контингент лекарских и аптекарских учеников и травников.

Отдельной группой стояли лекари, то есть хирурги, строго отличавшиеся от собственно докторов.

Среди них выделялся окруженный другими иностранными и русскими лекарями Сигизмунд Зоммер, впоследствии, подобно Гадену, возведенный царским указом в степень доктора медицины.

Из аптекарей явился только один, из старой царской аптеки, аптекарь Христиан Эглер, около которого толпился низший фармацевтический персонал: алхимики (аптекарские ученики) и помясы.

Из окулистов, бывших в то же время и оптиками, на этот раз никто не явился.

В следующей, соседней горнице собрался низший врачебный персонал: цирюльники («барберы»), кровопускатели («рудометы»), «чечуйники»¹, костоправы, «чепучинные лекаря»², подлекари и часовых дел мастера, почему-то числившиеся в ведении Аптекарского приказа.

— Здравствуйте, государи дохтура и лекари,— кланяясь всем, сказал Матвеев и с некоторыми поздоровался по-европейски за руку.

— Будь здоров и ты, государь,— хором все отвечали ему.

— Собрал я вас сюда, государи мои, по делу зело важному,— продолжал Матвеев, садясь и рукою приглашая докторов и лекарей сесть за круглый стол.— Помогите разобрать его во славу Божию и во здравие и честь великого государя нашего. Чти, Андрей,— обратился Матвеев к Виниусу.

Дьяк развернул грамоту и начал:

— «Сего актомврия шестнадцатого дня у Богородицкого протопопа у Михайла умерла женка скорою смертью, и тое женку осматривали дохтур Лев Личифинус да лекарь Осип Боржо, да стрелецкого приказу подьячий Тимофей Антипин...»

Далее в грамоте говорилось, что хотя расспрос и осмотр ничего подозрительного не дали, но так как врачи не могли сказать, были ли на трупе замечены пятна «моревые язвы» или нет, то «по Государеву Цареву указу протопоп Михайло послан в свой дом, а дьяку Герасиму Дохтурову, и дохтуру Льву, и лекарю Осипу, и подьячему Тимофею Антипину велено быть на своих дворах, до Государеву указу съезжать им со своих дворов никуды не велено, и дьяк Герасим, и дохтур, и лекарь,

¹ Чечуйники — геморройные лекари.

² Чепучинные лекаря — специалисты по мочеполовым болезням.

и подьячий живут на своих дворах и с них не съезжают, и бьют челом Государю, чтобы Государь их пожаловать, велел их освободить».

— Как вы думаете, государи мои? — спросил Матвеев, когда дьяк кончил читать.

— Думаю, боярин, что времени прошло изрядно со дня заблевания протопоповой женки, — сказал, подумав, Блюментрост.

— За такое время всякая зараза могла пропасть, — подтвердил Энгельгардт.

— Так что вы думаете, что тех людей можно освободить? — спросил Матвеев. — И государеву здоровью от того вреда не будет?

— Не будет, боярин: время изрядное прошло¹.

— Ну, ин ладно! На том и покончим! — решил Матвеев. — Пиши, Андрей, «по указу его величества великого государя», — обратился он к дьяку. — Дохтура об этом сказали, с них и ответ спрашиваться будет. А еще какое дело? — спросил он, когда указ был изготовлен.

— А теперь надлежит диштиллатору, Петру Фабрициусу, подписать наказ, — сказал дьяк.

«Диштиллатор» Фабрициус вышел вперед и сделал два поклона — один боярину и другой всем присутствующим.

— Андрей, чти.

Дьяк начал читать наказ, где говорилось, что диштиллатору надлежит быть на главном «аптечном огороде» (который находился на Москве-реке, под кремлевскою стеною), где была устроена особая поварня, в которой мастера ведали «всякое водочное и спиртовое сидение», а равно «всякие травы, цветы, коренья и семена».

Кроме того, под начало Фабрициуса давался целый контингент травников — помясов, огородников, рабочих и учеников. Относительно последних Фабрициусу вменялось в обязанность обучить их «со всяким тщанием и ничего от них не тая» и радеть, чтобы ученики «науке аптекарской, чему он сам умеет, изучились».

¹ Карантин, подобный вышеописанному, в те времена применялся нередко. Врачу, лечившему больного от заразной или подозрительной болезни, запрещалось не только посещать государев двор и аптеку, но и вообще кого бы то ни было. Так же строго было запрещено приходить во дворец, особенно на Постельное крыльцо, в болезнях или из домов, в которых были больные.

Когда «наказ» был прочитан новому диштиллятору, последний подписался под ним, затем принес присягу на верность царской службе.

Когда все было покончено, все доктора и лекари окружили нового коллегу и поздравили его со вступлением на царскую службу, а Матвеев пригласил его и докторов на следующий день к себе на обед.

VIII

Покончив с делами в Аптекарском приказе, Матвеев поехал в аптеки, пригласив с собою Энгельгардта.

В царствование Алексея Михайловича в Москве было две аптеки: старая и новая. Первая из них была учреждена при царе Иване IV Грозном, в 1581 году¹. Новая аптека была основана не ранее второй половины XVII века и была предназначена для вольной продажи лекарственных средств всем желающим².

Матвеев не поехал в старую аптеку, помещавшуюся в Кремле, а отправился в новую. Доехав до нее, он с помощью челядинца вылез из экипажа и пошел по лестнице наверх.

«Могу сказать поистине,— пишет тогдашний современник Шлейзинг,— что я никогда не видел такой превосходной аптеки; фляжки, карафины были из хрусталя шлифованного и крышки в оных и края выложены красивою позолотою».

Матвеев с удовольствием взглянул на высокие шкафы с полками, уставленными флягами и «карафинами», наполненными разноцветными жидкостями спиртов, настоек, «духов»,

¹ Это событие совпадает, по всей вероятности, с прибытием в Москву в 1581 году присланного английскою королевою Елизаветою по просьбе мнительного к своему здоровью царя доктора Роберта Якоба, перекрещенного на Москве в Романа Елизарова, и вместе с ним аптекаря Джемса Френшама, также перекрещенного на Москве в Якова Астафьева. Во все время своего существования эта аптека служила исключительно для потребностей царского двора, и только в начале второй половины XVII столетия стала допускаться продажа из нее лекарств частным лицам. До этого же времени получение их отсюда частными лицами было обставлено большими формальностями: для этого требовалось челобитье на имя царя, на что могли отважиться, конечно, лишь люди служилые и высших чинов.

² Ввиду этого она существовала на коммерческих основаниях и помещалась в одном из близких мест Москвы — Новом гостином дворе. Тем не менее она была подчинена старой аптеке, представляя как бы ее отделение, и вместе с нею состояла в ведении Аптекарского приказа.

водок, банок из фарфора или белого «молочного» стекла, в которых находились всевозможные мази, пластыри и корни, листья и семена, истолченные в порошок. Низы шкафов состояли из ящиков, наполненных различными травами и кореньями, с надписями на них.

Во всю длину большой комнаты аптеки тянулась дубового дерева стойка, посредине которой высился большой стол, вроде нынешней конторки, за которым находился, стоя у весов, один из аптекарей, ведавший приемом росписей-рецептов, делавший и отпускавший лекарства покупателям.

На правом конце стойки была касса (касса), около нее сидел один из целовальников, у которого был особый ящик, где у него хранилась книга сборов, куда заносилась дневная выручка аптеки.

По всей стойке стояли разнообразного вида и величины гири, лежала ценовая книга, по которой продавались лекарства, и книга дежурств, где расписывались дежурные аптекари, бывавшие в аптеке по очереди и остававшиеся в аптеке со второго часа (по восходе солнца) до вечернего благовеста.

Матвеева встретил с поклоном бывший в этот день дежурным Гутменш, который что-то растирал в фарфоровой ступке.

— Здравствуй, здравствуй, мастер Яган,— поздоровался с ним Матвеев.— Как поживаешь, как народ православный моришь?

— Понемногу, боярин,— ответил Гутменш, произнося на немецкий лад русские слова.— В царство Бога новых подданных прибавляем.

— Добро, добро,— продолжая смеяться, сказал Матвеев.— У нашего царя народа много,— ему не жалко поделиться с Богом. Только ты, смотри, грешников мори, а праведников нам оставляй.

Пошутив еще немного с аптекарем, Матвеев занялся текущими делами. Прежде всего он потребовал книгу дежурств. В этот месяц все было исправно: ни один из аптекарей не опоздал и не пропустил дежурства. Зато в прошлом месяце было два случая опоздания и даже пропуска аптекарями своих дежурств, за что за каждый пропущенный день у них вычиталось кормовых денег за два месяца, что и было обозначено в книге дежурств, ежемесячно доставляемой для контроля в старую аптеку.

— Добро,— промолвил Матвеев.— Хорошо, что в государственной семье все тихо, никто — по милости Божией — не хворает. А то, ты знаешь, Яган, что в этих случаях полагается?

— «А буде в царской семье случится болезнь, то им по очереди дневать и ночевать в ней», — ответил Гутменш словами наказа аптекарям.

Затем Матвеев спросил целовальника о денежном состоянии аптеки, которое было довольно значительно (конечно, по условиям того времени) и простиралось до 4000—4500 рублей в год.

— А все ли лекарства у вас есть или нужно каких из-за рубежа выписать? — спросил Матвеев.

— Вышел у нас, боярин, безуй-камень, — ответил Гутменш. — А он иногда нужен бывает, но очень дорог он.

— Составь сказку, — обратился Матвеев к аптекарю, — и подай ее в приказ. Я там распоряджусь, чтобы выписали тебе этот камень безуй.

Затем Матвеев взял в руки ценовую книгу и посмотрел цены на лекарства, отпускаемые в вольную продажу.

— Ну, ин ладно, — произнес Матвеев, покончив с делами новой аптеки. — А теперь можно и по домам — щи хлебать. Пойдем, доктор, со мной, — пригласил он Энгельгардта. — Я тебя хорошим фряжским вином угощу. Мне его наш посланник к французскому королю, Потемкин Петруха, привез в подарок. Доброе винцо!

И, простившись с Гутменшем, Матвеев вышел в сопровождении Энгельгардта на крыльцо аптеки.

Едва перед ним отворили двери, как он увидел входившего на крыльцо молодого человека в немецком платье. Узнав Матвеева, тот остановился и, сняв с головы шляпу, стал поджидать его.

— Али ко мне? — спросил Матвеев.

— К тебе, боярин, — ответил тот, кланяясь боярину и произнося русские слова с легким иностранным акцентом. — Бить тебе челом: принять на царскую службу.

— А ты кто же будешь?

— Я — доктор. Учился медицинской науке в Париже, Падуе и Болонье и теперь приехал сюда, чтобы послужить русскому царю.

Матвеев зорко посмотрел на него. Открытое лицо молодого человека, обрамленное белокурой бородой, с честными голубыми глазами, его мягкая речь понравились ему, и он проникся невольной симпатией к просителю.

— Какого народа будешь? — продолжал он допрашивать молодого иноземца.

— Французскому королю подданный, а по прозвищу Аглин Роман.

— Французскому королю подданный, а по прозвищу Аглин, и лицо-то мало чернявое? Ровно бы как наш московский человек...

Молодой человек немного покраснел и как будто бы смешался, но затем, оправившись, ответил:

— Моя мать была из Англицкой земли.

— Разве что так,— согласился Матвеев.— Моя жена из Скоттской земли¹ сама; тоже белокурая. Ну а грамоты какие с тобой и письма какие с тобой есть?

— Грамоты медицинские есть со мной, а писем никаких нет,— ответил Аглин.

— Как же так? Ведь без писем нельзя принять тебя на службу.

— Назначь, боярин, испытать меня докторов своих, лекарей и аптекарей, и пусть они меня расспросят о моих знаниях, и я им ответ буду держать. А нет у меня писем потому, что я нигде не служил, а бывал в разных городах, в высоких школах и учился у разных известных и прославленных докторов и профессоров. А всего их я прослушал более двадцати.

— Ну, ин ладно,— согласился Матвеев.— Назначу я тебе докторов и лекарей, и пусть они испытывают тебя. Скажут они, что ты свое искусство знаешь, возьмем тебя на царскую службу, а нет — придется тебе назад ехать, откуда приехал.

— Спасибо, боярин,— поблагодарил, кланяясь, Аглин.— Думаю, что не осрамлю себя и буду ответ держать по чести.

— Ну, ин ладно. Да, а в Посольском и Аптекарском приказах был?

— Нет еще, боярин. Мне доктор Самойло Коллинс наперво приказал к тебе показаться.

— А ты завтра зайди в приказы и оставь там все твои грамоты.

— Слушаю, боярин,— ответил Аглин.

Когда Артамон Сергеевич, сев в свой экипаж вместе с Энгельгардтом, возвращался домой, то ему невольно думалось:

«Где это я этого парня видел? Что-то больно лицо у него знакомое. Э, нет, пустое все: где я мог его видеть, когда он — французского короля подданный?»

¹ Шотландия.

Поклонившись Матвееву, Аглин пошел по улицам Москвы домой. С любопытством осматривался он кругом, стараясь увидеть какое-либо изменение во внешнем облике города. Но все было то же, что и восемь лет тому назад, когда он покинул Москву: те же узенькие улицы, грязные, немощеные, с деревянными переходами; те же высокие боярские дома с глухими теремами, где томилаь не одна тысяча затворниц; те же, шумно гудящие своими колоколами, сорок сороков церквей; те же пьяные подьячие и приказные, встречавшиеся на пути, нахальные стрельцы, толкавшие всех прохожих и непослушных награждавшие ударами прикладов пицалей или древками бердышей; те же грязные торговцы и торговки, торгующие разной снедью на грязных лотках.

«То же самое, что и восемь лет тому назад,— подумалось Аглину.— За рубежом все идет вперед, развивается, растет, только Москва живет стариною, ни на шаг не подвигаясь вперед».

Проходя Кремлем мимо одного из приказов, он натолкнулся на следующую сцену. Двое каких-то приказных пытались поднять упавшего в грязь пьяного подьячего, а так как сами были пьяны, то это им удавалось очень плохо: поднятый и поставленный на ноги подьячий не удерживался и падал обратно в грязь.

— Нет, ты постой... постой. Не трожь меня... Я сам...— бормотал подьячий, балансируя на нетвердых ногах в липкой грязи, и с размаху падал на землю.

Аглин заинтересовался этой сценой и остановился было на минуту, чтобы посмотреть, что будет дальше. И вдруг, когда он взглянул в лицо подьячего, что-то знакомое пришло ему на ум.

«Прокофьич!» — мелькнуло у него, и он быстро зашагал вперед.

Взяв обеими руками лежащего на земле подьячего, он поднял его на ноги и вывел на сухое место, где тот мог стоять более твердо.

— Берите его под руки и ведите,— сказал он обоим приказным.

Подьячий раскрыл свои пьяные глаза и мутным взором посмотрел на Аглина, который тотчас же пошел прочь. И вдруг весь хмель пропал у Прокофьича из головы.

— Фу, прости, Господи! Что за наваждение! — пробормотал он, протирая рукой глаза. — Откуда сие? Как есть Романушка! И в немецком платье. Что за напасть! — и, подумав немного, он побежал за уходившим «немцем». — Постой-ка ты, кокуевец¹! — крикнул он, но так как Аглин не оглядываясь шел вперед, то участил шаги, пока не нагнал его, и спросил: — Послушай-ка, немчин, ты откуда?

Аглин остановился, удивленно посмотрел на навязчивого подьячего и, пожимая плечами, ответил по-французски: «Не понимаю!» — и шагнул вперед.

Но вбившего что-либо себе в голову подьячего трудно было этим обескуражить. Он опять забежал вперед, нагнал Аглина и даже схватил его за руку.

— Нет, а ты послушай, немчин! Ты погоди! Ты скажи мне: откуда ты? Больно уж ты похож на одного моего приятеля, Романа Яглина.

— Что вам угодно? — уже рассердившись не на шутку, закричал на него Аглин по-французски и даже поднял бывшую у него в руках палку.

Это подействовало, и подьячий, освободив руку Аглина, который быстро зашагал вперед, попятился назад.

— Вот напасть! — ожесточенно чеша себе в затылке, пробормотал Прокофьич. — Вот ведь как напился-то: упокойника, которого, поди, давно раки съели, в живом человеке увидел. Да еще православного в немчине! Бывает же так! — И, укоризненно покачивая сам себе головою, он пошел назад.

Аглин между тем, побродив еще несколько времени по московским улицам, пошел к себе домой, в Немецкую слободу, в дом доктора Самуила Коллинса. Когда он вошел в свою комнату, молодая женщина, сидевшая у окна и поджидавшая его, встала и подошла к нему.

— Ну что? — спросила она его.

— Пока все идет хорошо, Элеонора, — ответил он, обнимая ее. — Я видел боярина Матвеева, и мне скоро назначат экзамен.

— Ну а как... твоё дело? — нерешительно спросила она.

— Я еще ничего не знаю. Сегодня я проходил мимо того дома, где мы жили с отцом, но побоялся зайти туда, чтобы не узнать, что отец умер от горя, услышав от посольства, что я умер. Также я не хотел, чтобы не навлечь на себя подозрения,

¹ Житель слободы Кокуя; московские люди называли так Немецкую слободу.

разузнавать в приказах о своем враге. В одном только можно быть спокойным: Потемкин сидит где-то на воеводстве, и, следовательно, я не могу здесь встретиться с ним.

— Что же дальше ты будешь делать? — спросила молодая женщина.

— Что обстоятельства подскажут, — ответил он.

В эту минуту в комнату вошел доктор Самуил Коллинс, еще сравнительно молодой человек. Поздоровавшись, он спросил Аглина, как его дела. Тот сообщил ему о разговоре с Матвеевым.

— Ну, стало быть, ваше дело выиграно, — сказал Коллинс. — Только вы сами не осрамитесь на экзамене.

— Об этом не может быть речи, — с уверенностью сказал Аглин.

Коллинсу понравилась такая уверенность в себе молодого врача, и он стал расспрашивать его о том, что теперь делается за рубежом, какое направление приняла там медицинская наука, и с удовольствием услышал, что она все более и более освобождается от средневековых мистических бредней и вступает на путь рационального знания.

Затем разговор перешел на положение врачей в Москве, которое в то время, как все признают, было блестящим.

— Не бойтесь, коллега, за будущее, — на прощанье сказал Коллинс. — Если вы хороший и искусный врач, то вы здесь не пропадете.

Х

На другой день Аглин отправился в Посольский приказ, где ведались все сношения с иноземцами, чтобы показать там свои бумаги. Шел он туда с большим страхом, так как знал, что он встретится там с человеком, с которым ему не хотелось бы встречаться. Но делать было нечего: миновать Посольский приказ никак было нельзя. Поэтому Аглин решил вооружиться хладнокровием.

Когда он вошел в приказ, то зорко посмотрел по сторонам, но опасного человека не было видно. К нему подошел один из подьячих и спросил, что ему надо. Аглин объяснил, сохраняя иностранный акцент, что он иноземный доктор и пришел показать свои бумаги.

— А, это к дьяку, — сказал подьячий и отправился к дьяку приказа.

Вскоре к Аглину вышел знакомый нам дьяк Семен Румянцев, бывший член царского посольства. Он немного постарел, осунулся, но набрался еще больше важности, так как после посольства во Францию был пожалован царем.

Встав на пороге комнаты, он вдруг словно застыл, вперив взор в Аглина.

Последний, не давая ему времени оправиться, подошел к нему с поклоном и сказал:

— Я — иноземный доктор Роман Карл Мария Луи Аглин, подданный французского короля. Просмотри мои бумаги, господин, и возврати их мне обратно, чтобы нести их в Аптекарский приказ.

Все еще не оправившийся от смущения дьяк машинально взял в руки бумаги и вертел их в руках.

— Не задерживай, господин,— произнес Аглин,— мне надо нести грамоты в Аптекарский приказ.

Румянцев оторвался от лица молодого доктора и подал бумаги одному из подьячих.

— Просмотри и занеси их в книгу,— сказал он и затем, повернувшись, пошел в комнату, из которой вышел.

«Что за чудеса!..— думалось ему.— Не знай я, что Яглин Ромашка потонул тогда во Французской земле, ей-богу, сказал бы, что он перерядился в немца».

А загляни он в бумагу Аглина, то эти подозрения, ввиду сходства фамилий обоих людей, еще более усилились бы. Но, к счастью для Аглина, дьяк не посмотрел в них.

Через час Аглин получил обратно от подьячего свои документы и пошел с ними в Аптекарский приказ.

Когда он выходил из Посольского приказа, то столкнулся в дверях с Прокофьичем. Последний узнал вчерашнего немчина, в котором признал было потонувшего восемь лет тому назад Романа Яглина, и остановился, глядя на него в упор. Но Аглин скользнул по нему равнодушным взглядом и прошел мимо.

Прокофьич продолжал глядеть ему вслед и думал:

«Чего не бывает на свете! Ведь вот не знай я, что этот немчин — немчин, то почел бы его за покойного Романа Яглина».

Когда он входил в горницу, где сидел Румянцев, последний, увидав его, спросил:

— Видал этого дохтура-немчина?

— Видал.

— Похож?

— На Ромашку Яглина? Зело похож...

— А може, и он? — спросил дьяк.

— Ну, еще чего выдумал!.. Ромашку, поди, раки давным-давно съели и косточки очистили. А что схож с ним этот немчин, так это верно. Только это не Ромашка. И откуда Ромашке дохтуром быть? Грамоты-то у него в порядке?

— Чего лучше.

— Ну, значит, не он.

Аглин снес свои бумаги в Аптекарский приказ, и на другой день ему сказали, что испытание ему назначено будет недели через три-четыре.

Доктора Розенбург, Блюментрост и Энгельгардт, лекарь Зоммер и аптекари Гутменш и Биниан в скором времени получили приказание из Аптекарского приказа «быти у испытания дохтура Романа Аглина и вопросы ему делать, како он искусен в дохтурском деле и как болезни распознает, и лечит чем, и какие лекарства от какой болезни знает, и есть ли он человек научный и может ли дохтуром себя явить».

XI

Тишайшему нездоровилось. Уже со вчерашнего дня у него разболелась голова, так что он даже своей обычной партии в шахматы не окончил и ушел в опочивальню. А ночью Тишайшего мучили разные видения: какой-то большой бурый медведь давил его и рвал грудь его железными когтями, так что он во сне закричал и проснулся.

— Господи, отведи беспокоянные смерти и не лиши меня Царствия Твоего,— зашептал царь, приподнявшись на локте и крестясь на иконы, освещенные многочисленными лампадками.

Наутро, когда бояре и начальные люди явились пожелать государю доброго утра, Тишайший послал спальника сказать, чтобы сегодня пред его очи не являться, так как ему неможется, и были приглашены только один Матвеев да архимандрит Чудова монастыря.

— Неможется что-то, отче,— обратился государь к последнему.— Всю ночь сегодня видения душили. Думал, что помру, как тат, без покаяния.

— Прикажи помолиться о твоём здравии, надежа-царь,— ответил архимандрит.— Отслужим молебен святителям Петру, Алексею и Ионе!

— Да и полечиться не мешало бы, государь,— произнес Матвеев.— Прикажи позвать дохтуров.

— Небесное лекарство паче земного,— сурово сказал архимандрит, недолюбливавший Матвеева.

— И не думаю отрекаться, отец, от помощи небесной,— тонко усмехаясь, сказал Матвеев.— Только ведь и не мимо пословица-то идет, что на Бога надейся, да сам не плошай. Поэтому и от лекарств земных отказываться не следует.

— Твои иноземные дохтура, Артамон Сергеевич, только одну скверну на человека напускают,— с азартом сказал архимандрит.— В наших монастырях лечба издревле была, и многие люди от нее пользу имеют. У нас в монастыре и теперь есть один старец, который дуновением многих исцеляет. И раньше того многие святые отцы у нас на Руси лечбой занимались.

— Разве было так? — с любопытством спросил Тишайший, всегда любивший разговоры о божественном и святых.

— Было, государь. Вот, к примеру сказать, преподобный Атоний был зело пречудный врач, за больными сам ходяше и даваше вкушать им разное зелье, иже им здравие давало. Зело же прославился преподобный Агапит, врач безмездный, лечивший монастырскую братию и мирян зелием и ходивший за ними.

— Напрасно, отче, ты думаешь, что от докторов одно осквернение происходит,— примирительным тоном сказал Матвеев.— Если бы было так, то не разрешил бы равноапостольный князь Владимир привезти будущей своей супруге, греческой царевне Анне, из своей земли врачей. А при нем, кроме того, имелся свой врач, по прозванию Смер Половчанин. Я не знаю, отче, что ты так имеешь противу врачей, когда многие отцы Церкви сами помогали этому делу?

— Где это? Когда? — с живостью спросил задетый за живое архимандрит.

— Да лет более полтыщи будет тому, когда киевский митрополит Ефрем поставил в Переяславле строение банное и устроил больницы и приставил к ним врачей, которые подавали всем приходящим безмездно врачевание. А лечиться иногда нужно не только для дел мирских, но и души своей спасения ради. Если ты, отче, не знаешь этого случая, то я тебе напомним, что духовник князя Дмитрия Юрьевича Красного, священник Осия, заткнул бумажкой его ноздри, откуда шла кровь, которая мешала ему причащаться Святых Тайн.

Тишайший с удовольствием взглянул на своего «собинного друга».

«Экая умница! — думал он. — Отовсюду вывернется! Молодец!»

— А ведь он, отче, правду говорит, — обратился царь затем к архимандриту. — Умереть всегда успеем, а надо подольше жить, чтобы больше угодить Богу.

Недовольный архимандрит нахмурил брови и ничего не сказал, видя, что его дело проиграно, а Матвеев продолжал потихоньку улыбаться.

— Нет, отче, видно, полечиться не мешает, — немного погодя сказал Тишайший.

— Не мешает, государь, не мешает, — подхватил Матвеев. — Прикажешь, государь, собрать дохтуров, чтобы они о твоём здоровье поговорили и что-нибудь сделали?

— Нет, Сергеич! Мы лучше вот что с тобою сделаем. Ты расскажи-ка лучше дохтурам о моей болезни да спроси у них совета, не называя моего царского имени. Когда ты всех поспрашиваешь, тогда будет видно: одно они в мыслях имеют или нет? Ну а теперь ладно, идите, — сделав движение рукой, сказал Тишайший.

Матвеев и архимандрит поднялись и, сделав низкий поклон, направились к выходу.

— Позабыл, прости, государь! — внезапно поворачиваясь назад, сказал Матвеев. — Совсем из ума вон. По Аптекарскому приказу дело. Приехал из-за рубежа доктор один, по имени Аглин Роман. Просится на твою, государь, царскую службу. Как повелишь?

— А письма какие при нем есть?

— Нет, писем нет, а только есть свидетельства высоких школ. Я сегодня в приказе смотрел их. Весьма одобряют его как искусного дохтура.

— Так ведь как же без писем-то? — колебался Тишайший.

— Что же за беда? Он и сам себя оказать может. Будет ежели плох, так мы его обратно за рубеж отправим.

— Ну, ин ладно, делай как сам знаешь, — согласился царь. — Сделай там с дохтурами ему поверку, приведи ко кресту, да не забудь потом мне показать его.

— Слушаю, государь! — И Матвеев вышел.

Тишайший посидел еще, о чем-то думая, затем с трудом, ввиду своей тучности, поднялся и направился в свою опочивальню.

— Неможется что-то, Акундиныч,— сказал он, лежа под одеялом, своему старшему сказочнику.

— Что же такое с тобою, государь?

— Да и сам наверное-то не знаю. Тяжело ходить как-то да под сердце порой подкатывается что-то и во рту скверно.

— Это сглаз, надежа-царь, сглаз,— уверенно сказал сказочник.

— Скажешь ты! — с неудовольствием произнес царь.

— Верно говорю, государь,— продолжал сказочник.— Болезнь всегда так, со сглаза зачинается, вот как ты молвил сейчас.

Смутная тревога закралась в сердце царя. А ну-ка да на самом деле прав старый Акундиныч? Разве мало лихих людей на свете? Как раз испортят!

— А что же, Акундиныч, можно помочь этому, если это сглаз? — спросил он.

— А как же... можно! Для этого надо взять воды не питой, не отведанной никем, вынуть из печи три уголька и достать четверговой соли. Все это положить в стопочку, дунуть над ней три раза, потом плюнуть три раза в сторону. А после надлежит нечаянно сбрызнуть больного три раза, дать три раза хлебнуть и вытереть грудь против сердца. Потом вытереть рубашкой лицо, а оставшуюся воду вылить под притолоку. А хорошо еще, государь, к этому составу прибавить клочок мха из угла.

— А что, Акундиныч, каждый может так лечить?

— Нет, не каждый, государь. Это дано знахарям. А кто хочет сам научиться этому от знахаря, то должен три вечера париться в бане, три дня говеть, три дня ходить по улице с непокрытой головой, а последние три дня ходить к знахарю. А знахарь в пустой избе ставит мису с водой, а по углам кладет соль, золу и уголь. И должно те соль, золу и уголь лизать языком и запивать водой из мисы. А знахарь читает в те поры свои заговоры. А на третий день знахарь дает громовую стрелу и говорит такой наговор: «Соль солена, зола горька, уголь черен! Нашепчите, наговорите мою воду в мисе для нужного дела. Ты, соль, услади, ты, зола, угорчи, ты, уголь, очерни. Моя соль крепка, моя зола горька, мой уголь черен. Кто выпьет мою воду, отпадут все недуги; кто съест мою соль, от того откачнутся все болясти; кто сотрет зубами уголь, от того отлетят узорки со всеми призорками...»

— А какие же болести излечиваются этим сбрызгиванием, Акундиныч?

— А разные, надежа-царь, разные,— сквозь сон ответил сказочник.— Лихоманка, лихие болести, родимец, колотье, потрясиха, зазноба молодеческая, тоска наносная, ушибиха, черная немочь, узорки, призорки... разные недуги, государь.

Тишайший взглянул на сказочника: тот уже спал, свернувшись калачиком подле царской постели.

Царь откинулся назад и задумался. И далеко его мысли ходили по обширному его царству. Видело чуткое сердце Тишайшего, что хотя и тихо в государстве, но далеко не все ладно. Видел он, что черный народ угнетен, поставлен в холопское положение и что вольготно за его спиной жить одним только боярам да приказным. Тьма кругом; все окрест утопает в невежестве, суевериях; народ так свыкся с этой тьмой и невежеством, что не хочет сам расставаться с ними.

Хотя бы взять самое дорогое для человека достояние — его здоровье? Что тут? Вот Акундиныч говорит о сглазе, о лечении обрызгиванием. А чудовский архимандрит советует отчитывания инока-затворника. И никто не хочет верить, что превыше тьмы — знание. Но упорен народ, крепка тьма, сильно невежество — и не хотят они знания, ибо оно от иностранцев, нехристей, по мнению народа, и туго идет к ним.

«Эх, если бы у нас, на Москве, были свои, наши дохтура и лекаря,— подумалось царю,— авось поверил бы народ, что знание научное превыше наговоров и обрызгиваний. А то кто выведет народ из этой тьмы? Нет, не родился, видно, еще на Руси такой богатырь, который перевернул бы всю ее сверху донизу и прогнал бы тьму и невежество на Руси. Помоги и спаси ее, Господи!» — Набожно перекрестился он на иконы в стоявшем в переднем углу киоте, на ризах которых играли разноцветные огоньки от лампад.

И не чуяло сердце Тишайшего, что уже родился на Руси этот богатырь и находится он недалеко, всего через несколько комнат от него — его сын Петр Алексеевич.

XIII

«И приказано тебе, дохтуру Роману Аглину, явиться в четверток после обеден в Аптекарский приказ и держать там ответ в твоём искусстве. А пытаться там тебя будут дохтур Яган Костериус Розенбург да дохтур Лаврентей Блюментрост, да дохтур

Энгельгардт, да дохтур Гаден, да дохтур Самойло Коллинс, да лекарь Зоммер, да аптекарь Яган Гуттер Менсх, да аптекарь Роман Биниан. И держать ответ им должен ты по сущей правде и совести, то, что ты знаешь и чему учился в высоких школах. И буде ты, Аглин Роман, с честью то испытание одолеешь, то зачислен будешь на царскую службу и почтен будешь великим государем».

Так было объявлено Аглину подьячим Аптекарского приказа указание показать свои знания на экзамене.

Впрочем, Аглин мало беспокоился об этом: он надеялся на свои знания и на то, что с честью выйдет из этого испытания. Кроме того, у него было приподнятое настроение, причиной чего было следующее.

Как ни боялся он возможности услышать, что его старика отца нет уже в живых, тем не менее он пошел в тот дом, где они когда-то жили. С сильно бьющимся сердцем он поднялся на крыльцо и ударил в дверь. Последнюю отворила старуха в поношенном купеческом шушуне. У сердца Аглина отлегло, так как он боялся, что может выйти купец и, чего доброго, несмотря на то что прошло уже немало лет с тех пор, как они расстались, мог бы узнать его.

— Кого надо? — спросила старуха, с удивлением глядя на странного посетителя в немецком платье.

— Не знаешь ли, где теперь Яглин Андрей Романович? — спросил ее, нарочно ломая язык, Аглин.

— Какой такой Яглин? Что-то не припомню!

— У него еще сына отправили с царским посольством, и он сгиб там.

— А... Знаю, знаю, про кого ты говоришь, — догадалась старуха. — Из-под Казани он...

— Что, жив он? — с замирающим сердцем спросил молодой врач.

— Надо быть, что жив. Чего ему помирать-то? Хоть и старый был человек, а все же крепкий.

— Где же он? Здесь? В Москве?

— Нету, родимый! Его нет в Москве, уехал он к себе в вотчину. Спервоначалу-то, как посольство вернулось из-за рубежа и старик узнал, что его сынок там сгиб, так больно убивался! А потом, когда пришел в себя, то стал ходить по приказам да по милостивцам разным. Правды все старик искал. Изобидели, вишь ты, его там, на Казани-то. Вот он все и ходил. Да так ничего не добился и уехал к себе домой.

— Когда он уехал? — живо спросил Аглин.

— Да с год будет, почитай. А зачем он тебе нужен? — спросила старуха и с удивлением посмотрела вслед иноземцу, который, ничего не ответив ей, сбежал с крыльца и быстро пошел прочь от дома.

«И чего это он? — в раздумье качая головой, подумала старуха. — Зачем ему этот старик понадобился? И откуда он узнал, что он у нас жил? Ну, да знамо, — немец. Они ведь, нехристи, с нечистой силой знают. Надо будет ужотко крыльцо-то ладаном покурить, а то кабы мороки али какой другой беды не вышло».

А Аглин между тем, быстро идя по улицам Москвы, думал: «Если отец тогда же, когда узнал о моей смерти, не умер, то, быть может, жив и теперь».

Домой он вернулся веселый и радостный.

— Что случилось? — спросила Элеонора.

— Мой отец жив! — ответил Аглин и рассказал ей то, что он сегодня узнал.

Молодая женщина вся расцвела от внезапно охватившего ее радостного чувства.

— Как я рада!.. — произнесла она. — Меня все время мучила совесть, что из-за меня ты покинул родину, куда теперь возвращаешься преступником, и что, быть может, твой отец умер с горя. Это давило на меня как страшный сон, как кошмар, и теперь я рада, что хоть одна причина наконец устранена.

Аглин был в таком радостном возбуждении, что ему показалось, что и вторая причина ее опасений устранилась.

— Авось и то пронесется тучей мимо, — сказал он. — А нет, там пойду к царю с повинной и расскажу ему все.

Он сел за медицинские книги и стал готовиться к предстоящему экзамену.

XIV

В Аптекарском приказе было большое собрание. За длинным столом сошлись лица, которым предстояло экзаменовать нового доктора, желавшего поступить на царскую службу.

В начале стола, у самого торца его, сидел боярин Матвеев, а по обеим сторонам его были экзаменаторы, — почти весь наличный состав московских докторов, лекарей и аптекарей. В другом конце сидел дьяк приказа, Петр Виниус, с двумя по-

дьячими, приготовившимися записывать вопросы экзаменаторов и ответы абитуриента.

По знаку Матвеева двери комнаты отворились, и вошел Аглин в сопровождении двух подьячих. Сделав низкий поклон, он, немного бледный, остановился у конца стола и посмотрел на всех.

На него глядели со вниманием, видя в нем будущего конкурента или товарища по царской службе,— и умное лицо старика Розенбурга, и энергичное, с примесью хитрости, Блюментроста, и неприятное, отталкивающее лицо Энгельгардта, и с лисьим выражением физиономия Гадена, и с добродушной миной — Коллинса.

Зато мало обращали на Аглина внимания и пришли сюда как бы для того, чтобы отбыть хотя и интересную, ввиду редкости случая, обязанность, но зато и скучную, лекарь Зоммер и аптекари Биниан, Гутменш и Гутбер.

Перед каждым из экзаменуемых лежала бумага, где ими были намечены вопросы Аглину.

Особенно почему-то опасался нового конкурента Гаден. Он, узнав о прибытии на царскую службу нового доктора и о назначении ему экзамена, решил было устроить ему враждебную встречу и провал на экзамене. Для этого он накануне вздумал объездить всех докторов и аптекарей и подговорить их на это. Но честный Розенбург был возмущен этим и сказал Гадену, что будет задавать вопросы Аглину не по лицеприятию и не по вражде, а по сущей правде и совести, как то ему Бог и крестное целование велят. После этого Гаден не решился говорить с резким Блюментростом, а тем более с Коллинсом. Зато в Энгельгардте он нашел единомышленника, и тот обещал ему во что бы то ни стало доказать малознание нового доктора.

Когда Аглин предстал перед собранием, первым заговорил Матвеев:

— Дохтур Роман Аглин, обещаешь ли по сущей правде и совести говорить о своих знаниях и искусстве и о всем том, что ведаешь, как тому сам был научен и в высоких школах слышал?

— Обещаюсь,— ответил Аглин.

— Господа дохтура, извольте спрашивать,— пригласил присутствующих Матвеев.

Розенбург, заглянув в свою бумажку, спросил:

— Скажи нам, доктор Роман, почему во время нашей жизни наше тело не гниет и не подвергается разрушению?

— Душа тому причиной,— не задумываясь, ответил Аглин.— Души назначение состоит в том, чтобы охранять тело от

разложения и смерти. А так как внешний мир от души не волен, то в охране тела бороться она не может, а отсюда тела болезнь и даже смерть.

Среди экзаменующих пробежал ропот одобрения. Это новое определение души приобретающего в то время известность профессора медицины и химии Сталя доктор Розенбург прочитал в только что полученной им из-за рубежа книге и по ответу Аглина было видно, что он знаком с этой книгой.

— А в чем, доктор Роман, выражается здоровье? — спросил Блюментрост.

Аглин ответил по-латыни:

— Здоровье выражается в правильном усвоении веществ и нормальных движениях организма; болезнь же выражается в нарушении этих функций или даже прекращении их.

И этот ответ возбудил одобрение, так что Гаден даже заерзал на месте. А вопросы так и сыпались...

— А скажи, доктор Роман, — спросил Розенбург, — в чем заключается задача врачевания?

— Задача врачевания, — ответил Аглин, — заключается в направлении деятельности природы, в умерении и возбуждении ее.

— А скажи, как ты будешь лечить лихорадки? — опять сказал Гаден.

Аглин заметил уже, что последний почему-то невзлюбил его, но не подал виду и продолжал спокойно отвечать на вопросы:

— Лихорадки излечиваются разжижением крови, умерением кислого брожения и потением. Для сего необходимо, буде больной полнокровен, небольшие кровопускания делать, а потом давать слабительные. При злокачественных лихорадках, кои от щелочного перерождения зависят, нужны кислоты, соли земель, глина, бальзамические вещества и опиум.

— Отлично, — сказали все.

Затем стали задавать вопросы аптекари о действии различных лекарственных веществ. Аглин отвечал также уверенно.

Наконец Розенбург стал о чем-то тихонько совещаться с коллегами. Те в ответ утвердительно кивнули головами, и только один Гаден будто бы запротестовал, но напрасно.

Розенбург после этого сказал:

— Больше мы у тебя не спрашиваем: отвечал ты обо всем так, как и сами мы знаем. Дай тебе Бог, чтобы люди от твоего лечения выздоравливали и тебе бы от государя честь полу-

чить! — И, обратившись к Матвееву, «собинный дохтур» сказал: — Боярин, мы обо всем спрашивали доктора Романа, и, по нашему разумению, он свое дело хорошо знает и может с пользой лечить людей.

— Ну и ладно,— ответил Матвеев.— Коли знает он свое дело хорошо, так и возьмем его на царскую службу. А теперь, Петр, прочти-ка подкрестную запись — присягу.

Дьяк Виниус стал читать по свитку:

— «Подкрестная запись на верность службы царю Алексею Михайловичу. Целую крест государю своему, что лиха мне государю своему и семейству не хотети ни в чем, никакого не мысляти, не думати делати, ни которыми делы, ни которою хитростью по сему крестному целованию...»

Матвеев приказал Аглину подписаться под подкрестной записью — и новый доктор был принят на московскую службу.

Все экзаменующие обступили нового товарища и поздравили его. Поздравил Аглина и Матвеев и пригласил его к себе в следующее воскресенье на пирог.

Аглин радостный вернулся домой и, обнимая трепетавшую от радости жену, сказал:

— Ну, река перейдена, и отступать поздно. Теперь либо пан, либо пропал.

XV

Боярин Матвеев в точности исполнил приказание царя: он стал спрашивать всех докторов относительно того, каким бы образом надлежало лечить «некоего знакомого человека», у которого имеются такие-то и такие-то признаки болезни.

И Розенбург, и Гаден, и Блюментрост, и Коллинс, и Энгельгардт, и Аглин в один голос объявили, что тут, по всей вероятности, имеется несварение желудка. Когда Матвеев сообщил об этом царю, тот сказал:

— Ну, ин ладно, зови к нам теперь всех дохтуров. Я им сам все расскажу, что со мною такое есть.

В назначенный день все доктора собрались в рабочей комнате царя, который был окружен несколькими приближенными боярами.

— Создал вас я, господа дохтура,— сказал царь, сидя в кресле, стоявшим перед ним полукругом докторам,— ради нашей великой болезни. Требуется помочь моему здоровью блага ради

нашего государства. Наперво скажите мне правду: все ли вы между собою согласны и нет ли меж вами какой-либо вражды, зависти или другого непорядка?

Доктора переглянулись между собою: вопрос был щекотливый. Все они втайне завидовали друг другу, и если не враждовали между собою открыто, то лишь потому, что это могло дойти до царя и навлечь от него на них его царский гнев и опалу, если еще того не хуже. Поэтому им следовало быть осторожными, и этим молчаливым взглядом они согласились между собою.

— Государь,— ответил Розенбург,— мы все — твои слуги, едим по твоей великой царской милости твой хлеб и того ради, если бы между нами и была какая зависть и вражда, то пред твоим светлым ликом она должна смолкнуть и надлежит нам всем пещись о твоём царском здоровье, не только отложив в сторону всякую вражду, но и даже не щадя живота своего до последней капли крови.

Тишайшему понравились эти слова. Он благосклонно взглянул на Розенбурга и произнес:

— Это ты ладно толкуешь, дохтур Яган. Вижу я, что ты к нашей царской службе привержен. Думаю, что и остальные господа дохтура с тобой в мыслях единомышленны. Так слушайте же про нашу царскую болезнь.

Припадки у Тишайшего, происходившие от тучности и от несварения желудка, бывали довольно часто. И на этот раз, когда Аглин впервые был на Верху и впервые видел царя, был точно такой же припадок.

Государь перечислил все симптомы своей болезни и вопросительно сказал:

— Ну, вот и вся моя болезнь. Растолкуйте мне, что сие значит и выздоровлю ли я?

Все доктора задумались, за исключением Аглина. Он со вниманием посмотрел на своих коллег, стоявших с серьезными лицами, и чуть было не расхохотался: ему, еще недавно слушавшему лекции знаменитых профессоров на Западе, стало ясно, что эти люди, не обновлявшие своих знаний, совершенно отстали от науки и жили только тем, что привезли с собою при приезде в Москву.

— Государь,— сказал Розенбург,— мы все твою болезнь знаем, ибо боярин Матвеев ее нам в точности рассказал. Мы все здесь, пред тобой стоящие, за исключением одного,— и он показал на Аглина,— уже совещались промежду себя и согласны

относительно твоей болезни. По Гиппократову разумению тонких природ, особливо склонны к болезням люди густых и тучных сложений, ибо тучность за недуг приняться может. Здравая тучность естественных и подобающих умерений не переходит и телесами к укреплению взимается. Болезненная же тучность телеса повреждает и сонною тяжестью чувства и движения наполняет. Сего действия суть одышки, тоски, ослабление, тяжесть, главоболение, насморки, удар, водяная болезнь.

Позади Аглина послышался какой-то скрип. Он оглянулся и увидел сидевшего за столом в углу подъячего, низко склонившегося над бумагой и записывавшего в «сказку» мнения и слова докторов. «Сказка» потом скреплялась подписями докторов, отправлялась в Аптекарский приказ и там заносилась в книгу.

Тишайший со вниманием выслушал слова Розенбурга.

— А какое же сему подлежит лечение? — спросил он.

Розенбург пошептался с Блюментростом, и тот, прокашлявшись, сказал:

— Излечение или паче предохранение состоится по умеренности едения, во обучении и лекарстве.

— Ну, говори, какое такое будет умерение? — сказал Тишайший. — И так уж мало ем: на ночь одну овсянку, а все что-то не худею.

— Что касается умерения, долженствует быть тонкое, ужин и обед скуднейшие и не вельми нужно, хотя бы и не ужинать, — начал Блюментрост. — Не пользуют на трапезах молочные и жидкие еды. Вредит пиво новое и которое не устоялось; да будет мед светлый и тонкий, не кислый. Свинина повреждает. Пользует мясо говяжье, свежее, если вареное, чтобы без чеснока и соли. Но лучше есть мясо баранье и агнчее. Также здорово есть рябчики, курятки, молодые журавлики, утки дикие, тетеревы...

— Однако, — смеясь, сказал Тишайший, — ты, дохтур Лаврентий, совсем святого из меня хочешь сделать. То нельзя, этого не ешь, третьего не вкушай, совсем с вами с голоду помрешь. Ну а обучение в чем состоит?

На это сказал юркий Гаден:

— Движение по Аристотелю есть вина теплоты. Воды родников и рек текущих здравейшие бывают. Бледнеют же и иссыхают тюремные сидельцы, свободного воздуха и движения лишённые. Необходимо вольное движение, умеренное на конях езжение. Сон полуполуденный умеренный или не един, а ночью опочивать — чтобы не больше семи часов.

— Ну-ну,— потихоньку посмеиваясь и шутливо качая головой, сказал Тишайший.— Насказал же ты, Степан! И не ешь-то, и не спи. Еще чего придумаете? Роспись какую пропишете?

— Надлежит и это сделать,— сказал Розенбург.

— Ну, ладно, просмотрите там вашу сказку и роспись напишите. А я пока в шахматы поиграю. Алегукович, не хочешь ли ты сразиться со мною? — обратился он к князю Черкасскому.

— Осчастлививаешь ты, государь, холопа своего,— кланяясь, сказал последний.

Доктора между тем вышли в соседнюю комнату вместе с Матвеевым и подьячим Аптекарского приказа. Последний прочитал им «сказку», написанную со слов докторов, и те подписали ее, равно как и роспись-рецепт.

Это занятие отняло у них часа два, так как каждый из врачей внимательно прочитывал свою речь, чтобы после не к чему было придраться и через это не попасть в подозрение в желании нанести вред царскому здоровью.

Наконец, когда сказки были составлены, боярин Матвеев заглянул в ту комнату, где был царь. Последний уже закончил свою игру с князем Черкасским.

— Сказка готова, государь,— сказал Матвеев, подходя к царю.

— А ну, чтти ее,— произнес царь.

Матвеев прочитал.

— Ну, что же,— сказал затем царь,— то лекарство, составя, приготовить.

Этой формулой клалась санкция на приготовление лекарства для царя.

После этого доктора откланялись царю и вместе с Матвеевым отправились в старую аптеку.

— Зачем же мы в аптеку идем? — по дороге спросил Аглин Коллинса.

— А смотреть за приготовлением царского лекарства. Это не так-то легко.

Действительно, это оказалось не так-то легко, и Аглину пришлось воочию убедиться, какими формальностями обставлено дело приготовления лекарства для царя.

Когда они прибыли в аптеку, то их там уже ждал дьяк Аптекарского приказа Виниус, вызванный Матвеевым.

— Ну, дьяк, отмыкай казенку,— произнес последний.

Все отборные врачебные средства, «пристойные про великого государя», хранились в аптеке в особой комнате, называвшейся особой казенкой. Она находилась всегда за печатью дья-

ка Аптекарского приказа, и без него никто не имел сюда доступа, не исключая царских докторов и аптекарей. Врачебные средства стояли здесь в запечатанных ящиках и склянках.

Аптекарь, приняв роспись, занес ее в книги аптеки и отдал дьяку, чтобы тот, в свою очередь, занес ее в книги Аптекарского приказа.

Затем приступили к составлению лекарства, что делалось чрезвычайно тщательно, и имена составителей тоже были занесены в книгу.

— Кто понесет лекарство государю? — спросил дьяк, держа в руках склянку с приготовленным лекарством.

— Давай мне, я понесу, — сказал Матвеев, протягивая руку.

— Повремени малость, боярин, надлежит его прежде откушать господам дохтурам. Али забыл, что наказ говорит?

— Верно, верно слово твое, дьяк, — ответил сконфуженный Матвеев и протянул склянку докторам и аптекарям.

Аптекарь принес небольшой серебряный стаканчик, и каждый из врачей, налив туда немного лекарства, выпивал его. Когда проделал это и боярин Матвеев, то склянку запечатали и передали последнему.

Аглин, по примеру прочих докторов попробовавший приготовленное для царя лекарство, спросил тихонько по-немецки Розенбурга:

— Разве это необходимо?

— Обязательно, — так же тихо ответил тот. — Со мной раз был такой случай, когда мне пришлось выпить целую склянку лекарства, приготовленного для царицы, только потому, что оно вызвало тошноту у одной ближней придворной, пробовавшей это лекарство перед поднесением его царице. А теперь вот боярину Матвееву придется пробовать его, прежде чем царь сам будет пить его.

Матвеев, бережно приняв в свои руки лекарство, повез его на Верх.

XVI

Аглин был зачислен на царскую службу. Каждый день он ходил в Аптекарский приказ за получением каких-либо приказаний, а оттуда в которую-нибудь из аптек. Иногда ему давалось поручение лечить кого-нибудь из ближних царских людей; он принимался за это с усердием и лечил со старанием.

В лечении ему везло: чуть ли не все поручаемые его знаниям и искусству больные быстро выздоравливали.

Это стало даже возбуждать косые и недовольные взгляды со стороны других товарищей-врачей, которые с течением времени стали переходить уже в явную зависть.

Особенно невзлюбил его Гаден. Быть может, последний сознавал, что прекрасно образованный врач, учившийся в западных университетах, каким был Аглин, по своим знаниям стоял гораздо выше его, эмпирика, бывшего цирюльника, случайно попавшего ко двору и получившего степень доктора медицины не обычным путем, то есть не по заслугам, а лишь по милости московского царя. Или, быть может, потому, что Аглин, чуть-ем понявший Гадена, относился к нему сдержанно, не пускался с ним ни в какие откровенные разговоры и на приглашения Гадена прийти к нему в гости ограничивался одними благодарностями. Как бы то ни было, но Гаден вдруг и сам стал сдержан с Аглиным и за спиной того стал даже распускать кое-какие сплетни.

Последние достигли как-то ушей Коллинса, и добродушный англичанин предупредил об этом Аглина и советовал ему быть поосторожнее с Гаденом. Аглин на это только пожал плечами, но поблагодарил Коллинса и обещал следовать его совету.

Однажды Гаден, вернувшись из Аптекарского приказа, только что сел обедать, как к нему пришел неожиданный гость — дьяк Посольского приказа Румянцев.

— Благодарю за честь, дьяк, — сказал, встречая гостя, доктор. — Каким ветром занесло тебя в нашу слободу?

— По делу, дохтур, — ответил дьяк. — Кабы без дела, так кто пошел бы в вашу Немецкую слободу.

— Или болен? Давай тогда полечу. Без ног если будешь, то так выпользую, что хоть через неделю тебя женить можно будет.

— При живой-то жене? Выдумаешь тоже, дохтур! Нет, я по другому делу, особливо важному.

— Ну, коли по другому, так будем говорить. Погоди только малость: я прикажу, чтобы нам сюда меду холодненького подали.

— Это — дело!

Через минуту Гаден и Румянцев уже сидели за стопками меда.

— Ну, говори, дьяк, что за дело, которое тебя из твоего приказа занесло к нам на Кокуй.

Дьяк выпил меду и, обтерев усы, начал:

— Вот видишь ли ты, что это за дело. Были мы со стольником Петром Ивановичем Потемкиным за рубежом в посольстве. Прибыли тогда к французскому королю в город Париз. И был у нас тогда в посольстве некий молодой парень за толмача, по прозванию Яглин Роман. И вот, когда мы выехали из Париза и через одну какую-то реку переходили, у нас этот Яглин вдруг пропал. Стали искать его и нашли на берегу его одежду. Куда парень девался, как ты думаешь, дохтур?

— Ну, конечно, потонул,— ответил Гаден.

— Верно рассудил. Раз одежда на берегу, а человека нигде нет, то, конечно, одно: потонул где-нибудь. Ладно. Ну-с, а вот теперь слухай дальше. Ни много ни мало лет прошло — и приезжает на Москву заморский дохтур, Аглин Роман... Слышишь, Степан?

— Слышу,— весь насторожившись, ответил Гаден, улавливая тут какую-то связь.

— И пришел этот дохтур Роман Аглин к нам в Посольский приказ и принес грамоты свои. Смотрю я это в эти грамоты, вижу, что дохтур этот — французского короля подданный и учился он в разных высоких школах, откуда ему и эти грамоты даны, а пред глазами — ну, вот хоть голову мне отруби,— живой Яглин Ромашка, толмач.

— Так ты думаешь...— в волнении вскричал, вскакивая с места, Гаден.

— Да ничего я не думаю... Да сиди ты, ради бога, и слушай до конца!

Гаден сел, и только по блеску его черных глаз можно было судить о том волнении, которое он переживал в ту минуту.

— Ну, вот как взглянул на этого дохтура, так и обомлел. Кто же предо мною: заморский ли дохтур или Яглин Ромашка, толмач?

— Так ты думаешь, что ваш Яглин и этот доктор — один и тот же человек!

— Да кто ж его знает? Лицо как будто одинаковое; у этого только усы больше и борода длиннее. Да и имя-то, прозвище одинаковое: там Яглин, тут Аглин...

Гаден встал и в волнении заходил по комнате.

— Вот оно что! — говорил он, потирая руки.— Оба — одна и та же персона! Ну и храбрость же: сбежать из посольства неведомо куда, а потом приехать на родину под чужим видом, с чужими бумагами! Впрочем, нет: бумаги у него собственные. Он, должно быть, учился где-нибудь за рубежом в высоких

школах; ведь не учившись нельзя так сдать испытания, как он сдал в Аптекарском приказе. Да. А ты верно, дьяк, знаешь, что этот дохтур — тот самый... как, бишь, его?

— Яглин? Говорю, что голову прозакладываю. Положим, я говорил уже об этом с одним нашим подьячим, который тоже в этом посольстве был, да он, пьяница, не признает его.

— Да... да... Так! — И Гаден опять заходил по комнате, как бы что обдумывая. Наконец, в досталь найдившись, он остановился против Румянцева и сказал: — Так как же? А? На свежую воду, что ли, вывести этого Аглина? А?

Дьяк взглянул на него и усмехнулся:

— Что, али поперек дороги встал тебе он?..

— Ну,— ответил, сделав пренебрежительное лицо, Гаден.— Я подольше его в дохтурах-то и не с таким щенком, как этот Аглин, потягаюсь. Со мною и Розенбург часто советуется.

— А Прозоровский-то князь? — усмехаясь, напомнил Румянцев.

Лицо Гадена покраснело от злости, и он закричал:

— Да ты что думаешь, что Прозоровского твой Аглин вылечил? Натура сама вылечила, а ваш Аглин ни при чем.

— Да что-то эта самая натура не приходила на помощь, когда ты князя лечил. А как Аглин взялся лечить его, так она тут как тут со своими услугами,— продолжал посмеиваться Румянцев.— Ну, да ладно. Я к тебе не за этим пришел. Больно мне охота этого самого Ромашку на чистую воду вывести. Я тебе все сказал, а ты раскинь сам своими мозгами, что и как. А теперь, брат, прощай.

Оставшись один, Гаден опять принялся ходить и думать. Его мстительная душа никак не могла примириться с тем, как он думал, оскорблением, которое было ему нанесено Аглиным у князя Прозоровского, и он изыскивал способы, чтобы, пользуясь открытием дьяка Румянцева, отомстить.

Наконец он приказал запрячь лошадь и, одевшись наряднее, отправился в путь, то и дело понукая возницу. И вот его возок остановился у дома боярина Матвеева.

— Али за делом каким? — встретил его последний.

— За делом, боярин,— ответил Гаден.

— Ну, ин ладно, садись — гостем будешь.

— Предупредить я тебя, боярин, приехал,— сказал, садясь, Гаден.

— Ну? — добродушно отозвался Матвеев, в душе недовольный этими словами, так как за ними он чувствовал донос, чего крайне не любил.— Должно быть, ты, дохтур, с изветом пришел?

— Если хочешь, так, пожалуй, и с изветом. Я слов не боюсь.

— Ну, да ладно. Выкладывай свой извет. Посмотрим, в чем дело!

Гаден передал ему все, что рассказал ему Румянцев.

Матвеев молча выслушал и задумался. Наконец он произнес:

— Врет все твой дьяк! Спьяну, должно быть, ему все это приснилось, — ну, вот он и набрехал тебе. А ты поверил да ко мне с изветом на товарища... Нехорошо, дохтур, так поступать! Да ты хоть бы о том подумал: ну, где русскому человеку дохтурскому искусству научиться? Мы хоть и лечимся у вас, а в душе-то ваше дело чуть не поганым считаем. Не думай, что и я так считаю — я про других это говорю. Ну а затем еще то рассуди: одна у этого Аглина на плечах голова или две, чтобы он приехал сюда, на Москву, зная, что его здесь плаха встретит? Нет, брат, несуразное ты говоришь и запомни себе: никаких таких речей я от тебя не слыхивал никогда.

Сконфуженный Гаден ушел.

Матвеев провел несколько часов в раздумье и затем послал челядинца за Аглиным.

— Скажи, что неможется мне, — наказывал он ему. — Хочет, мол, боярин полечиться у тебя.

Аглин не замедлил явиться на зов Матвеева.

— Здравствуй, боярин, — сказал он, здороваясь с последним.

— Здравствуй, толмач царского посольства Роман Яглин, — пристально глядя в лицо молодому доктору, медленно произнес Матвеев.

Аглин побледнел и пошатнулся. Перед его затуманившимся взором пронеслись московский застенок со всеми его ужасами, плаха с расхаживающим около нее палачом, отрубленная голова, прыгающая по ступенькам эшафота, кровь, брызжущая фонтаном из отрубленной шеи. Он почувствовал слабость в ногах и сел на близ стоящую мягкую скамью.

— Ты все знаешь, боярин? — тихо произнес он, и натянутые нервы не выдержали — он разрыдался.

Матвеев вплотную подошел к нему и, положив руку на плечо, произнес:

— Полно, полно... Перестань. Расскажи мне лучше, как все это произошло.

И, хлопнув в ладоши, боярин приказал вошедшему холопу принести воды.

Успокоившись, Яглин начал рассказывать, начиная со времени своей жизни на берегах Волги.

Матвеев, не говоря ни слова, слушал рассказ Яглина. На его умном лице не раз проглядывало сочувствие ко всему, перенесенному рассказчиком.

— Я все тебе рассказал, боярин,— закончил Яглин,— ничего не утаил от тебя. Я хорошо знаю, что за мое самовольное бегство из царского посольства и за обманное поступление на царскую службу меня ждет плаха. Но рассуди сам, боярин: могли я поступить иначе как в том, так и в другом случаях?

— Дело очень сложное,— подумав, ответил Матвеев.— Вот ты все рассказал без утайки, и я понимаю тебя. Понимаю, что ты там полюбил и не мог бросить на произвол судьбы любимого человека, что, как ни хорошо в гостях, а дома, каков он ни будь, все же лучше. Да вот те-то, что сидят у нас по приказам, да те, что норовят повернуть на зло тихую душу царя, они-то поймут ли? Ведь для них буква закона дороже его смысла, своя выгода дороже чужой жизни. Они уже многих так загубили, много зла наделали. Они и меня готовы съесть за то, что чуть что полезное в иноземщине увижу, так норовлю на нашу русскую почву пересадить. Так и с тобой. Не дай Бог, если кто проведает, что ты на самом деле за человек: и тебе несдобровать, да и я в опалу попаду за такую оплошность.

— Что же делать? Научи, боярин.

— Что делать? Я и сам про то думаю, но придумать пока не могу,— в недоумении развел руками Матвеев.— Гаден вон уже сделал извет на тебя. А опознал-то тебя ваш же Посольского приказа дьяк. Им ведь глотки не заткнешь. Если не вслух, так втихомолку станут об этом шушукаться. Пока, правда, особенного ничего нет. Гадена я турнул отсюда да завтра ему намылю голову за то, что поклеп возводит на товарища. А за дьяком следить велю и, чуть что, заставлю его замолчать. Ну а что касается тебя, то уж, видно, коли назвался груздем, так полезай в кузов: оставайся по-прежнему на царской службе дохтуром Аглиным, а там дальше будет виднее, как дело пойдет. Может быть, если будет удобный час, я царю обиняками расскажу всю твою историю и тебе прощение испрошу. Важно тут то, что ты первый дохтур будешь из наших, русских людей. Не все, стало быть, в чужеземцы ходить нам за всем. Может, царь на это поддается. А ты тем временем старайся править как можно лучше свою службу, прилежничай.

— Спасибо тебе, боярин, за все,— с чувством сказал Яглин.— Успокоил ты меня с этой стороны. Вот теперь мне только бы дознаться: жив ли мой отец?

— Ну, про это тебе ничего сказать не могу. А что воевода свияжский и до сих пор еще на воеводстве, так это доподлинно знаю. Ну и с тем делом следует еще погодить: тебе надо еще себя обелять.— Поговорив еще несколько времени и обнадежив Яглина, Матвеев расстался с ним.— Да приходи ко мне в воскресенье на пирог со своей гишпанкой,— сказал он на прощанье.— Вот и будем мы с тобой оба русские да с чужеземными женами.

Позже Яглин еще не раз задумывался о судьбе этого передового человека того времени, а пока они расстались.

XVIII

«Декабря в пятый день Великий Государь указал быть за собою, Великим Государем, в походе в Троице-Сергиеву лавру из Аптекарского приказа с лекарством дохтуру Симону Зоммеру, да дохтуру Роману Аглину, да аптекарю Крестьяну Эглеру, костоправу Степану Максимову, лекарю Федору Ильину, да истопнику, сторожу, да ученику. А под лекарства указал Великий Государь дать: три подводы дохтуру Симону, три подводы дохтуру Роману, четыре подводы лекарю, да костоправу, да ученику, по подводе человеку, сторожу да истопнику. Подводы с санями и проводниками из Ямского приказа. А прогонные деньги даны будут из новой аптеки».

Такую бумагу получил Яглин.

Он хорошо понял, что это — дело рук Матвеева, который хотел, чтобы он почаще попадал в поле зрения «светлых очей государевых», чтобы Тишайший присмотрелся к нему — и из этого, быть может, выйдет что-нибудь путное.

В середине дня Матвеев, Яглин и Зоммер и аптекари старой аптеки наряжали особую царскую походную аптеку. На большом столе стояла «шкатула», разделенная на четыре ящика, два пустых короба и «заморский ящик с весками и скрупами». Аптекари принесли целую груду пустых сулеек (склянок) со стеклянными пробками и налили туда различного рода масла — коричное, янтарное, гвоздичное, мускатное, миндальное, горькое и сладкое. В другие склянки — побольше — были налиты эликсиры и эссенции, «духи» (спирты), «водки апоплектики».

Между первым и вторым рядом, в исподнем меньшем ящике, лежали: ложка, чарка, две лопатки серебряных, пестик медный, тафта белая да алая.

Пониже, в третий ящик, в круглых сулейках, поставлен был запас «водки апоплектики», затем «безую пять нарядов без инроговой кости, безую же пять нарядов с инроговой костью».

В самом нижнем ящике стояли в стопках разные сахара, соли, пластыри, порошки — «пургацейный», от глист, от насморка, от кашля и «бальсамы» в костяных сосудах. Кроме того, были положены склянки с сиропом «из жеребьячьа копыта», «дух из червей», «дух из муравьев».

— А книги лечебные не забыли? — спросил Матвеев аптекарей.

— Нет, боярин, — ответили те и подали «Травник учителя и дохтура Симона Спрения», «Зельник» его же и «О простых лекарствах от Диоскорида и иных многих».

Когда укладка походной царской аптеки была окончена, Матвеев вышел из аптеки и, садясь в колымагу, сказал Яглину:

— Садись, дохтур Роман, подвезу.

Яглин сел рядом с ним, и они поехали.

— Ну, брат Роман, вот тебе случай, — сказал Матвеев, — я нарочно сказал государю, когда он спросил меня, кого я дам ему из дохтуров в дорогу, что и тебя поставлю в списки. «Кажись, молоденок он будет?» — сказал государь. А я ему и говорю: «Наука лечебная, надежа-царь, все равно что звезд небесных лечение: никогда на месте наука не стоит, а все дни вперед движется. Так и дохтур Роман: он еще недавно из высоких школ вышел и все новинки по лечебной науке знает». — «Боюсь я чего-то, Сергеич, нового-то. Не лучше ли по старинке-то?» — «Государь, — говорю, — ничто в натуре не стоит: ни вода, ни ветер, ни звезды, ни года перемены. Все движется, в том и жизнь, так и в жизни человеческой надлежит движению быть». — «Ну, ин ладно, — говорит государь, — ставь лекаря Романа!» Я и поставил тебя в список.

— Боязно, боярин, — произнес Яглин. — Все время на царевых очах придется быть.

— Оттого я тебя и поставил, чтобы ты сначала примелькался государю, а потом я улучу удобное время и издалека расскажу про тебя.

В это же время, когда Матвеев ехал с Яглиным, дьяк Румянцев встречал с распростертыми объятьями воеводу Петра Ива-

новча Потемкина, вызванного в Москву Посольским приказом для нового посольства за рубеж.

— Кого мои грешные очи видят? — притворяясь чрезвычайно обрадованным, воскликнул Румянцев, громко лобызаясь с гостем.— Петр Иванович! Сколько лет, сколько зим не видались!.. Как тебя Бог милует?

— Ништо, Семен, пока Бог грехам терпит, хожу еще по земле,— ответил Потемкин.— Как ты?

— Да мы что? Мы — люди маленькие, про нас, поди, и на Небе-то забыли. А ведь нами двоими с тобою то посольство и держалось,— прикидываясь простецом, ввернул язвительное слово Румянцев.— Не пьяницу же Прокофьича-подьячего считать?

— Про Яглина Романа забыл, Семен,— сказал Потемкин.— Жалко парня-то! Рано сгиб.

Потемкин не мог в эти несколько лет позабыть про Яглина, так как смерть последнего разрушила его планы на замужество дочери.

— Не сгиб он, не бойся: такие люди, как Яглин Ромашка, не сгибают,— с хитрой улыбкой сказал Румянцев.

— Как не сгиб? — изумленно спросил воевода.— Ведь он там же, во Франкской земле, потонул.

— Ну, знать, только тонул, да не затонул совсем, а вынырнул и живет теперь себе спокойно, да в почете, да с молодой женой.

— Что ты там мелешь, Семен? — воскликнул Потемкин.— Как он жив остался? Где он? С какой женой?

— Как он остался жив, не знаю, а что он здесь, да еще обжеженный, так это доподлинно верно. Хочешь, так икону тебе в том сниму.

— Где же этот вор? — в ярости закричал Потемкин.— Подай мне его! Что же он обманул меня? А Настасья моя из-за него и по сию пору в девках сидит. Да я его в бараний рог согну!

— Ну, боярин, теперь тебе его не достать скоро-то. Да и то сказать: Романа Яглина и на самом деле в живых нет, а есть заморский дохтур Роман Аглин и состоит он теперь на службе Аптекарского приказа.

— Что такое? Ничего не понимаю, Семен.

Румянцев рассказал Потемкину про те подозрения, которые возникли у него, когда он увидел заморского доктора Романа Аглина, как он напустил на Матвеева доктора Гадена и что из этого вышло.

— Вот оно что! — протянул Потемкин. — Вот он как шагнул. Да только верно ли, Семен? За каким шутком его сюда принесло, коли он сбежал из посольства? Жил бы себе за рубежом.

— Ну, про это он один только знает, зачем он приехал сюда. Потемкин в возбуждении заходил по комнате, а затем воскликнул:

— Ну, Семен, если же что — правда, так — смотри — не сносить ему головы! Уж я свою сложу, ну а рядом с моей с помоста будет катиться и его.

— И будет глупо! — ответил Румянцев. — К чему твоей голове также катиться, когда его одна может это сделать? Только вот еще что тебе я скажу, боярин: как ты его достанешь? Слышал ты, что я тебе рассказывал, как шугнул Гадена Матвеев?

Потемкин задумался.

— Да, — произнес он после некоторого молчания, — об этом надо подумать.

— Вот то-то и оно. А головой поиграть мы еще успеем. А надобно сделать так, чтобы и нам целехонькими остаться, да и Ромашке сгибнуть... на этот раз уж окончательно.

XIX

Царский поезд далеко вытянулся, выезжая из Москвы. По улицам и у ворот толпилось много любопытных, смотревших на одетых в нарядные кафтаны разных цветов, с саблями у бедра, с пищалями в одной руке и с бердышами в другой, стрельцов. Они мерно шагали впереди, побрякивая своими патронными трубочками, висевшими на ремне через правое плечо. За ними ехали верхами боярские дети и придворные — дворцовые жильцы; у некоторых из них были на руках одетые в теплые попоночки ввиду зимнего времени соколы, другие вели собак на смычках.

За боярскими детьми и жильцами шли опять стрельцы, позади которых ехали в санях и кошевках ближние к царю люди, между которыми можно было видеть боярина Матвеева, Ордина-Нащокина, князя Черкасского и некоторых родственников царицы, Нарышкиных. Позади этих саней ехал запряженный шестеркой, обитый теплыми мехами возок царя, со стеклянными дверцами по бокам.

Не слишком далеко от возка шли сани с прислугой, царской кухней и несколько подвод с докторами и царской походной аптекой, с походной церковью и священнослужителями. Поезд замыкал многочисленный отряд конных стрельцов, рейтар и драгун.

Стоявшие любопытные кланялись в землю, когда проезжал мимо царский возок.

— Где же он, Ромашка-то? — нетерпеливо спросил бывший тоже в толпе Потемкин стоявшего рядом с ним дьяка Румянцева.

— А вот гляди влево! — ответил дьяк. — Видишь, вот едут попы, а позади попов двое дохтуров в черных шапках? Узнаешь?..

— Господи Христе! Да ведь это и впрямь Ромашка! — воскликнул удивленный Потемкин.

Когда они вернулись с царских проводов в дом Румянцева, дьяк сказал:

— Давай пошлем за подьячим Прокофьичем; они с Ромашкой-то приятели были.

— Спосылай, Семен.

Через час Прокофьич пришел к дьяку.

— Ну-ка, садись, Прокофьич, испей медку с нами да поговорим по душам. Вспомним, как за рубежом странствовали, — сказал Потемкин, наливая кубки.

— Выпить можно. Отчего не выпить? — ответил подьячий, присаживаясь к столу, уставленному медом и пивом.

— Вот ты себе там чрево нажил, а товарищ-то твой там кости сложил, — заметил как бы вскользь Потемкин.

— Это вы про Яглина Романа? Да, да... как же, потоп там, царство ему небесное, душе его вечный покой.

— А видал ты этого нового заморского дохтура? — вдруг задал ему вопрос Потемкин.

— Это ты про Аглина-то? Как же, как же... видел. Зело на Романушку покойного похож, — уже заплетающимся языком ответил подьячий.

— А может статья, что это он и есть? — прямо задал ему вопрос Потемкин.

— Ну, уж и бухнул ты, боярин! С чего он заморским дохтуром сделается? Разве это дело православного человека? На это нехристи-немцы есть, в дохтура-то идти, а Романушка был русский, православный человек.

— Так не признаешь ты, Прокофьич, этого заморского дохтура за беглого из его царского величества посольства толмача Яглина Ромашку? — строгим тоном спросил воевода.

Как ни пьян был подьячий, но и он почувствовал в голосе Потемкина особые ноты. Он открыл глаза и, с удивлением взглянув на воеводу, воскликнул:

— Да что ты, Петр Иванович, точно допрос у себя на воеводстве чинишь? Чего доброго, и пристрастие прикажешь надо мною чинить.

— А ты не виляй, приказная душа! — прежним тоном сказал воевода. — Похож, по-твоему, этот заморский дохтур на Яглина Ромашку али нет? Ответствуй!

— Точно что похож, да только...

— Больше ничего не нужно.

— Да к чему тебе все это, Петр Иванович?

— А к тому, что хочу извет сделать на этого дохтура, что он есть беглый толмач из царского посольства. Давай, Семен, бумагу и перо.

Даже Румянцев ахнул при этом и от неожиданности присел. А у бедного Прокофьича и язык отнялся.

— Послушай, государь, — сказал, оправившись, дьяк. — Смотри не обманись: ты ведь знаешь, что доносчику первый кнут. Не вышло бы того, что в застенке вместо этого заморского дохтура шкуру-то палить вениками да суставы выворачивать тебе будут? Не посмотрят, что ты — воевода, а за ложный извет дюже поплатиться придется.

— Помолчи, Семен, — оборвал его воевода. — Я знаю, что делаю, но обиды я не прощу — или сам пропаду, или обидчика загублю.

Часа через два был готов извет, обвинявший доктора Романа Яглина в том, что он не кто иной, как самозванец и беглый толмач царского посольства Роман Яглин, самовольно покинувший службу. А что извет этот верен, в том есть свидетели: Посольского приказа дьяк Румянцев и подьячий Неелов.

XX

«Вот так дело! — подумал Прокофьич, выйдя на следующий день утром на улицу из дома Румянцева, где он, свалившись вчера пьяным под лавку, заночевал. — Попал-таки я в кашу! Ведь Петр Иванович шутить не любит — и извет подаст, как бог свят подаст! Ахти мне, бедному! И потащат раба Божь-

его, подьячего Прокофьяча, в приказ и велят сказать: он или не он? А я откуда знаю: он ли это или не он? Ведь я и сам вклепался в него, думал, что Ромашка. А он выпятил на меня свои буркалы и ни слова. Разберись тут! А коли не скажешь, он ли это или не он, так тебя, раба Божьего, растянут на полу ребята ловкие да таких-то тебе всыплют, что и отца родного за Ромашку признаешь. Да... Там шутить не любят. Ну, однако, все это хорошо,— немного погодя подумал он,— мне-то здорово влетит, а Роману-то, коли и на самом деле он им окажется, еще боле. А если этот заморский дохтур и не Ромашка Яглин, то ему немало волокиты придется испытать. Поди, проклянет он тот день и час, когда вздумал ехать из-за рубежа на царскую службу, коли попробует застеночного угощения. А сем-ка я вот что сделаю: добегу-ка до Немецкой слободы и предупрежу этого немчина на всякий случай. А там пусть он сам выворачивается, как хочет»,— и, подобрав в руки полы своего длинного приказного кафтана, Прокофьяч быстро пошел к Немецкой слободе.

Дойдя до околицы, он вдруг упал на землю и стал кричать: — Ой, батюшки! Ой, матушки! Смертушка моя приходит! Ой, кто в Бога верует, помогите! Лекаря бы мне какого... дохтура. Ой, умираю!

При этом он хватался руками за бока и за живот.

Вскоре около Прокофьяча собралась целая толпа ребятишек-немчинок, с удивлением смотревших на этого толстопузого русского, валявшегося на земле и причитавшего благим матом. Затем к ребятишкам присоединились взрослые и тоже с удивлением смотрели на подьячего.

— Смерть, видно, моя приходит! К дохтуру бы меня. Говорит из вас кто-нибудь по-нашему-то? — обратился Прокофьяч к толпе.

— Я говорю,— ответил какой-то немец-ремесленник.

— Умираю, видишь, родной, я. Объялся, знать, чего-нибудь. Здесь у вас живет дохтур Роман Аглин. Нельзя ли меня к нему провести будет?

— Доктор Аглин живет в доме доктора Коллинса,— ответил тот же немец.— Я вас могу проводить.

— Проводи, родимый, проводи. Сделай милость, потрудись! Век не забуду твоей услуги! — произнес Прокофьяч и, по-прежнему охая, поднялся с земли, а затем пошел с немцем по направлению к дому Коллинса.

Следовавшая за ним толпа мало-помалу рассеялась.

— Это дом доктора Коллинса,— сказал наконец немец, указывая на чистенький, как и все в Немецкой слободе, домишко доктора Коллинса, крытый черепицей.

— Ну, вот и спасибо тебе. А дальше ты не трудись: я и сам до него доберусь.

Немец ушел, и подьячий вошел в чисто подметенный и посыпанный песком двор.

— Что вам нужно? — встретила его вопросом на немецком языке какая-то толстая немка, стоявшая на крыльце.

Подьячий догадался по тону вопроса, чего от него хотят, и ответил:

— Дохтура бы мне надо... дохтура Аглина. Его повидать.

— Доктора нет дома.

— Нету? Ах ты, напасть! А мне его надобно было бы по важному делу. А скоро он будет?

— Он поехал с царем,— ответила немка.

Подьячий ударил себя по лбу.

«Вот толстопузый дурак,— выругал он самого себя.— Ведь говорил только что об этом Петр Иванович, а у меня из ума об этом вон! Ну, теперь пропадет этот заморский дохтур: только вернется из царского похода, так его цап-царап!» — И вдруг он замер — он увидел в окне ту самую женщину, у которой был в Байоне по поручению Яглина.

— Что это, не наваждение ли? — вслух сказал он и стал протирать глаза.

В это время позади послышалось бряцание оружия. Он оглянулся и увидел входившую во двор кучку стрельцов с подьячим Разбойного приказа, державшим в руках бумагу.

— Дома женка дохтура Романа Аглина? — громко спросил пришедший немку.

— Да, да, да,— забормотала та неуверенно.

— А давай-ка ее сюда.

Испуганная немка скрылась в доме и тотчас вернулась со взволнованной Элеонорой.

— Ну, молодка, собирайся-ка да пойдём со мною в приказ,— сказал дьяк ничего не понимавшей Элеоноре.— На вас с мужем извет есть.

Пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, Прокофьич незаметно шмыгнул за ворота.

«Ну и дела! — говорил он сам с собой, быстро шагая по улицам Немецкой слободы.— Пропадет теперь Ромашка ни за понюх табака! Пропадет, как есть, со всеми потрохами и с гишпанкой своей».

Для него теперь более не составляло сомнения, что заморский доктор Роман Аглин и беглый толмач царского посольства Роман Яглин — одно и то же лицо.

XXI

Тишайший сильно разнемогся в дороге, возвращаясь назад в Москву из Троице-Сергиевой лавры. Пришлось остановиться в первом же селе и занять помещичий дом.

— Смерть, знать, приходит, Сергеич,— сказал государь Матвееву.— И голова стала дурная, и в бока что-то колет, и на душе скверно.

— Царь-батюшка, не говори так,— со слезами в голосе произнес Матвеев.— Без тебя царство пропадет.

— Не пропадет, Сергеич,— ответил Тишайший.— После меня сыновья остаются. Есть кому править.

— Да нельзя на них надеяться,— ответил Матвеев.— Феденька здоровьем слаб, Иванушка, сам ты знаешь, скорбен главою, а Петруша еще мал. Умрешь — править царством некому будет. Полечился бы ты, государь! Хочешь, я дохтуров позову?

— Не надо пока, Сергеич. Может статься, и так отлежусь.

Но отлежаться Тишайшему не пришлось: к вечеру ему стало хуже.

Тогда были приглашены перед царицы светлые очи Зоммер и Аглин. Они внимательно осмотрели государя, выслушали показания, как его, так и окружающих его, и стали совещаться между собою, причем долго не соглашались в диагнозе болезни. Когда последний был поставлен, то они оба отправились составлять лекарство.

Но оно помогло мало, и царю делалось хуже. Он совсем не вставал с постели и часто впадал в забытье. Зоммеру и Яглину пришлось учредить около царя дежурства.

Ночь. Яглин сидит на лавке за несколько комнат от царя перед столом, на котором стоят разные банки, склянки и тому подобное. Кругом царит глубокая тишина. Царь недавно спокойно опочил, и все окружающие его разошлись, утомленные, по своим местам. Яглину не спится. Разные думы бродят в его голове.

Ему припомнилось все прошлое, начиная с жизни на берегу Волги и смерти сестры, посольство за рубежом, «гишпанка»,

бегство из посольства, университеты и, наконец, приезд на родину под вымышленным именем обманном образом. Что будет дальше — он не мог знать. А вдруг да как откроется обман? Тогда плаха или, в лучшем случае, ссылка в Сибирь. А неотомщенная сестра? А любящая жена, которая последовала за ним на чужую, дальнюю, дикую сторону? Что же будет дальше?

Однако как легко устроилось его назначение на царскую службу! Вот он почти рядом с тем, от кого зависит его судьба, по слову которого у него может слететь с плеч голова или осуществиться то, к чему он стремится. Как найти дорогу к сердцу цареву? Как рассказать ему все, что у него имеется на душе? Яглин думал и не находил ответа.

Вдруг рядом, в соседней комнате, слышались беготня и чьи-то возгласы, и в ту же минуту в комнату вбежал дежуривший в опочивальне царя стольник, весь бледный.

— Дохтур Роман! — воскликнул он дрожавшим от волнения голосом. — Государь отходит.

Яглин вскочил на ноги.

— Что, что ты сказал? — переспросил рассеянно он, выведенный из своих дум.

— Государь отходит. Боярин Матвеев за тобой...

Не слушая его дальше, Яглин бросился к опочивальне царя. Там, около постели Тишайшего, толпились проснувшиеся и прибежавшие сюда Матвеев, Ордин-Нащокин, Черкасский и другие ближние к царю лица. Яглин протиснулся вперед.

На белоснежной постели лежал полуодетый царь с покрасневшим лицом, издававший по временам какие-то хриплые звуки. Правая рука была заброшена на грудь, а левая беспомощно свисала с постели.

Кругом тихо шептались между собою.

— Проснулся государь недавно, — сказал кто-то, — и, позвав к себе сказочника Акундиныча, заставил его рассказывать про святую гору Афон. А там как закатится и упал навзничь.

Вдруг раздался чей-то суровый голос:

— Прими, Господи, душу раба Твоего Алексея с миром и упокой его со святыми Твоими! — И вперед вышел духовник царя со Святыми Дарами. — Глухую исповедь надо сделать. Удалитесь все! — обратился он к окружающим. — Государь отходит.

— Рано еще, отец, хоронить государя, — энергичным голосом вдруг произнес Яглин. — Не умер еще он, батюшка.

Взглянув на царя, он сразу понял, что с ним, — при его полном, тучном телосложении случился просто прилив крови к го-

лове, и, сказав свою фразу, он бросился вон из комнаты, а затем быстро вернулся, держа в руках хирургические инструменты.

Духовник неприязненно взглянул на Яглина и обратился к окружающим негодующим голосом:

— Не позволяйте, бояре, возмущать последние мгновения государя и осквернять его прикосновением еретика в ту пору, когда он готовится предстать пред Всевышним...

Все молчали и недоуменно переглядывались между собою, не зная, что делать.

Вдруг среди тишины раздался голос Матвеева:

— Дохтур Роман, делай скорее свое дело.

— Таз,— отрывисто приказал Яглин и заворотил рукав рубашки царя.

— Боярин Артамон Сергеевич, ты берешь все на себя? — обернувшись к нему, сурово спросил духовник.

— Беру,— твердо произнес Матвеев.

Тем временем Яглин вынул блестящий металлический скальпель и твердой рукой вонзил его острие в запястье царя. Кто-то позади ахнул, когда кровь струей хлынула из отверстия и стала падать в подставленный серебряный таз. Но затем кругом воцарилось молчание.

Побледневший Яглин пристально смотрел в лицо Тишайшего. Краска с лица царя начала спадать, и оно стало все более и более бледнеть. Наконец одно веко дрогнуло, и Яглин зажал пальцем артерию выше сделанной раны. Затем он приказал принести холодной воды и брызнуть в лицо царю. Через минуту последний открыл глаза и, устремив с минуту неподвижный взор в потолок, перевел его на стоявших у постели.

Вздых облегчения вырвался у всех.

— Что это я? — слабым голосом спросил царь, проводя правую руку по лицу.— Никак, я без памяти был?

— Думали, что ты, государь, отходишь,— ответил Матвеев.— Испугались мы дюже. Вот дохтур Роман тебя спас.

— Не наказал еще Господь, молитвами святых угодников, меня смертью по грехам моим,— помолчав, сказал Тишайший.— Еще дает века.

Матвеев, находя присутствие многих людей в опочивальне царя совершенно излишним и утомительным для больного, тихонько шепнул им, чтобы они ушли, и комната через минуту опустела.

— А ты, Роман, пока побудь здесь,— тихо сказал он Яглину.— Может статься, понадобится за чем.

— Боярин, я и так не могу пока оставить больного государя,— ответил Яглин.— Ему надобно дать еще укрепляющее питье,— и он вышел из комнаты, чтобы сделать последнее.

В дверях Роман Андреевич столкнулся со спешившим Зоммером. Увидев, что он уже опоздал и что его коллега уже сделал все, что надобно, немец с завистью посмотрел на счастливого товарища. Яглин рассказал ему про все, что случилось, и они пошли готовить лекарство для царя.

Через несколько минут в комнату вошел спальник царский с тем тазом, куда выпустил Яглин кровь Тишайшего.

— Дохтур Роман,— сказал он,— приказал боярин Матвеев ту руду царскую взвесить и в книгу занести, а потом, выкопав в саду ямку, руду закопать.

Яглин взвесил кровь, которой оказалось почти фунт, и затем ее при двух ближних царских боярах положили в вырытую в саду ямку, как то требовалось правилами царского дворца.

— Наградит вас теперь государь, коллега! — не без зависти произнес Зоммер.— За отворение крови царю здесь щедро награждают. Вон покойному государю отворяли кровь Венделинус Сибилист и Артемий Дий, и за это им пожаловал государь много хороших подарков.

Но Яглин мало думал об этих подарках, так как лучшей наградой для него было бы царское прощение.

Между тем все вышедшие из опочивальни царя толпились в соседних комнатах и обсуждали тихими голосами происшедшее, то, какой опасности подвергался Тишайший, которого чуть было не лишилось Московское государство. Разговор затем перешел на доктора Романа, благодаря находчивости и искусству которого государь опять возвратился к жизни.

В эту ночь Яглин вместе с Матвеевым не отлучались от постели уснувшего Тишайшего.

— На лад твое дело, Роман, идет,— сказал ему Матвеев.— Надо таким случаем пользоваться. Государь, наверное, про тебя вспомнит, а тогда не зевай.

XXII

Как Матвеев предсказал, так и сбылось. На другой день Тишайший, чувствуя себя еще слабым, не вставал с постели.

— Отдохну еще денек, а там и двинемся,— сказал он Матвееву.— А ты, Сергеич, придвинь-ка поближе столик да сыграем в шахматы.

Артамон Сергеевич тотчас исполнил приказание.

За шахматами, в середине игры, государь вдруг сказал:

— А кто, бишь, вчера мне жилу отворял? Сегодняшний дохтур, что мне питье приносил?

— Нет, государь,— ответил Матвеев,— сегодня у тебя был дохтур Зоммер, а жилу твою отворял дохтур Аглин.

— Это который же? Я что-то такого не знаю.

— Он еще недавно на твоей царской службе, государь, совсем еще молодой.

— О! И такой искусник?

— Знает свое дело хорошо, государь.

— Наградить его, Сергеич, надо. Составь там роспись подаркам и покажи мне. А где он теперь?

— Позволишь позвать его, государь? — спросил Матвеев.

— Ну, ин ладно, позови! Я его еще хорошо-то и не знаю в лицо.

Матвеев позвал спальника и приказал ему идти за Яглиным.

Через несколько минут последний стоял перед Тишайшим и бил ему челом.

— Совсем еще молоденец! — сказал царь, взглянув на него.— Где обучался, господин дохтур, своему искусству?

— В разных местах, государь: в Паризе-городе, Падуе, Болонье,— ответил Яглин, не спуская взоров с царя.

А у самого в это время сердце колотилось и мелькали думы: «Вот оно!.. Одно мгновение — и все должно решиться. Либо прощение и милость, либо гнев и смерть».

И Яглину казалось в эту минуту, что вокруг него носятся какие-то тени, бесплотные, бесформенные, которые тесно окружают его, замыкают в плотное кольцо и не дают сосредоточиться на каком-либо решении. Он не сводил глаз с царя: мысли его путались и язык плохо повиновался.

— Изрядный дохтур будет из него, Сергеич,— обратился Тишайший к Матвееву.— Ловко он мне жилу-то отворил: и не больно ничего. В прошлый раз отворяли ее мне, да не так ловко: жила опосля болела и опух на том месте был. А теперь ничего, даже краски нет,— поглядел на свою руку царь.— Ну, что же, Сергеич,— затем обратился к Матвееву.— Чем же ты пожалуешь его? Какими подарками?

«Вот оно, начинается! — огненной полосой прошла в голове Яглина мысль.— Сейчас... сейчас...»

Ему показалось, что в эту минуту Матвеев по-особенному разительно посмотрел на него. Роман Андреевич вдруг по-

чувствовал в голове туман, все перед его глазами закружилось, и он, не помня как, опустился на колени перед изумленным царем.

— Что ты? Что с тобой, дохтур Роман? — удивленно взглянув на него, сказал Тишайший.

— Милости, государь, прошу! Милости! — бессвязно ответил Яглин и ударился лбом о землю.

— Да что такое? — повторил вопрос Тишайший. — В толк что-то не возьму. Скажи толком, в чем дело?

— Обманул я тебя, государь... непростительно обманул... Казни, государь, раба своего...

Брови Тишайшего нахмурились, и он привстал на локте.

— Обма-анул? — протянул он. — Говори скорее чем!

— Не иностранный я человек, надежа-царь, а твой же подданный, беглый толмач из твоего посольства к французскому королю Роман Яглин.

Тишайший некоторое время, ничего не говоря, пристально смотрел в лицо Яглина. В комнате было тихо.

— Стало быть, ты не дохтур? — прервал молчание Тишайший. — И твои бумаги о дохтурстве не подлинные, а воровские?

— Нет, государь, я — дохтур и бумаги мои не воровские, а настоящие: я учился за рубежом в высоких школах и докторское свое звание честно заслужил. Воровским образом я только на твоего царского величества службу поступил. В том моя вина, и за то казни, государь!

Тишайший обернулся в сторону Матвеева:

— Сергеич, ты знал об этом?

— Недавно только узнал, государь, и челом тебе бью — выслушай его, — ответил Матвеев.

Тишайший размышлял, опустив глаза и нахмутив брови.

— Ну, ин ладно, пусть рассказывает, — затем разрешил он и отвалился на подушки.

Яглин начал рассказывать все, начиная со своего житья в вотчине отца и обиды, нанесенной ему свияжским воеводой.

XXIII

Тишайший молчал, когда часа два спустя Яглин окончил свою повесть. Роман со страхом взглянул на царя, желая увидеть, какое впечатление произвело на него все, рассказанное им. Но царь молчал. Наконец он махнул рукою и тихо сказал:

— Иди, Роман, я подумаю, чего тебе присудить.



Яглин низко поклонился царю и вышел вон.

— Сергеич,— сказал царь, видя, что и Матвеев хочет тоже уходить,— а ты останься малость. Правду он рассказывал?

— Правду, государь,— ответил Матвеев.— Не такой он человек, чтобы лгать.

— И искусный же он человек! — задумчиво произнес затем Тишайший.— Вот судьбе было угодно, чтобы он нам жизнь спас, открыв жилу.

— Государь,— осторожным тоном сказал Матвеев,— Яглин — первый дохтур из наших русских людей, и к тому же такой, который не уступит зарубежным дохтурам.

— Да, да...— прежним задумчивым тоном произнес Тишайший, поглаживая свою каштановую бороду.— Жалко его было бы судить.

— Прости его, надежа-царь! Ведь любовь — не шутка, а тут в такое положение попал, что ему осталось выбирать одно: бросить девку на произвол судьбы, и она сгилба бы, или бросить посольство и идти спасать ее. И потом еще, государь, как ты будешь судить того человека, который, может статься, своим искусством славу твоему государству принести может? А ведь он — первая ласточка.

Тишайший молчал, видимо раздумывая.

— Иди! — затем сказал он.— Мы подумаем, как быть.

Матвеев поклонился и вышел. Он прошел в ту комнату, где находился дежурящий доктор, и застал там Яглина, нервно расхаживавшего по комнате.

— Не тужи теперь, парень,— сказал он веселым голосом, трепля молодого доктора по плечу,— выгорит наше дело.

— Ты думаешь, боярин? — радостно воскликнул Роман.

— Молись знай Богу.

На другой день царь велел собираться в поход.

Все засуетились; начались укладка, обряжение — и наконец поезд двинулся.

Напрасно Матвеев внимательно смотрел на царя, думая, что тот вот-вот заговорит об Яглине. Тишайший молчал, как будто забыв о нем.

— Ты пока и не показывайся царю на глаза,— сказал Матвеев Роману.— Вдруг да в недобрый час попадешься ему — тогда прощай твоя голова. И я уж тогда не помогу.

Яглин скрывался все время от взоров царя.

Двинулись в поход.

Путешествие прошло благополучно. Тишайший чувствовал себя хорошо, и ни одного доктора не пришлось звать. В скором

времени показались золоченые кресты и купола церквей московских.

«Неужто царь позабыл?» — с замиранием сердца думал Яглин, и его при этом бросало то в жар, то в холод, и он не знал, чему приписать молчание царя.

Когда Тишайший проехал во дворец, доктора со своим штатом поехали в старую аптеку, чтобы там сдать походную аптечку. Едва Яглин успел войти в помещение, дверь отворилась, и в аптеку вбежал запыхавшийся Прокофьич. При виде его у Яглина почему-то упало сердце как бы в предчувствии какой-то беды.

Отыскав глазами Яглина, подьячий подошел к нему и сказал:

— Дохтур Роман, выдь-ка со мною на крыльцо на два слова! Не говоря ничего, Яглин вышел за подьячим.

— Ну, Романушка, голубчик мой, все открыто, дорогой, — без всякого предисловия сказал Прокофьич. — На тебя сделан извет, что вовсе ты не дохтур, а беглый толмач нашего посольства, и твою женку уже забрали.

— Что такое? Что ты говоришь? Повтори! — в ужасе закричал Яглин, схватив его за руку.

Подьячий повторил, нисколько не удивляясь теперь, что «заморский дохтур» не отказывается от тождества с беглым толмачом царского посольства.

— Приехал Потемкин Петр Иванович; он опознал тебя в царском поезде и сделал на тебя извет, что ты не дохтур, а беглый толмач. Из приказа послали стрельцов, чтобы забрать и тебя, и твою жену. Ее-то забрали, и она сидит теперь в тюрьме. Я каждый день хожу, навещаю ее. Похудела, бедная.

Не слушая дальше подьячего, Яглин отворил дверь в аптеку, крикнул по-немецки: «Доктор Зоммер, сдай аптеку за меня. У меня дома несчастье!» — и, быстро сбежав с крыльца, побежал в Немецкую слободу, так что толстый Прокофьич еле поспевал за ним.

Едва Роман вошел во двор дома Коллинса, как из дверей какой-то дворовой постройки вышел пристав с земскими ярыжками и, подойдя к Яглину, сказал:

— Тебя-то нам и надо, сударик ты наш! Долгонько-таки пришлось дожидаться твоей чести!

По знаку его ярыжки скрутили Яглину руки.

— Прокофьич, — крикнул не растерявшийся Роман подьячему, показавшемуся в это время в воротах, — беги к боярину Матвееву и расскажи ему, что меня забрали.

Петр Иванович Потемкин был очень доволен результатами своего доноса: Яглин теперь сидел за запорами, и высмеянное самолюбие воеводы было, таким образом, отомщено.

«Вот погоди, голубчик, посмотрим, как ты посмеешься, когда тебе на площади кат спину всю взборонит кнутом, да ноздри вырвет, да каленым железом клеймо наложит! Уж, видно, тогда не ты, а я посмеюсь», — думал воевода, расхаживая по комнате.

Ему не терпелось, и он поехал в Разбойный приказ, чтобы узнать там, когда будут допрашивать его вора.

— Да чего ты больно торопишься, боярин? — смеясь, сказали ему там. — Все равно парень-то не уйдет от нас. Дай ему хоть несколько деньков походить с целыми ноздрями.

Мрачный вид имела изба Разбойного приказа. Низкие потолки, небольшие слюдяные оконца, плохо пропускавшие свет, грязные стены — все это не могло настраивать на веселый лад того, кто попадал сюда. Да и не по одному этому сюда не любили попадать. Все прохожие спешно проходили мимо приказа, со страхом крестясь и боязливо озираясь по сторонам. Из-за ограды этого приказа часто слышались то сдавленные, точно заглушаемые, то громкие и отчаянные крики, от которых мороз по коже пробегал.

В застенке Разбойного приказа день и ночь шла «работа». Здесь допрашивали и пытали простых «гулливых людей», пойманных с оружием на большой дороге или на широкой Волге; сюда приводились боярские холопы, показавшие что-либо на своих господ и под пыткой подтверждавшие свои слова; здесь не гладили по головке и тех из бояр и даже родовитых князей, относительно которых возникало сомнение, что они умышляют «про здоровье государево» или крамолу сеют.

Никого не щадил застенок приказа — и немало испустило свой последний вздох на дыбе, на пытке огнем или при выкраивании ремней из кожи спины.

Здесь часто рвали ноздри пойманным в нюхании запрещенного зелья — табака, клеймили лбы и щеки разным татям — вора и разбойникам, урезывали языки «изрыгающим хулу на пресветлое имя царское» и секли, секли без числа по всякому поводу богатых купцов, бедных смердов, мужчин, женщин и даже детей.

Такая работа наложила и свою особую печать на работавших здесь «заплечных дел мастеров» (палачей): все это были

люди со зверскими лицами и грубым сердцем, которых тешили крики истязуемых и веселили стоны умирающих на пытке.

И сегодня кат Ванька Рыжий с любовью налаживал ремни и веревки на дыбе, пробовал, крепки ли они, и смазывал их салом, чтобы они крепче впивались в руки пытаемого.

— Ни одного немца не приходилось пытать на своем веку, — сказал он своему помощнику. — Нашего брата, московского человека, сколько угодно, татар пытал, хохлов, поляков не раз, башкира и хиргизина одного, даже раз свейского человека по спине горящим веником попотчевал. А немца ни одного. А вот сегодня попробую.

— А кого будут пытать, дяденька? — спросил Ваньку его помощник Пашка.

— Дохтура одного из Немецкой слободы. Речи (допрос) с него будет воевода с приказными снимать. А ты пока, Пашка, на всякий случай разведи-ка огонь: может, и спину ему жарить будем. Чать, приведут его скоро. И покажу же я ему, басурманской душе, кузькину мать! Узнает он где раки-то зимуют! — и Ванька даже потянулся от удовольствия.

А в приказной избе между тем шел допрос. За столом сидел воевода Разбойного приказа боярин Стрешнев с дьяком и подьячими.

Перед ними стоял Яглин с земскими ярыжками позади и двумя стрельцами. Его лицо было бледно и судорожно подергивалось. Глаза глубоко впали, и зубы были плотно сжаты.

— А ну-ка, дохтур, признавайся нам, кто ты будешь таков, откуда и как тебя звать? — обратился к нему Стрешнев. — Говори всю правду! Сознаешься — легче и наказан будешь; скрытным быть учнешь — не прогневайся, велю в застенок свести. А уж там тебе язык-то развяжут.

— Скрывать мне, боярин, нечего, — дрожащим от волнения голосом ответил Яглин. — Про то, что я тебе буду говорить, знает и сам государь. Я ему все рассказал.

Стрешнев усмехнулся себе в большую, широкую бороду.

— Ну, если бы государь знал, так ты не попал бы сюда. Ну, однако же, выкладывай все! Кто ты таков?

Начался допрос. Яглин ничего не скрывал и рассказал все.

Когда он окончил, Стрешнев сказал:

— Вот ты говоришь, что из посольства царского ты сбежал из-за девки этой?

— Да, — ответил Яглин.

Стрешнев хитро прищурил свои глаза, внимательно глядя на молодого доктора, и, помолчав немного, спросил:

— А не было ли у тебя воровского умысла, сбежавши из посольства великого русского государя, передаться врагам его и злоумыслить на великое царство Московское?

У Яглина по коже пошли мурашки.

«Вот они куда гнут!» — подумалось ему, и он чувствовал, что петля на его шее ту же затягивается.

— Нет,— твердо сказал он.

— Так! — насмешливо произнес Стрешнев.— Ну а скажи нам теперь, дохтур, вот что: не было у тебя на уме злого умысла учиться дохтурской науке с целью, приехав в Москву, поступить под чужим именем на службу великого государя и извести его по научению его врагов и недругов ядом или иным каким зельем?

Холодный пот выступил на лбу Яглина. Он почти задыхался и не мог ничего ответить. Вопрос, предложенный главою Разбойного приказа, был сделан не без умысла: Роман понял, что тут есть заговор лиц, которые хотят погубить его.

«Государь, государь! Я тебе спас жизнь, а ты забыл про меня!» — мысленно воскликнул он и затем, оправившись, твердо произнес:

— Нет, такого злого умысла у меня на уме не было.

— Ой ли? — снова прищуриваясь, насмешливо спросил Стрешнев.— Говори лучше правду, дохтур. Тогда тебе и наказание будет легче. Будешь заператься, хуже будет.

— Нет, у меня такого злого умысла не было,— повторил Яглин.

— Лучше кайся, дохтур,— опять сказал Стрешнев.— Ведь с пытки все равно скажешь.

— Нет, не было у меня злого умысла,— опять повторил Роман Андреевич.

— И упорный же ты парень, как я погляжу! — сказал Стрешнев.— Ну, что же делать: сам виноват, если не хочешь правду сказать добром. Авось с дыбы скажешь. Уведите его!

Один из стрельцов положил Яглину руку на плечо и повернул его к выходу. Роман Андреевич, как автомат, шел за ними, и горькие думы шевелились в его голове. Он упрекал себя за злосчастную мысль ехать на родину, как будто нарочно только за тем, чтобы покончить здесь свою жизнь на дыбе или на плахе. А бедная его жена? Что с нею и что ждет еще ее? А царь? Так-то он заплатил ему за спасение своей жизни!

— А ну-ка, дохтур, раздевайся! — вдруг раздался над его ухом чей-то грубый голос.

Яглин вздрогнул и, подняв глаза, увидел около себя здорового рыжего детину, с отвратительной улыбкой смотревшего на него. Бросив вокруг себя беглый взгляд, Роман увидел свисавшую с потолка дыбу, раскаленный очаг, какие-то щипцы и другие инструменты и содрогнулся. Он понял, что он в застенке, что он погиб...

XXV

Боярин Стрешнев ходил по приказной избе и от удовольствия потирал себе руки. Он исполнил просьбу своего кума Потемкина, который несколько дней тому назад посетил его.

— И хорошие же у тебя, куманек, аргамаки! — не без зависти сказал он, когда Потемкин показал ему пару жеребцов, которых он привел в Москву из своего воеводства.

— Понравились? — спросил его воевода.

— Ну, еще бы. Небось таких и на царской конюшне не найдешь.

— Н-да, куманек, эти аргамачки особливые: мне ими откупились у меня на воеводстве перские купцы, которых я там, у себя, в железы посадил. А хочешь, куманек, они твои будут?

Стрешнев с удивлением посмотрел на него.

— Шутишь, кум,— немного погодя сказал он.— Таких коней даром не дают.

— Да я тебе не даром их отдам.

— Ну а чего взамен потребуешь?

— Чего? А вот слушай. Извет подаю я на одного немецкого дохтура.— И Потемкин рассказал Стрешневу о Яглине.

— А верно, кум, все то, что ты говоришь? — выслушав его, спросил глава Разбойного приказа.

— Сам хоть на дыбу пойду.

Стрешнев подумал, а затем произнес:

— Ладно! Подавай навет, кум. Одно то, что он из посольства убегом убежал,— дело воровское. А там, на допросе, я на него такое взведу, что, как ни крутись, а из моего приказа не вырвешься. Вот только разве что,— вдруг вспомнил о чем-то он,— кабы Артамошка Матвеев не вступился за него: ведь он у нас — голова Аптекарского приказа.

— А я так думаю, кум, что он не вступится: ведь, поди, он и сам не знал, кого на службу царскую берет. А тут как такое на свет Божий выплывет, он рад будет, что уберут от него Ромашку.

— Правда твоя, кум,— согласился Стрешнев.— Так аргамаки мои?

— Твои, твои, кум, будут. Только сделай дело!

Стрешнев ходил теперь по приказной избе и рисовал в уме картины, как такой завзятый любитель хороших лошадей, как Ордин-Нащокин, от зависти чуть не лопнет, увидев его аргамаков.

«Ну, однако, надо и на пытку идти»,— вспомнил он и обратился к дьяку:

— Бери бумагу да пойдем пыточные речи слушать.

В это время в избу вошел ярыжка:

— Боярин, сюда приехал боярин Матвеев.

«Чего еще надо этому немецкому псу? — с досадой подумал Стрешнев.— Знать, узнал, что его дохтура забрали сюда. Не выручать ли приехал?» — И он уже чувствовал, как аргамаки уплывают из его рук.

Однако он сделал любезное лицо и вышел навстречу гостю.

— А, Артамон Сергеевич! — радостно воскликнул он.— Гостек дорогой! Какими судьбами пожаловал?

XXVI

Между тем Прокофьич никак не мог рассказать Матвееву о том, что случилось с Яглиным. В хоромы боярина его не пускали боярские челядинцы, как он ни заверял их, что у него есть до боярина большое дело.

— Знаем, какое у тебя дело-то: наверное, со службы за пьянство выгнали, вот ты и лезешь надоедать боярину. Вишь, у тебя нос-то какой сизый,— говорили они.

Прокофьич два дня ходил около хором Матвеева в надежде увидеть его. А тот, как назло, захворал и не выходил никуда из дома. Наконец, на третий день Прокофьич увидел, что со двора выезжает возок, запряженный четверкой. Он забежал вперед лошадей и, махая руками, стал кричать:

— Боярин Артамон Сергеевич! Постой! Сделай милость, постой малость!

— Пошел прочь с дороги, дурень! — закричал на него возница, замахиваясь кнутом.— Налил zenки-то, чертова голова, и лезет.

Но Прокофьич не испугался кнута и, продолжая махать руками, не переставал кричать.

Возок поневоле должен был остановиться, и Матвеев взглянул в оконце.

— Что там такое? — спросил он.

— Да вот, боярин... — начал было возница, но Прокофьич тем временем подбежал к возку и закричал:

— Боярин, ведомо ли тебе, что твоего дохтура, Яглина Романа, в железы посадили?

Матвеев в недоумении посмотрел на него и немного погодя произнес:

— Что ты мелешь? Кто взял?

— Из Разбойного приказа пришли за ним ярыжки и взяли его по извету воеводы Потемкина.

— Гони скорее! — крикнул Матвеев вознице, и возок быстро покатил.

Когда часа через три на Верху один из дворцовых жильцов подошел к нему, говоря, что государь приказал звать его к себе, Матвеев, идя в покои государя, решил напомнить ему о Романае.

— Здравствуй, Сергеич, — встретил его Тишайший. — Да что это с тобой? Чего так не весел? К царю с таким лицом негоже входить.

— Сам знаю свою вину, надежа-царь, — ответил Матвеев. — Да уж больно неладно у меня идут дела в моем приказе. Одного дохтура у меня из Разбойного приказа в железы забрали.

— Из Разбойного приказа? Твоего дохтура? За что? Кого?

— Да того самого Яглина Романа, который тебе тогда жильную руду пускал.

— А, этого... беглого толмача из посольства? За что же?

— По извету воеводы Потемкина. Надо быть, потому, что Яглин сбежал у него из посольства, а затем он опознал его.

Тишайший призадумался, будто что-то вспоминая.

— Ну, Сергеич, хотя и велика вина этого Яглина в том, что он самовольно покинул наше посольство и нашего государства и подданничества себя лишил, но за то, что он при большой нужде и великой для нас смертной опасности изрядно помог нам, все вины ему прощаем и взыскивать не велим. Пусть только дальнейшей усердной службой послужит нам.

— Государь-батюшка, — радостным голосом произнес Матвеев, — великую милость ты этим своим приказом делаешь дохтуру Яглину, и — поверь мне — усердно он будет служить тебе.

— Ну, ну, ин ладно, — добродушно сказал Тишайший. — Из Разбойного приказа прикажи освободить его, а на днях как-

нибудь прикажи ему прийти ко мне. Да еще кого-нибудь из дохтуров позови. Что-то опять поясницу разломило. Пусть попользуют. Да...— вспомнил Тишайший,— сказываешь, воевода Потемкин здесь?

— Приехал, государь.

— Прикажи ему прийти ко мне. Хочу его с воеводства-то вдругорядь в посольство послать. Пусть еще раз нам и нашему государству послужит. Да,— вспомнил Тишайший,— а за этим воеводой свияжским надо кого-нибудь послать. Пусть его сюда привезут, да расспросить надо о всех его воровских делах и, коли правда окажется, так наказать нещадно, дабы и другим неповадно было.

XXVII

— Чем служить прикажешь? — с поклонами встречая Матвеева, спросил Стрешнев.

Артамон Сергеевич сухо поздоровался с ним, так как не любил этого «заплечного мастера», и быстро посмотрел кругом, как бы ища кого-то.

— По делу, по делу приехал, боярин,— затем сказал он, садясь на скамью,— по государеву приказу.

— О? — удивленно произнес Стрешнев.— Али крамола какая объявилась, что царь-батюшка тебя сюда прислал?

— Нет, никакой крамолы нет, я по другому делу. По твоему приказу схвачен дохтур Аглин Роман?

— По моему, боярин, по моему,— со сладенькой улыбкой ответил Стрешнев.— Только скажу тебе, боярин, ты бо-ольшую промашку с этим дохтуром сделал. Ведь он-то вовсе не зарубежный человек.

— А кто же такой? — равнодушно спросил Матвеев.

— А беглый толмач царского посольства Петра Ивановича Потемкина Ромашка Яглин.

— Твоего кума?

Стрешнев смутился немного и, запинаясь, ответил:

— Да... он мне кумом приходится.

— Который извет на Яглина сделал тебе?

— Ну, так что ж, что извет? Ведь не лжу же он сказал? Ромашка и сам в том повинился.

— Ну? — удивленно сказал Матвеев.— Ну, да, впрочем, это беда не велика: про нее и сам царь знает.

Стрешнев провел рукою по лысине: аргамаки начали ускользать от него.

Вдруг ему пришла в голову мысль.

— Коли царь это знает, то, конечно, не беда,— сказал он.— А вот беда: с пытки он повинился, что замыслил злой умысел на здоровье государево. Хотел — вишь ты — его зельем каким-то отравить и извести вконец корень царский.

— С пытки, говоришь? Ну, это важно! А покажи-ка, боярин, мне эти пыточные речи...

Стрешнев беспомощно оглянулся и даже порылся в бумагах.

— Видно, дьяк унес их с собою, боярин,— сказал он затем.— Не могу найти те списки.

— Ну и шут с ними, коли так! — равнодушно сказал Матвеев.— А видал ты, боярин, у воеводы Потемкина, кума-то твоего, перских аргамаков? — переменял он вдруг разговор.

— Н-нет...— нерешительно сказал Стрешнев, пытливо поглядывая на Матвеева.

— Разве? А я вот как сюда шел, так их вели. Я остановился и спрашиваю: куда их ведут? А мне отвечают: в подарок-де от воеводы Потемкина боярину Стрешневу... Ужотка я похваляю царю воеводский подарок тебе.

У Стрешнева даже пот выступил на лысине, и он не мог ничего сказать.

— Ну а теперь вернемся к Яглину,— продолжал Матвеев, в досталь налюбовавшись смущением Стрешнева.— Государю ведомы все вины Яглина. Он сам в них повинился государю, и государь его простил. А потому изволь сейчас же освободить дохтура Романа Яглина.

Аргамаки окончательно ушли из рук главы Разбойного приказа.

В ту минуту, когда раздетого и со связанными позади руками Яглина палач уже хотел подтянуть на дыбу, в застенок вошел Матвеев со Стрешневым.

— Освободить его! — приказал Матвеев, указывая на Яглина.— Государь все вины твои простил, Роман,— обратился он затем к развязанному Яглину, который со слезами радости схватил его руку.— А теперь пойдем твою женку выручать.

Рыжий палач даже сплюнул с досады.

— В кои-то веки дорвался до немца — и тот ускользнул,— сказал он, когда Матвеев с Яглиным ушли из застенка.

— Не печалься, Ванька,— сказал один из стрельцов.— Дохтур-то, вишь ты, не немец, а русским оказался.

— Ну? — удивленно сказал тот, а затем, качая головою, произнес: — И берется же православный человек за такое поганое дело, как дохтурское. Лучше катом, по-моему, быть.

Матвеев с Яглиным вышли на крыльцо.

— Ну, Роман, хочешь теперь с женою повидаться? — добродушно улыбаясь, спросил боярин.

— Боярин, прошу тебя, пойдём к ней скорее! — умоляющим тоном произнес Яглин, складывая руки на груди.

— Ну, ехать недалеко придется, — по-прежнему усмехаясь, произнес Матвеев, а затем сказал стрельцу: — Крикни-ка мой возок! Я отослал его за угол.

Стрелец выбежал за ворота, и через несколько минут у ворот снаружи слышался скрип санных полозьев.

— Ну, пойдём, — сказал Матвеев.

Они вышли за ворота, и у Яглина вырвался из груди крик радости. Сидевшая в санях Элеонора, также вскрикнув, замерла у него на шее. Матвеев, ласково улыбаясь, смотрел на них.

XXVIII

У Тишайшего в вечер этого дня собралось на Верху немного народа. Ему было лучше, и он приказал позвать к себе наиболее близких ему людей.

В комнате было светло. Сам царь сидел в углу у шахматного столика и играл со своим постоянным партнером — Матвеевым — в шахматы. Несколько бояр стояли полукругом и смотрели на игру. Другие толпились кучками и вполголоса разговаривали между собой.

— Шах и мат тебе, Сергеич, — выиграв игру удачным ходом и весело смеясь, сказал царь. — Конеч тебе, боярин! — И он, улыбаясь, посмотрел на Матвеева.

Последний с недоуменным видом разглядывал позицию, пытаясь отыскать свою ошибку, и, махнув рукою, сказал:

— Ну, что делать, государь, в другой раз такого маху не дам.

Бояре вслух восхищались удачным ходом царя. Матвеев косо на них посмотрел: он не любил лести.

— А, воевода Потемкин! — вдруг сказал царь, увидав в толпе бояр воеводу. — Поди-ка сюда!

Потемкин подошел ближе и низко поклонился царю.

— Здоров буди, государь, — сказал он.

— Здравствуй, здравствуй, воевода. Потревожил я тебя на воеводстве. Поди, ты там, как на печке, расположился ведь?

— Для тебя, государь, послужить — всякая служба покажется легкой, — ответил Потемкин.

— Ну, что же делать!.. Послужи еще нам и нашему царству! Хотим мы тебя послать еще раз пройтись по знакомой тебе дороге.

Потемкин вопросительно посмотрел на царя.

— След тебе съездить будет еще раз к брату нашему французскому королю. Послужи нам, съезди туда еще раз насчет торговых дел нашего государства.

— Слушаю, государь.

— А кого ты возьмешь с собою? Старых товарищей?

Потемкин подумал и затем сказал:

— Был бы ты милостив, государь, и вместо дьяка Семена Румянцева дал кого другого.

— Ну, твоя на то воля — бери, кого хочешь, о том и в Посольском приказе заяви. Ах, да! — вдруг о чем-то вспомнил Тишайший. — А кого же ты толмачом в посольство возьмешь?

— Надо немца какого-нибудь из Немецкой слободы присмотреть.

— Ну, на что тебе нового человека присматривать? — с хитрой улыбкой сказал царь. — У тебя старый знакомый на то найдется.

— Кто же, государь?

— А вот увидишь. Сергеич, — обратился государь к Матвееву, — а что тот дохтур, что мне руду бросал, здесь?

— Здесь, государь. Он в соседней комнате.

— Ну, позови его! Вот его и бери в толмачи, — присудил царь Потемкину. — Все же знакомый человек лучше нового. Да и в тех зарубежных землях он дольше тебя жывал и все порядки тамошние знает. А вот и он.

В это время в комнату входил Матвеев в сопровождении Яглина.

Потемкин глазам своим не поверил при виде последнего.

— Узнаешь? — спросил царь. — Беглый твоего посольства толмач, а ныне дохтур. Вот и бери его опять в толмачи. Он толковый: нам жизнь спас и посольству большую пользу может оказать. Так берешь?

— Твоя воля, государь, — оправившись, сказал Потемкин.

— Ну и конец делу. А ты слышал мой приказ? — обратился царь к Яглину.

— Слышал, государь, — ответил последний.

— А не сбежишь опять? — усмехнулся царь.

— Теперь незачем бежать, государь.

— Ну и ладно! А ежели вернешься, так опять на нашей службе будешь.

— Как благодарить тебя, государь? — горячо воскликнул, низко кланяясь, Яглин. — Недостоин я твоей милости.

— Ну, ну, ладно! Моя жизнь тоже чего-нибудь стоит. А ничего о тебе я долгое время не решал потому, что надо было все обдумать... Ах, да... Сергеич! — о чем-то вспомнив, сказал Тишайший. — Вот что: спосылай-ка верного человека в Свяжск, пусть привезут воеводу тамошнего. Надо его здесь допросить, верно ли, что он там так озорует, что вон наш дохтур сестры из-за него лишился, — кивнул он головой в сторону Яглина.

У последнего даже сердце зашло от радости. Он упал на колени перед царем и воскликнул:

— Много милостей твоих, государь, на меня, недостойного!

— И никакой тут милости нет, — добродушно сказал Тишайший. — Не могу же я в нашем государстве воеводам давать озоровать. Ну, так кого же пошлем, Сергеич? — спросил он Матвеева.

— Государь, — ответил последний, — да кого же и послать-то, как не дохтура Яглина? Пусть привезет он свияжского воеводу. Мы ему грамоту дадим. Да заодно он и старика отца повидает.

— Ну, его так его!

Скоро все ушли из покоев царя.

Потемкин ехал домой злой-презлой. Мало того, что его оторвали от спокойного воеводства и посылают опять на многолетнее странствование за рубеж, его месть не удалась, да вдобавок его злейшего врага, которого он пытался погубить, дают ему же в посольство!

Со злости у воеводы на другой день разлилась желчь, и он слег в постель.

Яглин вместе с Матвеевым заехал от царя к боярину, в доме которого осталась его жена.

Элеонора и жена Матвеева еще не спали и дожидались своих мужей.

— Ну, молодница, — сказал Матвеев, входя, — радуйся: твой муж в милость царскую вошел.

Яглин рассказал Элеоноре, как царь милостиво отнесся к нему и даже посылает его с новым посольством во Францию. Молодая женщина от радости даже всплеснула руками.

— Я опять увижу мою прекрасную родину? — воскликнула она.— О, как я рада!..

— Если ты рада видеть свою родину, то поймешь мою радость, когда я нашел свою,— сказал Роман Андреевич и затем, взяв жену за руку и подведя ее к Матвееву, поклонился: — Его благодари: без него быть бы мне в ссылке, если не на плахе.



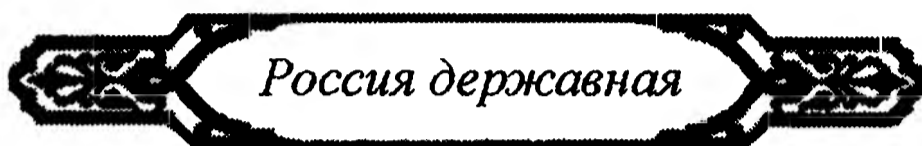


СОДЕРЖАНИЕ

ЗА РУБЕЖОМ И НА МОСКВЕ

<i>Часть первая.</i> С царским посольством.....	5
<i>Часть вторая.</i> В Париже-городе	113
<i>Часть третья.</i> «Заморский дохтур»	160

Scan Kreider |



Владимир Ларионович
Якимов

ЗА РУБЕЖОМ И НА МОСКВЕ

Редактор *А. Храмков*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *Н. Кузнецова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:
тел.: (495) 974-29-76, 974-29-75; факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.10.2010 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6
Тираж 6000 экз. Заказ № 3876.

Отпечатано по технологии СтР
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Роман «За рубежом и на Москве» — это увлекательное и забавное повествование писателя и историка В.Л. Якимова об установлении царем Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего все сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Государь организует посольские экспедиции в страны Европы и прививает новшества на российской почве. Образно, с редким чувством юмора описывает автор каверзы дипломатической службы и неумелые, но искренние старания посланников-москвитов соответствовать чужеземному окружению.

ISBN 978-5-486-03687-3



9 785486 036873